Жизнь Пушкина

МОЙ ДЯДЯ – ПУШКИН

ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

ЛЕВ ПАВЛИЩЕВ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Лев Николаевич Павлищев (1834—1915), племянник Пушкина, сын его сестры Ольги Сергеевны Павлищевой, оставил интереснейшие воспоминания, написанные в духе мемуарного жанра семейной хроники. Мальчиком он напоминал Наталии Николаевне Пушкиной-Ланской своего первого мужа: «Горячая голова, добрейшее сердце, вылитый Пушкин». Мемуары Павлищева донесли до нашего времени семейные легенды о Пушкине и его ближайшем окружении, унаследованные автором от старшего поколения и расцвеченные его собственными представлениями о личности поэта. Они содержат свидетельства очевидцев и участников событий, в том числе предшествующих дуэли мистических историй, которые, по преданию, нередко случались в пушкинском семействе.

- Лев Павлищев
- Глава I
- Глава II
- Глава III
- Глава IV
- Глава V
- 1. Белая женщина
- 2. Двойник
- 3. Одновременная галлюцинация Василия и Сергея Львовичей
- 4. Галлюцинация Льва Сергеевича
- 5. Кончина Алексея Михайловича Пушкина
- Глава VI
- Глава VII
- Глава VIII
- Глава IX
- Глава X
-
-
-
- Приложение
- Глава XI
- Глава XII
-
- Глава XIII
-
- Глава XIV

-
- Глава XV
- Глава XVI
- Глава XVII
- Глава XVIII
-
- Глава XIX
- Глава XX
-
- Глава XXI
- Глава XXII
- Глава XXIII
- Глава XXIV
- Глава XXV
- Глава XXVI
- Глава XXVII
- Глава XXVIII
- Глава XXIX
- Глава XXX
- Глава XXXI
-
- Глава XXXII
- Глава XXXIII
- Глава XXXIV
-
-
- Глава XXXV
-
-
- Глава XXXVI
- Глава XXXVII
-
- Глава XXXVIII
-
-

Лев Павлищев
Мой дядя – Пушкин. Из семейной хроники

Отдых от жизни тяжелой
Могила одна лишь дает, —
Пусть же с улыбкой веселой
Страдалица к смерти идет…

Ольга
Павлищева

Глава I

В течение очень долгого времени писал я для себя воспоминания о моем детстве, юности и дальнейших затем событиях моей жизни. Воспоминания эти, касающиеся меня лично, не могут, большею частию, представлять особенного интереса для читающей публики. Всякий из нас, людей обыкновенных, прошедших, впрочем, далеко не усеянную розами жизненную школу, если не записывает, то сохраняет в душе воспоминания, которыми считает совершенно излишним делиться с посторонними: личность человека заурядного никого не может интересовать, хотя и эти люди несут тоже весьма нелегкий жизненный крест, а может быть, и несравненно более испытывают «скорбь, гнев и нужду», чем люди выдающиеся. Но публике до этих иеремиад ровно никакого дела нет.

Вот почему я и не вижу надобности предавать гласности целиком все мои воспоминания.

Но среди этих воспоминаний, – скажу без самоуверенности, – находятся страницы, которые мне было бы просто грешно не сообщить читателям. Разумею под этими страницами выдержки из моих воспоминаний, которые относятся к родителям и родственникам незабвенной, неизгладимой памяти поэта нашего, Александра Сергеевича Пушкина, и в особенности к единственной сестре его, Ольге Сергеевне Павлищевой – матери моей. Будучи старше его, она скончалась с лишком тридцать лет спустя после безвременной смерти брата.

Пушкин принадлежит не только своим кровным родным, но и всей России, а потому и личность горячо любимой им сестры не должна отнюдь оставаться в совершенной тени.

В покойной матери моей Александр Сергеевич видел не только сестру родную, но своего искреннего друга; с ней – с детского возраста своего – он отводил душу и делился вдохновениями, осуществляемыми его внезапно угасшею лирой. Не чуждая – как увидим ниже – поэтического творчества, мать моя была первоначальным его товарищем. Перед нею он ничего не скрывал; впрочем, его честной, вполне рыцарской душе и скрывать перед горячо любимой им сестрою было нечего: характеры их были как нельзя более схожи; чуткая ко всему возвышенному, мать моя была, в глазах моего дяди, идеалом женщины теплой, отзывчивой, благородной, что видно из его к ней отношений.

После всего этого не могу допустить предположения, что часть моих записок, в которой упоминаю в главных чертах о

покойной Ольге Сергеевне, не заинтересует всякого, кому маломальски дорога память ее брата.

В этом отрывке из моих воспоминаний описан мною, хотя весьма неполно, но, смею сказать, добросовестно, домашний быт родителей Александра Сергеевича и Ольги Сергеевны, характер матери моей, дни ее молодости, замужество, общество, в котором она вращалась, и, наконец, страдальческая ее кончина.

Не будучи чуждой литературного творчества, Ольга Сергеевна никогда не делилась с публикой своими произведениями, находя, что, – как она выражалась, – le jeu ne vaut pas la chandelle (игра не стоит свечки), а в 1854 году она, занимаясь бывшим тогда в моде спиритизмом (который впоследствии сама же осмеяла в одном из приводимых мною ниже предсмертных ее стихотворений «Что такое спиритизм»), – сожгла без моего ведома, повинуясь явившейся будто бы ей тени Александра Сергеевича, почти все свои старинные рукописи, в числе которых первое по интересу место занимали веденные ею с молодых лет на французском языке записки, озаглавленные «Mes souvenirs» (« *Мои воспоминания» (фр.)*). В записках этих весьма интересно была изложена хроника семейств Пушкиных, Ганнибаловых и характеристика посещавших дом ее родителей литераторов и общественных деятелей первой половины текущего столетия. Не имея никакой возможности пополнить этот пробел в моих воспоминаниях, я ограничился только тем, что мать моя сообщала мне изустно. Не подвергся, к счастию, истреблению хранящийся у меня альбом со стихами ее на французском языке и списанными ею любимыми произведениями ее брата, Жуковского, Дельвига, Баратынского, князя Вяземского, Мятлева, Веневитинова и других писателей пушкинской плеяды. Из этого альбома привожу несколько ее произведений, и, кроме того, сохранившиеся у меня на отдельных листках ее предсмертные стихотворения – русские и французские, которые она писала довольно четко, несмотря на постигшую ее неизлечимую глазную болезнь – умерла она почти слепая.

Наконец я счел не лишним записать в моих воспоминаниях и некоторые семейные легенды пушкинские. Для большинства читателей легенды эти, носящие на себе мистический характер, столь осмеянный нашим положительным веком, не могут представлять особенного интереса, но отвожу им место потому, что, завлекая мать мою в мир фантазий, они способствовали мистическому настроению ума ее. Делаю это и потому, что какие бы то ни было события в семействе Ольги Сергеевны – будь даже они и плодом галлюцинации – имеют для меня, как для сына ее, немалое значение. Впрочем, из множества подобных

таинственных происшествий привожу – как сказал выше – только те, о которых мать моя любила вспоминать в кружке своих друзей и которые, так сказать, не прошли для нее бесследно, содействуя ее поэтическим вдохновениям.

В заключение не могу не сказать следующее.

До настоящего времени никто из биографов покойного моего дяди, – как это ни покажется странным, – не отвел единственной, родной сестре его, матери моей Ольге Сергеевне, подобающего ей места, между тем как, распространяясь о младшем брате поэта, господа эти толковали усердно и о няньке матери моей и его, Ирине Родионовне (нашедшей себе место и на картине Ге – «Пушкин, читающий свои стихи Пущину»), личности полуграмотной и ровно ничем не замечательной в сущности, кроме сообщаемых ею россказней о богатыре Еруслане Лазаревиче, царе Салтане и прочих, в этом роде, народных басен. Этого мало. Из представленных мною на Пушкинскую выставку в Москве – во время открытия памятника дяде в 1880 году – семейных портретов воспроизведены только в «Пушкинском альбоме», изданном при содействии г. Поливанова, портреты его брата, Льва Сергеевича, и бабки моей Надежды Осиповны, работы графа де Местра, имеющиеся только у меня. Между тем г. Поливанов, выпросивший тогда у меня портреты для снятия с них изображений, не знаю почему, счел излишним воспроизвести предъявленный ему мною портрет старшей сестры поэта вместе с остальными двумя и, отсылая мне их обратно, не потрудился мне объяснить причину такого недосмотра.

Все эти пробелы о незабвенной матери моей считаю сыновним долгом пополнить насколько возможно и вместе с тем приложить к моим воспоминаниям копию с портрета покойной. Оригинал портрета – работы подруги Ольги Сергеевны, Варвары Федоровны Черновой, которая нарисовала его акварелью в 1844 году, когда мать моя гостила у нее в Пулавах.

Покойная мать моя, Ольга Сергеевна Павлищева, единственная дочь Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных, родилась в Петербурге 20 октября 1797 года, следовательно, была старше своего брата поэта годом и пятью месяцами, а младшего брата Льва Сергеевича – почти четырьмя годами. Другие младшие ее четыре брата – Николай, Павел, Михаил, Платон и сестра София скончались в малолетстве.

Отец ее, Сергей Львович, сын артиллерии полковника Льва Александровича Пушкина и Ольги Васильевны, рожденной Чичериной, второй жены последнего, имел трех братьев по первому браку отца, а именно: Николая, артиллерии полковника, вступившего в брак с сестрою писателя Измайлова, Петра и

Александра, тоже служивших в артиллерии; а по второму – известного деятеля в литературной среде Василия, скончавшегося в 1830 году, и двух сестер: Анну, умершую в девицах, и Елизавету, вышедшую замуж за камергера Матвея Михайловича Сонцова.

Сергей Львович записан был с малолетства в лейб-гвардии Измайловский полк, а потом переведен в гвардейский Егерский. Выйдя в отставку в 1798 году, после рождения моей матери, он переехал с семейством в Москву, а в 1814 году опять поступил на службу и управлял Комиссариатскою комиссией резервной армии в Варшаве, где и прожил около года, после чего, выйдя вторично в отставку с чином V класса, соединился с женою и детьми в Петербурге. Ольга Сергеевна и Лев Сергеевич находились при родителях, а Александр Сергеевич обучался в Царскосельском лицее.

Дед мой, получив образование французское, имел, можно сказать, и склад ума французский. Зная всего понемногу, отличаясь превосходною памятью, он питался преимущественно французскою литературой, писал прекрасные французские стихи, даже целые повести в стихах, и был душою общества, устраивая домашние спектакли, собрания и игры – jeux d'esprit [1] , причем отличался и в каламбурах, и в разнообразных, принимаемых им на себя, актерских ролях. Мастерским чтением его комедий Мольера восхищались все, а остроты его, из числа коих некоторые, со слов моей матери, приведены в собранных покойным П. В. Анненковым материалах для биографии Александра Сергеевича, ходили по рукам. Французские же его повести написаны были им в альбоме, принадлежавшем родственнице поэта Мицкевича, госпоже Воловской, с которой дед мой встречался в Варшаве.

При своем легкомысленном направлении Сергей Львович хотя и читал книги серьезные, но не любил в беседе своей затрагивать политические и экономические вопросы, и, несмотря на то, что перечитал у себя все творения французских энциклопедистов прошлого века, избегал в обществе всяких философских прений и разговоров мало-мальски серьезных. В жизни практической он всегда был наивен: поручив управление своим Болдинским имением в Нижегородской губернии своему крепостному человеку М. К-ву, дед в это поместье не заглядывал, чем К-в и воспользовался, кончив тем, что сам разбогател. Так же небрежно дед следил за делами и Михайловского имения, и только в 1836 году, по смерти Надежды Осиповны, отец мой, Николай Иванович Павлищев, проездом из Петербурга в Варшаву, проведя в Михайловском летнее время, выпросил у Сергея

Львовича разрешение сменить плута управляющего и завести новые порядки, значительно увеличившие поземельный доход. Распоряжения отца моего по этому предмету изложены в приобщаемой к этим воспоминаниям переписке его с Александром Сергеевичем. Не имея ни малейшего понятия о сельском хозяйстве, дед мой довольствовался присылаемыми из Михайловского двумя-тремя возами домашней замороженной птицы и масла, с прибавкой сотен двух-трех рублей ассигнациями, и не терпел занятий по хозяйству до такой степени, что, когда к нему прибыла из деревни депутация крестьян с весьма основательными жалобами на мошенника управляющего, прогнал ее, не расспросив в чем дело. Да и бабка моя, Надежда Осиповна, которой Сергей Львович предоставил, ради своих сибаритских привычек, дела по хозяйству, хотя и была практичнее своего мужа до некоторой степени, но едва ли знала и ведала настоящую цену вещам, а потому в итоге всегда у них получался *минус,* а не *плюс,* на что и намекнул в одной из своих сатир Мятлев, под названием «Сельское хозяйство, быль на Руси»:

Вот управляют как у нас:
Все минус, а не плюс.
Ке вуле ву ке л'о н фасе?
Он не се па ле Рюсс. [2]

При таком отношении к практическому быту мой дед и бабка нуждались постоянно, что и отзывалось на детях, не всегда получавших от родителей деньги даже на мелкие расходы. Парадные комнаты освещались канделябрами, а в комнате моей матери, продававшей зачастую свои брошки и серьги, чтобы справить себе новое платье, горела сальная свеча, купленная Ольгою Сергеевной на сбереженные ею деньги.

Зато в доме деда и бабки благоденствовала и процветала поэзия, а благоденствовала и процветала она до такой степени, что и в передней Пушкиных поклонялись музе доморощенные стихотворцы из многочисленной дворни обоего пола, знаменитый представитель которой, Никита Тимофеевич, поклонявшийся одновременно и древнему богу Вакху, – на общем основании, – состряпал нечто в роде баллады, переделанной им из сказок о «Соловье разбойнике, богатыре широкогрудом Еруслане Лазаревиче и златокудрой царевне Миликтрисе Кирбитьевне». Безграмотная рукопись Тимофеевича, в конце которой нарисован им в ужасном, по его мнению, виде Змей Горынич, долгое время хранилась у моей матери, – затеряна при переезде Ольги Сергеевны в 1851 году из Варшавы в Петербург.

Дед мой по природе своей отличался добрым, благородным

сердцем, но, увы! и самодурством. Будучи в высшей степени вспыльчив, он во время порывов гнева забывался. Порывы эти продолжались у него, впрочем, недолго, и, придя в себя, он раскаивался и просил извинения. Так, однажды дед мой в припадке гнева дал довольно внушительное физическое наставление автору баллады о «Соловье разбойнике» за плохо вычищенные сапоги или разбитие лампы, наверное не знаю, но после этого наставления почувствовал такое сильное угрызение совести, что, надев шляпу, выскочил на улицу и более четверти часа просидел на тумбе, заливаясь горчайшими слезами. Так рассказывала мне об этом случае мать.

Сергей Львович, женившийся на внучке Ибрагима (Авраама) Петровича Ганнибала, негра Петра Великого, состоял с женой своей, Надеждой Осиповной, в родстве, так как мать ее, Марья Алексеевна Ганнибал, рожденная Пушкина, приходилась ему внучатной сестрою.

Надежда Осиповна была необыкновенно хороша собою, и в свете прозвали ее совершенно справедливо «прекрасною креолкой» (la belle creole). В полном блеске красоты своей бабка моя изображена на доставшемся мне, как выше я упомянул, единственном ее портрете на слоновой кости работы французского эмигранта графа Ксаверия де Местра, автора многих литературных произведений, между прочим, «Voyage autour de ma chambre» [3] ; граф любил посвящать свои досуги и портретной живописи.

По своему знанию французской литературы и светскости бабка моя совершенно сошлась с своим мужем: в имеющихся у меня ее письмах к дочери замечается безукоризненный стиль какой-нибудь Севинье, а проводя свою молодость сначала в Москве, потом в Петербурге, среди шумных забав большого света, Надежда Осиповна очаровывала общество красотою, остроумием и неподдельною веселостью.

По характеру своему, напротив того, она резко отличалась от Сергея Львовича: никогда не выходя из себя, не возвышая голоса, она умела, что называется, дуться по дням, месяцам и даже целым годам. Так, рассердясь за что-то на Александра Сергеевича, которому в детстве доставалось от нее гораздо больше, чем другим детям, она играла с ним в молчанку круглый год, проживая под одною кровлею; оттого дети, предпочитая взбалмошные выходки и острастки Сергея Львовича игре в молчанку Надежды Осиповны, боялись ее несравненно более, чем отца.

Эта черта своеобразного характера бабки моей особенно проявилась резко относительно моего отца, Николая Ивановича,

после его свадьбы. Но об этом будет мною сказано в своем месте.

Не могу не упомянуть кстати, со слов моей матери, о наказаниях, придуманных Надеждой Осиповной для моего дяди Александра Сергеевича, чтобы отучить его в детстве от двух привычек: тереть свои ладони одна о другую и терять носовые платки; для искоренения первой из этих привычек она завязала ему руки назад на целый день, проморив его голодом; для искоренения же второй – прибегала к следующему: «Жалую тебя моим бессменным адъютантом, ce dont je te felici-te (*с чем тебя поздравляю*)», – сказала она дяде, подавая ему курточку. На курточке красовался пришитый, в виде аксельбанта, носовой платок. Аксельбанты менялись в неделю два раза; при аксельбантах она заставляла его и к гостям выходить. В итоге получился требуемый результат – Александр Сергеевич перестал и ладони тереть, и платки терять.

Укажу, кроме того, и на следующую странность моей бабки: она терпеть не могла заживаться на одном и том же месте и любила менять квартиры: если переезжать, паче чаянья, было нельзя, то она превращала, не спрашивая Сергея Львовича, снисходившего к ее причудам, кабинет его в гостиную, спальню в столовую и обратно, меняя обои, переставляя мебель и прочее.

Сергей Львович пережил свою жену на 12 с лишком лет, а сына-поэта – на 11 лет, скончался он в июле 1848 года, а бабка – в 1836 году, в самый день Пасхи, во время заутрени. Но и об этом скажу ниже более подробно.

Глава II

Восприемником матери моей Ольги Сергеевны был брат ее деда с материнской стороны генерал-поручик Иван Ибрагимович Ганнибал, сын крестника Петра Великого, негра Ибрагима (Авраама) Петровича, родоначальника Ганнибалов, Наваринский герой и основатель Херсона, где ему воздвигнут и памятник.

Александр Сергеевич, воспевая его в своей родословной, говорит так:

И был отец он [4] Ганнибала, [5]
Пред кем, средь гибельных пучин,
Громада кораблей вспылала
И пал впервые Наварин…

Как известно уже из упомянутых мною выше собранных П.В. Анненковым материалов, в числе которых занимает одно из первых мест эпизод о детстве Александра Сергеевича, написанный моим отцом, Николаем Ивановичем Павлищевым, со слов покойной Ольги Сергеевны, Иван Ибрагимович (скончавшийся в 1800 году) был опекуном племянницы своей, бабки моей Надежды Осиповны. Он употребил все меры расторгнуть второй брак своего брата Осипа, который при живой жене своей, Марии Алексеевне, обвенчался, при помощи фальшивого свидетельства о смерти супруги, с Устиньей Ермолаевной Толстой, и достигнул цели; энергически вступился Иван Ибрагимович за права брошенной своей невестки. Марье Алексеевне вследствие этого отдана была дочь ее, Надежда Осиповна, а муж ее, второй брак которого был уничтожен, поселился в своей вотчине Михайловском, где и скончался в 1807 году, когда матери моей, т. е. внучке его, было уже десять лет; не видался он, со времени окончания дела, ни с дочерью, ни с женой Марьей Алексеевной, которая по окончании бракоразводного процесса, продав соседнее свое имение Кобрино и приобретя подмосковное сельцо Захарьино, поселилась в доме своего зятя Сергея Львовича и не покидала уже этот дом до самой своей смерти в 1819 году. Затем какая судьба постигла обманутую Осипом Ибрагимовичем Устинью Ермолаевну – мне неизвестно.

Окончательно поселясь у Пушкиных, Марья Алексеевна Ганнибал была первой наставницей своей внучки и внуков. Обладая изящным слогом, которым любовались все, читавшие ее письма, она обучала мать мою и братьев ее Александра и Льва Сергеевичей сначала русской грамоте, а впоследствии и русской

словесности. Как она, так и дядя их Василий Львович, возивший в 1811 году Александра Сергеевича для определения в Царскосельский лицей, имели на молодых Пушкиных самое благотворное влияние своими кроткими внушениями, религиозными убеждениями и возвышенною душою. Пользовавшийся всеобщим уважением Василий Львович резко отличался своим характером от своего брата Сергея: мать моя не помнит, сердился ли он когда-нибудь и возвышал ли голос, а если разошелся с своей легкомысленной женой Капитолиной Михайловной, рожденной Вышеславской, то отнюдь не по своей вине, и понятно, что все, кто его только знал и любил (а знала его и любила вся Москва), очутились безусловно на его стороне. Василий Львович был настолько умен, что не обижался, если иногда над ним друзья его и подшучивали. Так он расхохотался хотя меткой, но исполненной деликатности шутке своего большого приятеля, литератора И. И. Дмитриева, выразившейся в форме напечатанного только для тесного кружка друзей стихотворения «Путешествие Василия Львовича в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия», с нарисованной на Василия Львовича карикатурой. Не рассердился он и на выходку того же Дмитриева, когда последний сказал ему: «Эх, брат, Василий Львович! много, много написал ты на своем веку, а все-таки лучшее твое произведение – нецензурный «Опасный сосед», да и тот приписывают не тебе, а твоему племяннику».

Василий Львович, когда приехал в Петербург погостить у своего брата, ввел его в кружок первоклассных литераторов: Дмитриев, Жуковский, историограф Карамзин, Батюшков, князь Вяземский стали обычными посетителями моего деда. Впоследствии, с выпуском Александра Сергеевича из лицея, а Льва Сергеевича из университетского пансиона, кружок этот увеличился товарищами и друзьями дяди Александра – бароном А.А. Дельвигом, В.В. Кюхельбекером, А.С. Грибоедовым, бароном М.А. Корфом, П.А. Плетневым, Е.А. Баратынским и С.А. Соболевским, из числа которых Пушкин особенно был дружен с двумя первыми и Плетневым, а впоследствии с Соболевским и Данзасом.

Итак, Марья Алексеевна Ганнибал и Василий Львович Пушкин были первыми руководителями моей матери. Имели также влияние на ее нравственное воспитание и незабвенные тетки ее по отцу – Анна Львовна Пушкина, скончавшаяся в девицах, и Елизавета Львовна, вышедшая замуж за душевного друга Сергея Львовича – Матвея Михайловича Сонцова, превосходившего моего деда в остротах и шутках; на этой-то почве они и сошлись после следующей шутки Матвея

Михайловича: «Вот, милый друг, Пушкин, ты говоришь, что фамилия Пушкиных древнее фамилии моей – Сонцовых; быть может, по геральдике, а не по существу: сон был известен вселенной, когда ей о пушке еще и не снилось».

Общей нянею моей матери и братьев ее была получившая отпускную, приписанная по Кобрину и воспетая Александром Сергеевичем Ирина Родионовна, как известно, в следующих стихах:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня… и проч.

Приставленная сперва к моей матери, со дня рождения Ольги Сергеевны, она уже потом стала няней ее братьев, отдавая все-таки предпочтение первенцу – Ольге Сергеевне, – что и доказала, переехав в дом отца моего тотчас после его свадьбы, где мать моя и закрыла ей глаза в конце 1828 года.

Как выше сказано, Ольга Сергеевна обучалась отечественному языку у своей бабки, Марьи Алексеевны Ганнибал, а Закон Божий преподавал ей священник Мариинского института Александр Иванович Беликов до ее семнадцатилетнего возраста. Обладая в совершенстве французским языком, он сделался известным прекрасным переводом своим по-русски «Духа Масильона», а также красноречивыми проповедями. В гостиной Пушкиных он беседовал с пользовавшимися широким – a deux battants (двери нараспашку (*фр* .)) – гостеприимством деда моего и бабки французскими эмигрантами на их же языке и весьма ловко, при возникающих во время этих бесед с поклонниками Дидро и Вольтера прениях, поражал собственным же оружием этих господ – колкой насмешкой. Беликов, как мне рассказывала мать, продолжал посещать дом деда и бабки еще долгое время по окончании ее воспитания и неоднократно, ведя с нею философские в духе христианства разговоры, увещевал ее не предаваться чтению имевшихся у ее родителей произведений софистов прошлого века, называя их по-французски же: «les apotres du diable» («апостолы дьявола» (*фр.*)), причем подарил ей на память составленное неизвестным испанским автором и переведенное на русский язык сочинение в трех частях, под названием: «Торжество Евангелия, или Записки светского человека, обратившегося от заблуждений новой философии. Сочинение, в котором победоносным образом поражаются лжемудрствования неверия и в коем доказывается истина

христианской веры». Подарок Беликова, составляющий ныне, если не ошибаюсь, библиографическую редкость, мать моя считала весьма ценным и подарила мне его на память, в свою очередь, в день моего поступления в университет. Книгу эту я храню как священное для меня о моей матери воспоминание.

Беликов умел снискивать себе расположение всех, кто только посещал дом моего деда и бабки, своей сдержанностью, безобидным остроумием и, несмотря на свою рясу, салонным тактом. Уважал его и перебывавший в этом семействе легион иностранных гувернеров и гувернанток. Затем скажу и об этих господах пару слов.

Именно господ и госпожей этих перебывал легион: имена же их знает один Господь; из них выбираю эссенцию, а именно, несносного, капризного самодура Русло да достойного его преемника, по тем же качествам, Шеделя, в руках которых находилось обучение детей всем почти наукам. К счастию, не отдали в их распоряжение русский язык да православный катехизис.

Из них Русло, а не Шедель, как ошибочно сказано в материалах Анненкова, нанес оскорбление юному своему питомцу Александру Сергеевичу, одиннадцатилетнему ребенку, расхохотавшись ему в глаза, когда ребенок написал для своих лет вполне гениальную стихотворную шутку «La Tolyade» («Толиада» (*фр.*)) в подражание «Генриаде». Изображая битву между карлами и карлицами, дядя прочел гувернеру начальное четверостишие:

Je chante ce combat que Toly remporta,
Ou maint guerrier perit, on Paul se signala,
Nicolas Maturin et la belle Nitouche,
Dont la main fut le prix d'une terible escarmouche. [6]

Русло довел Александра Сергеевича до слез, осмеяв безжалостно всякое слово этого четверостишия, и, имея сам претензию писать французские стихи не хуже Корнеля и Расина, рассудил, мало того, пожаловаться еще неумолимой Надежде Осиповне, обвиняя ребенка в лености и праздности. Разумеется, в глазах Надежды Осиповны дитя оказалось виноватым, а самодур правым, и она, не знаю каким образом, наказала сына, а самодуру за педагогический талант прибавила жалованье. Оскорбленный ребенок разорвал и бросил в печку стихи свои, а непомерно усердного наставника возненавидел со всем пылом африканской своей крови.

Преемник Русло, Шедель, был тоже экземпляр своего рода: свободные от занятий с детьми досуги проводил он в передней, играя с дворней в дурачки, за что, в конце концов, и получил отставку. Все это рассказала мне мать.

В руках этих-то господ находилось первоначальное образование моей матери и ее брата, и, смело скажу, умственным своим развитием мать моя обязана самой себе, точно так же, как и брат ее.

Порицая Русло и Шеделя, не могу, однако, ставить с этими чудаками на одну доску воспитателя детей, тоже французского эмигранта, графа Монфора, человека образованного, гуманного, чуждого вполне того, что называют французы maniere de goujat (казарменных выходок). Граф Монфор, живописец далеко не заурядный, подметив в моей матери охоту к рисованию, очень этому обрадовался, и под его руководством она сделала первые шаги в искусстве. Впоследствии Ольга Сергеевна обучалась с большим успехом живописи у графа Ксаверия де Местра и прекрасно рисовала портреты акварелью. Не был ей чужд и карикатурный жанр.

Гувернантки были сноснее гувернеров, хотя и не блистали напускными педагогическими ухватками. Но из них большая часть по образованию и уму стояла ниже всякой критики, поражая своею наивностию. Так, одна из них удивлялась, каким образом волки не прогуливаются по улицам Москвы, как о том ей рассказывали, когда она поехала в Россию из родины своей – отчизны Вильгельма Телля; а другая тоже удивлялась, что в России десертом после обеда не служат сальные свечки. Но все эти гувернантки были женщины добрые, искренно любившие своих питомцев. В особенности выделялась своей, так сказать, материнской нежностью к Ольге Сергеевне англичанка, мисс Белли, кончину которой питомица ее горько оплакивала. Мисс Белли развила в матери моей любовь к английской словесности, познакомив ее с образцовыми произведениями Шекспира, особенно с «Макбетом», которого она ставила выше других трагедий знаменитого поэта. Под руководством мисс Белли Ольга Сергеевна и изучила английский язык основательно.

Живопись, как я сказал уже, была любимым искусством моей матери; она полюбила было и музыку, но, к сожалению, дело испортил приставленный к ней в качестве преподавателя фортепианной игры неудавшийся танцмейстер, немец Гринвальд; барабаня беспощадно на клавикордах, принадлежавших едва ли не деду моей бабки, негру Ибрагиму Петровичу, – другого же более приличного инструмента не водилось, – Гринвальд пробовал так же беспощадно силы мышц своих и на учениках;

придя в музыкальный восторг, он так больно ударил бедную Ольгу Сергеевну линейкою по руке, что она вскрикнула: «Monsieur Grtinwald, vous me faites mal!» – «Et qui vous dit que je ne veux pas vous faire du mal?» [7] – счел за благо отвечать немец.

Блистательный результат подобной музыкальной школы не замедлил обнаружиться – музыка опротивела Ольге Сергеевне.

Кроме посещавших деда моего замечательных лиц, которые не могли не повлиять на развитие умственной деятельности моей матери и характер которых, каждого в особенности, она очертила, насколько мне помнится, превосходно в уничтоженных ею впоследствии записках, – обычными гостями ее родителей были французские эмигранты вроде графа Бурдибура, Кашара и виконта Сент-Обена (о графе де Местре я сказал выше); эти так называемые «habitues» [8] находили у деда и бабки и радушный русский прием, безукоризненный, родной им французский говор. В числе эмигранток блистала остроумной беседой и талантливая, между прочим, пианистка Першерон де Муши, вышедшая впоследствии замуж за знаменитого Фильда.

Глава III

Отношения Александра Сергеевича к сестре были самые дружественные, начиная с детства и до самой его кончины. Она была товарищем его детских игр. Вопреки бессмысленных преследований гувернера Русло, дядя мой, забираясь в библиотеку отца, перечитывал французские комедии Мольера и под впечатлением такого чтения сам стал упражняться в писании подобных же комедий, по-французски же. Брат и сестра для представления этих комедий соорудили в детской сцену, причем он был и автором пьес и актером, а публику изображала она. В числе этих комедий была носившая название «Escamoteur» («Похититель»), сильно не понравившаяся Ольге Сергеевне; она, в качестве публики, освистала этого «Похитителя», что и послужило дяде поводом к следующему четверостишию:

Dis-moi, pourquoi l'Escamoteur
Est il siftle par le parterre?
Helas! c'est que le pauvre auteur
L'escamota de Moliere. [9]

В 1814 году Александр Сергеевич, будучи в лицее, написал известное послание к сестре:

Ты хочешь, друг бесценный,
Чтоб я, поэт младой,
Беседовал с тобой… и проч.

Послание это написал он в пяти экземплярах на простой серой бумаге. Один из них мать моя подарила мне на память.

По воскресеньям и праздникам родные посещали царскосельских питомцев, так как воспитанники лицея на дом не отпускались. (Правило это строго соблюдалось при первом директоре Малиновском; но при его преемнике, Энгельгардте, оно несколько раз было то отменяемо, то восстановляемо.) Тут-то во время этих посещений дядя мой читывал своей сестре поэтические произведения своей юной лицейской музы, спрашивая ее советов, так как сознавал тонкость ее вкуса и меткость ее замечаний. Она, со своей стороны, обменивалась с ним мыслями, сама стараясь развивать себя умственно и пополнять пробелы домашнего своего образования.

Пополнением этих пробелов послужили ей беседы с Державиным (в ее детстве), а потом с Жуковским, другом его П.А.

Плетневым, князем П.А. Вяземским и, как упомянуто выше, со священником А.И. Беликовым. Отец же ее, Сергей Львович, ограничивался тем, что по вечерам занимал ее мастерским чтением французских классиков, в особенности Мольера, но без всяких объяснений и разбора, читая все, что ни попадется ему под руку; зато обширная библиотека его открыта была настежь, и пищею для любознательности матери моей послужили находившиеся в шкафах сочинения Декарта, Спинозы, Галля, Лафатера, Локка, Гельвеция, Вольфа, Канта, Вольтера, Руссо, Дидро и проч. Этой же библиотеке, часть которой подарена была Ольге Сергеевне моим дедом после ее замужества, а затем перешла ко мне, мать моя обязана приобретением познаний в астрономии (по руководству Albert Montemont «Lettres sur l'astronomie» [10] , зоологии, ботанике, истории всеобщей и отечественной, а также основательным изучением французских, английских и италиянских классиков. Немецкая же словесность далась ей гораздо труднее, точно так же, как и Александру Сергеевичу.

Одним из любимых занятий Ольги Сергеевны в молодые годы ее было изучение физиогномистики и френологии, так что сочинения Лафатера и Галле сделались ее настольными книгами, с помощью которых она, как говорила, безошибочно распознавала характер людей; занялась она, следовательно, и хиромантией, сама иногда изумляясь своим предсказаниям, из которых привожу два примера. Однажды Александр Сергеевич, вскоре после выпуска своего из лицея, убедительно стал просить ее посмотреть его руку. Ольга Сергеевна долго не соглашалась на это, но, уступив наконец усиленной просьбе брата, взяла его руку, долго на нее глядела и, заливаясь слезами, сказала ему, целуя эту же руку:

– Зачем, Александр, принуждаешь меня сказать тебе, что боюсь за тебя?.. Грозит тебе насильственная смерть и еще не в пожилые годы.

Как известно, предсказание сбылось в 1837 году.

Подобную же насильственную кончину Ольга Сергеевна предсказала своему родственнику А.Г. Батурину, поручику лейб-гвардии Егерского полка. Он за два дня до своей кончины провел у Пушкиных, родителей Ольги Сергеевны, вечер в полном цвете здоровья и юношеских сил. Разговор зашел о хиромантии, и Ольга Сергеевна, посмотрев его руку, сказала:

– По руке вашей вы не умрете естественной смертию; впрочем, не верьте моим хиромантическим познаниям.

На третий же день после этого предсказания Батурин пал от руки убийцы. Солдат полка, в котором служил Батурин, пылая

местью к наказавшему его жестокому фельдфебелю, решился его умертвить, а для ободрения себя к злодеянию напился допьяна и, ворвавшись в казарменную комнату, где думал встретить намеченную жертву, бросился с ножом на Батурина, приняв его за предмет своей мести. Батурин тут же испустил дух.

Вопросы отвлеченные, – кто я, что я и для чего я, – над разрешением которых так усердно трудились мыслители двух прошедших столетий, были главным предметом умозрительных и, в полном смысле, мучительных исследований моей матери. Занятия френологией и дочерью этой науки – хиромантией, не мешали, однако, Ольге Сергеевне смотреть в молодости своей на философские предметы с точки зрения большинства вышеупомянутых мыслителей, но впоследствии она исполнилась убеждения, что одни лишь философы-христиане могут вывести ее из лабиринта.

Перелому в ее взглядах способствовал главным образом А.И. Беликов; он вел с нею (без свойственных лицам его звания схоластических приемов) весьма оживленные прения и, разумеется, достиг чего желал: Ольга Сергеевна, увлеченная его методическими опровержениями Руссо, Вольтера и tutti quanti [11] , опровержениями шаг за шагом, притом исполненными едких над этими господами насмешек, пришла к заключению о несостоятельности систем вполне гадательных и стала уже разъяснять себе тревожившие ее вопросы путем христианского учения. К сожалению, она, желая постичь тайны гроба роковые, увлеклась во второй половине жизни своей мистицизмом, в особенности после насильственной кончины брата: она вспомнила свое ему предсказание, а кстати вспомнила и довольно загадочные происшествия в семействе Пушкиных, на которые она, несмотря на то, что записала их, не обращала прежде особенного внимания. Но обо всем этом скажу в своем месте, а теперь, возвращаясь к хронологическому изложению воспоминаний о моей матери, скажу, что она считала бесполезною тратою времени все балы и рауты, к которым были так падки ее родители и на которых она, как говорят французы, a son corps defendant [12] , должна была присутствовать, по приказанию Надежды Осиповны; предпочитала она беседу с книгами, ставя выше всего, по ее выражению, жизнь созерцательную, почерпая в красотах природы, поэтических своих вдохновениях и живописи самое высокое наслаждение. В одном из сохранившихся у меня ее писем мать моя говорит между прочим:

«Le despotisme de mes parents dans ma jeunesse, et ensuite les soucis et revers m’ont fait manquer ma vocation. J’etais nee pour

mener une vie contemplative, mais non pour la lutte avec les vicissitudes d'une existence problematique ici bas, entre deux eternites – lutte penible, et insupportable»…

(*Деспотизм моих родителей в моей молодости, а потом заботы и злоключения заставили меня изменить моему призванию. Появилась я на свет для жизни созерцательной, но не для борьбы с обстоятельствами загадочного существования земного, между двумя вечностями, – борьбы трудной и невыносимой* .)

Письмо это она заключает любимыми стихами ее брата:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, на что ты мне дана?.. —

вполне разделяя взгляд его и сочувствуя изложенным в этих стихах мыслям.

Глава IV

Дед и бабка проводили весну и лето ежегодно с Ольгой Сергеевной, а в 1818 году и с Александром Сергеевичем в сельце Михайловском (Опочецкого уезда Псковской губернии), принадлежавшем Надежде Осиповне, которая предназначала это имение моей матери; но так как бабка скончалась, не оставив завещания, то после ее смерти и последовал раздел по закону: Александр Сергеевич, выплатив сестре соответственную часть, удержал имение за собою.

Соседями Пушкиных, во время пребывания их в Михайловском, оказались родственники их Ганнибалы, хлебосольство которых, радушие, доброта и порою навязчивое гостеприимство вошли у прочих соседей в пословицу: «Это что за *ганнибальщина?»* – говаривал зачастую соседний с Ганнибалами помещик другому же помещику, к которому приезжал погостить, если этот последний не отпускал его, приказывая отпрячь лошадей, пряча его саквояжи и проделывая тому подобные штуки, в производстве которых изощрялись оба дяди Ольги Сергеевны – Петр и Павел Исааковичи Ганнибалы. Они были олицетворение пылкой африканской и широкой русской натуры, бесшабашные кутилы, но люди такого редкого, честного, чистого сердца, которые, чтобы выручить друзей из беды, помочь нуждающимся, не жалели ничего и рады были лезть в петлю.

И Петр, и Павел Исааковичи были людьми веселыми, в особенности Павел, придумывавший для гостей всевозможные забавы, лишь бы им не было скучно в деревенской глуши. Веселость его выразилась, между прочим, как рассказывала мне мать, в следующем экспромте, который он пропел во главе импровизованного хора бесчисленных деревенских своих родственников, когда, вооруженный бутылкой шампанского, он постучал утром в дверь комнаты, предоставленной приехавшему к нему племяннику Александру Сергеевичу, желая поздравить дядю с именинами:

Кто-то в двери постучал:
Подполковник Ганнибал,
Право слово, Ганнибал,
Пожалуйста, Ганнибал,
Сделай милость, Ганнибал,
Свет, Исакыч, Ганнибал,
Тьфу, ты, пропасть! Ганнибал!
(Стихи сообщены моей матерью

.)

Александр Сергеевич, только что выпущенный тогда из лицея, очень его полюбил, что, однако, не помешало ему вызвать Ганнибала на дуэль за то, что Павел Исаакович в одной из фигур котильона отбил у него девицу Лошакову, в которую, несмотря на ее дурноту и вставные зубы, Александр Сергеевич по уши влюбился. Ссора племянника с дядей кончилась минут через десять мировой и… новыми увеселениями да пляской, причем Павел Исаакович за ужином возгласил, под влиянием Вакха:

Хоть ты, Саша, среди бала
Вызвал Павла Ганнибала,
Но, ей-богу, Ганнибал
Ссорой не подгадит бал!
(Сообщено моей матерью .)

Дядя тут же, при публике, бросился ему в объятия. В тот же год моя мать и дядя виделись с престарелым братом их деда, Петром Ибрагимовичем (Авраамовичем) Ганнибалом, сыном родоначальника этой фамилии, их прадеда, генерал-аншефом от артиллерии. Он пережил всех своих братьев и скончался в 1822 году, имея более девяноста лет от роду.

Петр Ибрагимович очень приласкал Ольгу Сергеевну и в особенности обрадовался тому, что Александр Сергеевич, которого он угостил настойкой, повистовал ему не поморщась.

По словам моей матери, Ганнибал впал тогда в такую забывчивость, что не помнил своих близких. Так, например, желая рассказать о посещении им своего сына, он говорил:

– Вообразите мою радость: ко мне на днях заезжал… да вы его должны знать… ну, прекрасный молодой офицер… еще недавно женился в Казани… как бишь его… еще хотел побывать в Петербурге… ну… хотел купить дом в Казани…

– Да это Вениамин Петрович, – подсказала ему его внучка Ольга Сергеевна.

– Ну да, Веня, сын мой; что же раньше не говорите? Эх вы!..

Пребывание Ольги Сергеевны в Михайловском было для нее отрадой. Окруженная веселыми соседями, отводя с ними душу, она забывала порою тягостный для нее деспотизм родителей, которому Ганнибалы не давали чересчур разгуливаться; но с осени, с переездом в Северную Пальмиру, начиналась родительская музыка: надоеданья из-за пустяков, придирки и тому подобные угощения. Мать моя, однако, выдержала все это дольше своих братьев – Александра и Льва. Первый из них едва ли не нарочно, лишь бы бежать от родителей, провинился в 1820

году стихами «Ода на свободу», за которые и удален был из Петербурга, а второй равномерно бежал из дома, записавшись в 1826 году тайком от отца и матери в Нижегородский драгунский полк, на Кавказ: «Nous trois nous avons fui la maison, – говорила мне мать, – car le joug etait insoutenable». (Мы трое бежали из дома, так как иго было невыносимо.) Детей пилила в особенности Надежда Осиповна, а в довершение страданий Ольги Сергеевны она в 1819 году лишилась горячо любившей бабки своей, Марьи Алексеевны Ганнибал, после чего и заступаться за Ольгу Сергеевну было некому. От родительского гнета избавил ее, как увидим ниже, только 9 лет спустя отец мой.

После разлуки с сестрой Александр Сергеевич переписывался с нею, сообщая в живых рассказах свои путевые впечатления и раскрывая ей все, что у него накипало на душе. К сожалению, большая часть этих писем утрачена, а уцелевшие у меня, нося на себе характер совершенно интимный, не могут представлять особенного интереса для публики. Некоторые же приписки моего дяди к сестре напечатаны в брошюре, изданной в 1858 году в Москве (в типографии С. Селивановского), под заглавием: «Письма А. С. Пушкина к брату Льву Сергеевичу» (с 1820 по 1836 год включительно), и сообщены в копии редакции «Библиографических записок» Сергеем Александровичем Соболевским с разрешения вдовы дяди Льва Сергеевича, Елизаветы Александровны Пушкиной, рожденной Загряжской.

Упомянув о втором брате моей матери, Льве, в честь которого и дано мне при крещении имя, считаю не лишним сказать о нем несколько слов.

Обладая умом далеко не дюжинным, Лев Сергеевич образовал себя сам, подобно сестре, чтением научных книг в отцовской библиотеке, убедясь, что вся преподаваемая премудрость по системе Русло, Шеделя и прочих им подобных фокусников критики не выдерживает; таким образом, он обязан сам себе поступлением в бывший университетский пансион, после блистательно выдержанного приемного экзамена. В этом заведении Лев Сергеевич и кончил курс. Одаренный громадной памятью, он не только декламировал произведения своего брата наизусть, чем иногда не на шутку бесил его, но и сам порой увлекался вдохновением музы, которую, однако, держал под спудом: самолюбие не позволяло ему состязаться с колоссальным талантом брата. Лев Сергеевич, записавшийся, как сказано выше, «уходом» в неоднократно покрывший себя славой Нижегородский драгунский полк, отличился беззаветной, вполне « *львиной»,* как выражалась мать моя, храбростью в кампаниях персидской, турецкой и затем польской. Покойный фельдмаршал Паскевич

очень любил его, украсив его грудь многочисленными знаками отличия; дядя в особенности проявил свою отвагу в сражении под Елисаветполем. Привожу для примера следующую черту его находчивости в названном сражении:

Когда нижегородцы понеслись в атаку, один из молодых солдат, оробев, пустился наутек. «Пушкин! – закричал полковой командир. – Видишь этого подлеца, догоняй его, руби его – он полк бесчестит!» – «Сабля тупа, – нашелся Лев Сергеевич, взяв под козырек, и, пришпорив коня, воскликнул: – За мной, ребята!» – Через несколько минут неприятельская колонна обратилась в бегство. Орден Св. Владимира был наградой моему дяде за этот подвиг.

Будучи храбр на войне «до отчаяния», Лев Сергеевич, в противоположность своему брату, никогда не выходил на дуэли, считая поединки не доказательством храбрости, а храброванием, «родомонтадой», как выражаются французы.

Находясь во время службы в обществе бретеров (а бретерство было в моде), он никогда не имел с ними никаких столкновений; напротив того, эти же бретеры относились к нему с должным уважением и любили его; во избежание же неприятных историй дядя, между прочим, – даже за бутылкой, – никому не говорил «ты»; не «тыкал» он и своего закадычного приятеля Ушакова, считая это местоимение никакой дружбы не доказывающим, – сущим, как он выразился однажды матери моей, ядом, источником пошлой фамильярности, следовательно, «разглупейших» (его собственное выражение) дуэлей; а происходят они именно от фамильярного обращения, корень которого и есть пагубное «ты». Этого местоимения, по мнению дяди Льва, Александру Сергеевичу следовало бы избегать как огня. «Неужели до сих пор не дознано Сашкой братом, – сказал он Ольге Сергеевне, – что опаснее врага фамильярный друг?» Ко Льву Сергеевичу и я еще возвращусь, а теперь возвращаюсь к последовательному рассказу.

Кончина Марьи Алексеевны Ганнибал в 1819 году, а затем и неожиданная разлука с братом Александром Сергеевичем, высланным из Петербурга в следующем, 1820 году, повлияли как нельзя более неблагоприятно на характер моей матери; родительские же капризы стесняли ее свободу; по этим капризам Ольга Сергеевна должна была сопровождать Надежду Осиповну и на вечера, и на рауты, и на утренние визиты, тогда как ей хотелось заниматься дома; причем Надежда Осиповна, принуждая ее выезжать, не заботилась ничуть о туалете дочери, так что, одетая хуже других, Ольга Сергеевна чувствовала себя более нежели неловко; Сергей же Львович, что называется, и в ус не

дул: смотрел он на все глазами супруги. Наконец, неожиданная в 1824 году смерть нежно любившей Ольгу Сергеевну тетки ее, Анны Львовны, довершила превращение: от прирожденной матери моей веселости и следа не осталось. Здесь будет кстати сказать, что Александр Сергеевич, несмотря на чувства любви и уважения, которые всегда питал к скончавшейся тетке, написал в одну из минут, когда нашел на него действительно шаловливый стих, «Элегию на кончину тетушки». Ольга Сергеевна шалости этой, написанной, как она сказала ему, «ни к селу ни к городу», долго простить не могла. В названном стихотворении Александр Сергеевич задевает довольно колко сестру покойной Елизавету Львовну Сонцову, любившую обзаводиться серебряными самоварами и прочей серебряной утварью, мужа ее Матвея Михайловича, да за один мах и дядю своего Василия Львовича, который имел страсть писать эпитафии, вроде сочиненной им после смерти его камердинера Василия:

Под камнем сим лежит признательный Василий.
Мир и покой тебе от всех мирских насилий…

В заключение элегии Александр Сергеевич крепко выругал насолившего ему цензора Красовского.

Супруги Сонцовы и обе их дочери – Ольга и Екатерина Матвеевны, – помимо всей их незлобивости, рассердились за элегию не на шутку; Василий Львович, не придавая выходке племянника особенного значения, удивлялся, как можно сердиться из-за таких пустяков, а цензор, как сказал моей матери автор, во время довольно неприятного разговора с сестрой по этому случаю, «получил, что желал, и задумчивым стал».

Привожу эпиграмму в настоящем, первоначальном ее виде, как продиктовала мне мать, а не в том, в котором элегия эта, переделанная дядей впоследствии, появилась в напечатанном его письме к князю Вяземскому (см. том VIII Сочинений Пушкина, издан. А.С. Суворина 1887 г., стр. 32). Вот первоначальный текст:

Ах тетушка, ах Анна Львовна,
Сергея Львовича сестра,
Ты к батюшке была любовна,
А к матушке была добра!
Тебя Матвей Михайлыч кровный
Всегда встречал среди двора,
Тебя Елизавета Львовна
Ценила больше серебра…

Давно ли с Ольгою Сергевной,
Со Львом Сергеичем давно ль,
Как бы назло судьбине гневной
Делила ты и хлеб и соль?
Но «Вот» [13] уже Василий Львович
Стихами гроб твой окропил!
Почто стихи его попович,
Подлец Красовский, пропустил?

Глава V

Поэзия была родовою особенностью Пушкиных; в молодости Ольга Сергеевна сочиняла преимущественно французские стихи, которые и записаны ею в завещанном мне альбоме. Привожу оттуда следующие коротенькие пьесы:

1

Sur un Songe

Tourmentee par un songe, il me semblait naguere,
Que dans les cieux agitant mes bras,
Je volais, soutenue par des ailes legeres.
L'amour, a ses pieds delicats,
Trainant pour me braver une masse psante,
Part plus prompt que les vents, que la foudre eclatante,
Et m'atteint des les premiers pas.
Que presage un tel songe? Helas! je crois l'entendre!
Jusqu' a present, plus volage que tendre
J'ai pu fuir, m'echapper a travers mille amours,
Et je suis maintenant enchainee pour toujours
Par le dernier qui m'a su prendre.

(На сновидение)

(Тревожимая сном, я когда-то видела, будто бы, простирая руки в небесах, я летала, поддерживаемая легкими крыльями. Амур, чтобы воспротивиться мне, двигая своими нежными ножками тяжелую массу, летит быстрее ветров, быстрее лучезарной молнии и настигает меня на первых полетах. Что значит этот сон? Увы! кажется мне, что его понимаю. До сих пор – более ветреная, чем нежная, – я могла бежать и уклоняться от тысячи привязанностей, а теперь связана навеки с последнею, которая и успела завлечь меня.)

2

A la Nuit

Toujours le malheureux t'appelle,
O nuit, favoralle aux chagrins!
Viens done, et porte sur ton aile
L'oubli des perfdes humains!
Voile ma douleur solitaire!
Et lorsque la main du sommeil
Fermera ma triste paupiere,
O Dieu! reculez mon reveil!..
Qu'a pas lents 1'aurore s'avance
Pour ouvrir les portes du jour;
Importuns, gardez le silence,
Et laissez dormir mon amour!

(*К Ночи)*

(Несчастный всегда тебя призывает, о ночь, благоприятная горестям! Приди же и неси на твоих крыльях забвение вероломных смертных. Завесь скорбь моего одиночества, и, когда рука сна смежит мои печальные вежды, о Боже! отодвинь мое пробуждение, и пусть заря медленными шагами приблизится открыть двери дня. Непрошеные, храните молчание и не мешайте спать моей любви.)

Sur la cigale
O cigale melodieuse!
Que ta destinee est heureuse!
Que tu vis sous d'aimables lois!
Dans le parfum de la rosee
Tu t'enivres, reine des lois!
Puis sur un vert rameau posee,
L'echo retentit de ta voix!
Des fruits, que prodigue l'automne
Des biens, qu'apporte le printemps —
La faveur des dieux te les donne
Dans le bocage et dans les champs!
Des guerrets hote pacifque,
Ta vue est chere au laboureur;
Nous aimons ton chant prophetique
De l'ete doux avant-coureur!
Les muses daignent te sourire,
Et tu tiens du dieu de la lyre
L'eclat de tes joyeux accents.
Des bois oracle harmonieux,
Fille innocente de la terre!..
Ta substance pure et legere
Te rend presque semblable aux

dieux!

(На стрекозу)

(О стрекоза благозвучная, как счастлива судьба твоя, под какими прекрасными законами ты живешь! Ты, царица лесов, опьяняешься среди благоуханий росы, а когда сидишь на зеленой ветке, эхо передает твой голос! Плоды, которые расточает осень, богатства, приносимые весною, – все это предоставляет тебе в рощах и полях милость богов. Мирный посетитель пашен! Вид твой драгоценен земледельцу! Мы любим твое пророческое пение, приятный предвестник лета! Музы удостоивают тебя улыбкою, и ты получила от бога лиры очарование твоих радостных напевов. Сладкогласный певец лесов, невинная дочь земли, твое чистое и легкое вещество уподобляет тебя богам!..)

Привожу еще, хотя и вопреки хронологическому порядку, одно французское четверостишие моей матери; сочинила она его в течение не более пяти минут в 1849 году (23 мая) за два часа перед моим выездом из Варшавы в Петербург для поступления в учебное заведение:

Acrostiche a mon fls Leon
Les souhaits, qu'en ce jour je fais pour ton bonheur,
En te disant adieu, partent du fond du coeur;
O mon Dieu! daigne, daigne ecouter ma priere,
Ne la rejette pas – tu vois qu'elle est sincere…

(Акростих сыну моему Льву)

(Пожелания, которые сегодня произношу для твоего счастия, говоря тебе прости, исходят из глубины сердца. О Боже мой, удостой, удостой услышать молитву мою! Не отвергай ее, ты видишь, что она искренна!)

В вышеупомянутом альбоме списаны моей матерью также многие любимые ею стихотворения брата ее и других писателей. К сожалению, Ольга Сергеевна не под каждым из них подписывала фамилию авторов. В числе помещенных в этой книжке произведений находится пьеса «Разуверение», приписываемая Ольге Сергеевне ее друзьями; мать же на вопрос мой – «кто автор?» – отвечала, улыбаясь: «Сам отгадай, Леон, а так-таки и не скажу».

В этом стихотворении автор – по всей вероятности, Ольга Сергеевна – говорит как бы от имени товарища Александра

Сергеевича по лицею, В.К. Кюхельбекера, после упрека, сделанного ему дядей за обидчивый нрав. И действительно, Александр Сергеевич однажды, в присутствии своей сестры, сказал Кюхельбекеру: «Тяжелый у тебя характер, брат «Кюхля» (так всегда он называл его); люблю тебя как брата, но когда меня не станет, вспомни мое слово: «ни друга, ни подруги не познать тебе вовек».

Пушкин любил всей душой брата «Кюхлю», хотя, так же как и с Павлом Ганнибалом, повздорил с ним именно из-за вздоров, вследствие чего, рассказывала мне мать, секунданты, их же друзья и приятели, поставив Пушкина и «Кюхлю» на дистанцию в пятнадцати шагах один от другого, вручили каждому из ратоборцев по игрушечному пистолету, не бившему и на пять шагов. Результатом поединка – искренние объятия соперников, слезы умиления и не одна бутылка «Аи». Вот стихи «Разуверение»:

Не мани меня, надежда,
Не прельщай меня, мечта!
Уж нельзя мне всей душою
Вдаться в сладостный обман;
Уж унесся предо мною
С жизни жизненный туман.
Неожиданная встреча
С сердцем, любящим меня…
Мне ль тобою восхищаться?
Мне ль противиться судьбе?
Я боюсь тебе вверяться,
Я не радуюсь тебе!
Надо мною тяготеет
Клятва друга первых лет!
Юношей связали музы,
Радость, молодость, любовь,
Я расторг святые узы…
Он в числе моих врагов!
Ни подруги и ни друга
Не иметь тебе вовек!
Молвил, гневом вдохновенный,
И пропал мне из очей;
С той поры уединенный
Я скитаюсь меж людей!
Раз еще я видел счастье…
Видел на глазах слезу,
Видел нежное участье,
Видел… но прости, певец,
Уж предвижу я ненастье!

Для меня ль союз сердец?
Что же? роковая пуля
Не прервала дней моих?
Что ж? для нового изгнанья
Не подводят мне коня?
В тихой тьме воспоминанья
Ты б не разлюбил меня…

Обидчивость Кюхельбекера порой, в самом деле, была невыносима; в обществе его прозвали «Le monsieur qui prend la mou-che» [14] . Так, например, рассердился он на мою мать за то, что она на танцевальном вечере у Трубецких выбрала в котильоне не его, а Дельвига; в другой же раз на приятельской пирушке у П.А. Катенина Кюхельбекер тоже вломился в амбицию против хозяина, когда Катенин, без всякой задней мысли, налил ему бокал не первому, а четвертому или пятому из гостей.

Относясь всегда как нельзя более дружески к Кюхельбекеру, Александр Сергеевич разошелся с другим своим лицейским товарищем, бароном, впоследствии графом, Модестом Андреевичем Корфом. Между ними пробежала черная кошка из-за безделицы. О столкновении дяди моего с Корфом Ольга Сергеевна, оправдывая отнюдь не своего брата, а Модеста Андреевича, рассказала мне следующее.

Поводом к взаимному охлаждению лицейских однокашников послужило обстоятельство вздорное.

Корф и Пушкин жили в одном и том же доме; камердинер Пушкина, под влиянием Бахуса, ворвался в переднюю Корфа, с целью завести ссору с камердинером последнего; вероятно, у этих субъектов были свои счеты. На произведенный камердинером Пушкина шум в передней Модест Андреевич вышел узнать, в чем дело, и, будучи вспыльчив, прописал виновнику беспокойства argumentum baculinum [15] . Побитый камердинер Пушкина пожаловался своему барину. Александр Сергеевич вспылил в свою очередь и, заступаясь за слугу, немедленно вызвал Корфа на дуэль. На письменный вызов Модест Андреевич отвечал тоже письменно: «Je n’accepte pas Voire def pour une bagatelle semblable, non par ce que Vous etes Pouchkine, mais parceque je ne suis pas Ktichelbecker». [16]

Корф, не жалуя Кюхельбекера за бретерство, уколол этим же качеством и моего дядю.

Буря в стакане воды повела, однако, к тому, что Александр Сергеевич начал коситься на Корфа, который тоже стал его избегать. Сошлись ли они впоследствии на прежнюю товарищескую ногу, – не знаю.

Между тем Пушкин всю силу своей дружбы обратил на

третьего своего товарища, поэта-барона Антона Антоновича Дельвига; теплые чувства их одного к другому не омрачились никакими недоразумениями.

Дядя после внезапной смерти Дельвига, последовавшей 31 января 1831 года, о которой получил известие, будучи в Москве, заболел от горя: кончина друга была для него неожиданным, страшным ударом. Изливая скорбь о невознаградимой утрате перед матерью моей, тоже искренно любившей безвременно угасшего поэта, Александр Сергеевич, среди истерических рыданий, сказал ей: «Сестра! в гробу мой Дельвиг милый! Немного нас осталось здесь: Горчаков, Комовский, Корф и только; о Кюхле (Кюхельбекере) не говорю; он для нас помер [17] ; далеко, далеко он от нас… не увидим более друга Вильгельма…»

Слова моего дяди, вылившиеся из глубины его любящего сердца, мать моя вспоминала не раз и вспоминала не без слез, высказывая предположение, что будь жив Дельвиг, он бы не допустил ее брата до расправы с «мальчишкой» (ее выражение) Дантесом и заставил бы Александра Сергеевича пренебречь всеми анонимными пасквилями, которыми доедали и доели его люди, не стоящие подошвы разорванных сапогов его же пьяных лакеев (подлинные слова моей матери. Выражалась она энергически).

И действительно, Дельвиг был ангелом-хранителем Пушкина, добрым его гением, в противоположность Чаадаеву, которого, кстати скажу, Ольга Сергеевна терпеть не могла. По ее словам, стихотворение моего дяди «Демон», посвященное им другу своему, Ал[ександру] Ник[олаевичу] Раевскому, относится именно к Чаадаеву. Оно написано в 1823 году и начинается так:

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия…

И далее:

Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня…

Перенося безропотно, до самого своего замужества, домашние огорчения и неприятности, Ольга Сергеевна находила бестолковой суетой погоню за общественными увеселениями и удивлялась своим сверстницам, бальницам и модницам, говоря им: «Je m’etonne, comment Vous ne pouvez pas sufre a Vous rnëte?» (Удивляюсь, как вы не можете довольствоваться самими собою?) Любимым провождением времени и утешением ее были книги, ведение своего дневника, втайне, конечно, от родителей, – дневника, в котором она изливала свои страдания, наконец, беседы с людьми серьезными о предметах отвлеченных.

Как я уже упомянул в своем месте, Ольгу Сергеевну занимали, главным образом, не разрешаемые смертными вопросы

высшие – о цели бытия земного, назначении человека и, наконец, вопрос роковой, страшный – о смерти и жизни загробной. Под влиянием кончины горько оплаканных ею Марии Алексеевны и Анны Львовны, мать моя увидела ключ к разрешению волновавших ее вопросов единственно в религии, покончив бесповоротно с несостоятельными системами философов-энциклопедистов.

Убежденная в истине бессмертия души, Ольга Сергеевна пришла к выводу, что отошедшие души наших родственников и друзей могут порою навещать оставшихся, а раз допустив это, она допустила бытие и других неразгаданных существ иного мира, духовного. Мистическому настроению матери содействовали, кроме чтения мистиков в библиотеке Сергея Львовича, принадлежавшего в молодости, подобно своему брату Василию, к масонской ложе, и бесчисленные семейные легенды.

Некоторыми из этих легенд я и заканчиваю описание молодости матери до ее замужества, рассказывая каждое таинственное приключение порознь, и черта в черту так, как передавала мне их Ольга Сергеевна.

1. Белая женщина

Бабка моя, Надежда Осиповна, год спустя после появления на свет Александра Сергеевича, – следовательно в 1800 году, – прогуливаясь с мужем днем по Тверскому бульвару в Москве, увидела шедшую возле нее женщину, одетую в белый балахон; на голове у женщины был белый платок, завязанный сзади узлом, от которого висели два огромные конца, ниспадавшие до плеч. Женщина эта, как показалось моей бабке, не шла, а скользила, как бы на коньках. – «Видишь эту странную попутчицу, Сергей Львович?» Ответ моего деда последовал отрицательный, а странная попутчица, заглянув Надежде Осиповне в лицо, исчезла.

Прошло лет пять; видение бабка забыла. Пушкины переехали на лето в деревню; в самый день приезда, вечером, Надежда Осиповна, удалясь в свою комнату отдохнуть, села на диван. Вдруг видит она перед собою ту же самую фигуру. Страх лишает бабку возможности вскрикнуть, и она падает на диван лицом к стене. Странное же существо приближается к ней, наклоняется к дивану, смотрит бабке моей в лицо и затем, скользя по полу, опять как будто бы на коньках, исчезает. Тут Надежда Осиповна закричала благим матом. Сбежалась прислуга, но все попытки отыскать непрошеную гостью остались напрасными.

Прошло еще лет пять или шесть, и Пушкины переселились из Москвы в Петербург, так как дядю моего Александра готовили в лицей. К матери же в гувернантки определили англичанку мисс Белли, упомянутую мною уже выше, на которую Надежда Осиповна возложила, сверх того, поручение читать ей по вечерам английские романы. Однажды Надежда Осиповна, в ожидании прибытия гувернантки, укладывавшей Ольгу Сергеевну спать, вязала в своей комнате чулок. Комната освещалась тусклым светом висячей лампы; свечи же на столике бабка из экономии не сочла нужным зажигать до прихода мисс Белли. Внезапно отворяется дверь, и Надежда Осиповна, не спуская глаз с работы, говорит взошедшей: «А! это наконец вы, мисс Белли! давно вас жду, садитесь, читайте». Вошедшая приближается к столу, и глазам бабки представляется та же таинственная гостья Тверского бульвара и сельца Михайловского – гостья, одетая точно так же, как и в оба предшествовавшие раза. Загадочное существо вперило в Надежду Осиповну безжизненный взгляд, обошло или, лучше сказать, проскользнуло три раза вокруг комнаты и исчезло, как бабке показалось, в стене.

Спустя год или два после этого последнего явления Надежда Осиповна видит во сне похороны; чудится ей, будто бы ей говорит

кто-то: «Смотрите! хоронят «Белую женщину» вашего семейства! больше ее не увидите». Так и вышло: галлюцинации Надежды Осиповны прекратились.

2. Двойник

В 1810 году к Пушкиным собрались, по случаю ли именин Сергея Львовича, или жены его (мать позабыла), гости. Страдая зубною болью, Сергей Львович высылает камердинера с извинением, что явиться к чаю не может. Общество занимает Надежда Осиповна разными забавными анекдотами, причем изощряет все свое остроумие на счет родственниц мужа – Чичериных, из которых одну она прозвала горбушкой, другую – крикушкой, третью – дурнушкой. Тогда сидящая за самоваром рядом с Надеждой Осиповной мать ее, Марья Алексеевна Ганнибал, подает ей знаки прекратить ядовитые шутки, но дочь, не унимаясь, хохочет над своими же остротами до упаду. Марья Алексеевна повторяет свою мимику и, наконец, выведенная из терпения, говорит: «Как не стыдно тебе, Надя, смеяться над его родными», – причем показывает дочери на порожний стул. Дочь не понимает, смотрит на мать и говорит ей, продолжая острить: «Ну что ж такое? разумеется, все три смешны: горбушка, крикушка, дурнушка!»…

Между тем, вот что было причиною и жестов, и увещания Марьи Алексеевны: ей показалось, будто бы Сергей Львович явился в гостиную в халате с подвязанной щекою и сел на стул у дивана. Прабабку мою поразило, каким образом чопорный Сергей Львович мог выйти в таком бесцеремонном облачении, он, который принимал посторонних у себя не иначе, как во фраке, согласно господствовавшему в то время этикету модных салонов? Удивление Марьи Алексеевны возросло, когда на ее вопрос дочери, почему та не наливает чашку чаю Сергею Львовичу (говоря это, Марья Алексеевна вторично указала на порожний стул), Надежда Осиповна отвечала: «Разве не знаете, мама, что Сергей из кабинета не выйдет? у него зубы болят, и чай ему я уже послала».

Двойник моего деда, никем, впрочем, не видимый, кроме Марьи Алексеевны, просидел в глазах ее на стуле до самого ужина, а когда гости перешли в столовую ужинать, последовал за ними, но прошел, минуя столовую, в кабинет, где находился не фиктивный, а настоящий Сергей Львович.

Удостоверясь на следующий день, что Сергей Львович вовсе и не думал показываться гостям в неглиже, Марья Алексеевна перепугалась немало, но никому о явлении в течение целого года и не заикнулась, полагая, что если даст волю языку ранее, то случится с Сергеем Львовичем Бог весть что. Но 1810 год прошел благополучно, и только на новый – 1811 год, она сообщила о

втором экземпляре моего деда.

3. Одновременная галлюцинация Василия и Сергея Львовичей

Оба они, будучи детьми, увидали вечером в одной и той же комнате и в один и тот же час бабку их Чичерину на девятый день по ее кончине. Она взошла к ним в детскую, благословила их и исчезла. Оба мальчика не сказали один другому об этом ни полслова. Лет пятнадцать спустя они пировали в кружке товарищей – офицеров Егерского полка; предметом беседы послужили, между прочим, сверхъестественные анекдоты, рассказываемые по очереди каждым из присутствовавших. Очередь дошла до Сергея Львовича, и он упомянул о своем видении; тогда Василий Львович, вскочив с места, закричал: «Как это, Серж? значит, мы в одну и ту же минуту видели то же самое?»

4. Галлюцинация Льва Сергеевича

Когда мой дядя Лев решился поступить в военную службу, не извещая о своем намерении родителей, уехавших из Петербурга в Михайловское, – это было в 1826 году, – то, оставаясь в их пустой квартире (если не ошибаюсь, по набережной Фонтанки у Семеновского моста), он приступил к разбору бумаг среди светлой майской ночи. Разобрав их, Лев Сергеевич хотел пройти в кабинет уложить свои вещи и тут задался вопросом, хорошо ли делает, уезжая на службу без родительского благословения? Путь в кабинет лежал чрез огромную гостиную, и вот Лев Сергеевич видит в гостиной скончавшуюся, как сказано выше, в 1819 году свою покойную бабку, Марью Алексеевну. Дяде кажется, будто бы она встает при его приближении со стула, останавливается в расстоянии нескольких шагов от него, благословляет его крестным знамением и исчезает мгновенно.

Впоследствии, в Варшаве, рассказывая моей матери свою галлюцинацию, дядя Лев, который далеко не был суеверен, а совершенно напротив того, прибавил: «Благословение тени добрейшей бабки нашей послужило, знать, мне в пользу. Во всех отчаянных сражениях с персиянами и поляками я, среди адского огня, не получил даже контузии; пули как-то отлетали от меня, как от заколдованного».

5. Кончина Алексея Михайловича Пушкина

Алексей Михайлович Пушкин, племянник Марии Алексеевны Ганнибал, тоже, как известно, рожденной Пушкиной (см. родословную А.С. Пушкина, составленную отцом моим Н.И. Павлищевым со слов Ольги Сергеевны и напечатанную в издании П.В. Анненкова 1855 года), был свитским офицером и профессором математики в Москве. Религиозный родственник его Василий Львович посещал его часто, желая обратить его на путь христианского учения, однако встречал всякий раз со стороны хозяина не только сильную оппозицию, но и постоянное кощунство над предметами всеобщего чествования, – кощунство, доходившее в вольтерианце-хозяине до какого-то исступления. Мало того: Алексей Михайлович обучал кощунству и своего лакея, так что, когда Василий Львович выгонял из комнаты этого доморощенного философа, старавшегося при беседах между своим барином и гостем перещеголять в выходках первого из них, лишь бы получить лишний пятак на очищенную, – этот негодяй, по наущению Алексея Михайловича, возвращался в ту же комнату через другую дверь и продолжал твердить заданное барином и выученное к немалой досаде Василия Львовича.

Вдруг недуманно-нежданно Алексей Михайлович заболевает, запирается в кабинете, и многочисленная дворня его, в том числе и философ, слышит явственно в комнате барина два спорящих голоса и слышит их несколько ночей сряду. Челядь перетрусила; но философ, по своему скептицизму, посмотрел на этот факт с философской же точки зрения и, не спрашивая, ворвался в кабинет; тут увидел он своего патрона и учителя среди комнаты, размахивавшего руками, испуганного и поистине страшного в испуге. Алексей Михайлович, устремив глаза на какой-то невидимый лакею предмет и ругаясь с каким-то таинственным гостем, замечает приход незваного камердинера и кричит что есть мочи:

– Пошел, пошел прочь! Не мешай нам; мы тебя не спрашиваем, убирайся покуда цел, пошел!

Камердинер навострил лыжи и не посмел уже возобновлять опыта. Но затем всякую ночь слышна была загадочная перебранка, как рассказывали люди, продолжаясь в течение еще недель двух, до самой кончины Алексея Михайловича, о которой Василий Львович, продолжавший в силу христианского благочестия и родственных чувств посещать больного, правда по

дням, а не по ночам, передавал своему брату и Ольге Сергеевне множество других странных подробностей, распространяться о которых считаю уже излишним.

Я привел некоторые легенды лишь в виду значения, которое приписывала им покойная Ольга Сергеевна и все семейство Пушкиных.

Глава VI

В 1828 году Ольга Сергеевна вышла замуж за отца моего, Николая Ивановича Павлищева.

Родитель его, бедный столбовой дворянин Екатеринославской губернии, но рыцарь в полном смысле слова, Иван Васильевич Павлищев участвовал, командуя эскадроном отважных Мариупольских гусар, в кампаниях против Наполеона в 1805, 1807, 1812, 1813 и 1814 годах.

За отличие в кровавых битвах под Аустерлицем, Прейсиш-Эйлау, Фридланде, Тарутине, Лейпциге (где, в самом разгаре боя, встретил в последний раз своего старшего сына, Павла, служившего юнкером в другом полку), Бар-Сюр-Обе, Фершампенуазе и, наконец, в приступах Бельвиля и Монмартра дед мой – любимец героя этих времен князя Петра Христиановича Витгенштейна – получил за отличную храбрость ордена: св. Владимира 4-й степени, Анны 2-й степени с алмазами, а за Фершампенуаз – высшее за военную доблесть возмездие – орден св. Георгия 4-й степени. Скончался в 1816 году в чине полковника от полученных в сражениях ран и чахотки по возвращении в Екатеринослав.

Покровитель детей его, незабвенный князь П.Х. Витгенштейн, доказал на деле, а не на одних словах расположение к Ивану Васильевичу: выхлопотал вдове его значительную пенсию, замолвил в пользу старшего сына доброе слово, в силу которого дядя Павел Иванович быстро пошел по службе, а младшего, отца моего, определил на казенный счет в благородный пансион Царскосельского лицея. Николай Иванович, крестник Витгенштейна, был, что называется, его garcon gate, баловнем.

Мать отца, Луиза Матвеевна, рожденная фон Зейдфельд, скончалась тоже в Екатеринославе в 1846 году, тридцать лет спустя по смерти мужа. За два года перед кончиной думала она посетить Николая Ивановича в Варшаве, но болезнь помешала. Я ее не видал.

Итак, отец мой поступил казеннокоштным воспитанником пансиона лицейского. Оба заведения – лицей и пансион, разделенные между собою парком, составляли в то время почти одно, управляясь общим директором – сперва Малиновским, а потом Е.А. Энгельгардтом. Курс наук и профессора были одни и те же, права по службе тоже: лучшие воспитанники выпускались в старую гвардию офицерами, а в гражданскую службу – десятым классом. Пансион был открыт 27 января 1814 года, упразднен же пятнадцать лет спустя по причинам, изложенным в весьма

интересной монографии питомца этого заведения, генерал-лейтенанта князя Николая Сергеевича Голицына, изданной в 1869 году под заглавием: «Благородный пансион Императорского Царскосельского лицея 1814—1820 гг.».

Отец мой, обучаясь в пансионе, готовился к службе военной, слушая лекции артиллерии, фортификации, тактики и инженерного искусства у известного в то время мастерским преподаванием инженер-полковника Эльснера, вместе с своими друзьями Безаком и бароном Бухгольцем. Но на старшем курсе отцу моему пришлось горько разочароваться. Не знаю почему, искренно любивший его за успехи в науках директор Энгельгардт вообразил, что Павлищев слабогруд и одарен всеми признаками наследственной чахотки, в силу чего и распорядился: отцу моему оставить «Марса» в покое, а служить «Фемиде».

Перед самим выпуском над отцом моим стряслась беда.

Воспитатель Гауеншильд, всеми ненавидимый – и начальством и воспитанниками – за фискальство, улучил удобную минуту, когда Энгельгардт был не в духе, донести, что воспитанник выпускного класса Павлищев курит трубку-носогрейку. Наслаждение табаком преследовалось Энгельгардтом елико возможно. Результатом доноса Гауеншильда было то, что отец мой едва не подвергся исключению, и только отличные успехи в науках выручили его из беды. Однако, вследствие доноса Гауеншильда, отец выпущен в 1819 году не первым, а вторым, получив не золотую медаль, предоставленную другому воспитаннику Ольховскому, а первую серебряную.

На следующий месяц после выпуска отец мой, семнадцати лет от роду, вследствие ходатайства князя Витгенштейна, поступил прямо на должность помощника столоначальника в Департамент народного просвещения по приказанию тогдашнего министра князя А.Н. Голицына; в должности этой пробыл год, по истечении которого Петр Христианович пристроил отца моего, в 1820 году, к себе, по званию главнокомандующего 2-й армиею, и повез с собою в Тульчин.

Служба отца у Витгенштейна была далеко не обременительна; Петр Христианович познакомил крестника, между прочим, и с семейством начальника своего штаба, Киселева, который, обласкав как нельзя более отца моего, посоветовал ему воспользоваться свободными от службы досугами: заняться серьезно тем, к чему он обнаруживал особенную склонность.

Слова Киселева не упали на почву бесплодную. Отец после беседы с Киселевым переделал из Дестют де Траси замечания на Монтескье, перевел из Филанджерьи трактат «О деяниях, не

подлежащих наказанию» и некоторые главы из «Философского словаря» Вольтера, касающиеся политико-экономических вопросов. Будучи нрава веселого, отец, желая посмеяться над Бурцевым, Филипповичем и другими почитателями их сослуживца, сосланного впоследствии декабриста князя Барятинского, хлопотавшими между прочим о замене в артиллерии и фортификации технических иностранных слов русскими, написал «10 мористическое письмо из Кремлевщины 1823 года». Результат выходки – дуэль отца с Барятинским на пистолетах, причем отец повредил противнику колено.

Историю потушили. Барятинский подал рапорт о какой-то другой, будто бы постигшей его внезапной болезни, а с отцом моим, немедленно после поединка, помирился.

В 1822 году П.Д. Киселев командировал отца, с разрешения Витгенштейна, в Петербург с поручением извлечь в Государственном архиве и Военно-топографическом депо материалы для истории русско-турецких войн, начиная со времен Петра Великого до времен последних, причем Павел Дмитриевич, вручив ему инструкцию, снабдил рекомендательными письмами, давшими отцу повод войти в прямые сношения с Нессельроде, Дибичем, Довре и особенно с Закревским.

Отец выполнил весьма добросовестно возложенное на него поручение: с помощью прикомандированных к нему из Коллегии иностранных дел и Инспекторского департамента писцов он трудился более двух лет над составлением выписок, которые и пересылал к своему начальнику с срочным фельдъегерем. За то два раза в течение года (1824) получил он денежные подарки в размере годового жалованья.

Возвратиться в Тульчин отцу не довелось: последовал известный поединок П.Д. Киселева с М – м. Покровитель Николая Ивановича выехал после дуэли за границу, а отец подал тогда же, в 1825 году, в отставку; он думал отправиться туда же и жить концертами, полагая, что русские песни заинтересуют иностранцев; играл отец мастерски на семиструнной гитаре, введенной в моду Сихрою и Аксеновым, музыкальные вечера которых он постоянно посещал; там очень полюбил отца и знаменитый автор народного гимна А.Ф. Львов и познакомил с главными понятиями, как выразился Львов, об «его превосходительстве генерал-басе», вследствие чего отец и решился написать для незабвенного композитора вариации на русскую песню «Ах, что же ты, голубчик» с аккомпанементом квартета, а затем переделал для гитары и напечатал отрывки из «Фрейшюца» Вебера.

Между тем, оставаясь в Петербурге, отец примкнул к кружку

литераторов и сблизился с будущим своим шурином Пушкиным, бароном Дельвигом, Баратынским, Илличевским, Плетневым; знакомство с ними побудило его тоже заняться литературою.

Для подготовки себя к этой деятельности отец стал изучать не только отечественных, но и французских, немецких, в особенности же английских и итальянских писателей, делал выписки из Лас-Казаса о Наполеоне, перевел на французский язык комедию Гольдони «Il fastoso» («Le fastieux») («роскошный» (*ит.*)) и взялся за составление итальяно-русского словаря, которого у нас тогда еще недоставало. Но не получив, по независящим причинам, обещанного значительного вознаграждения, отец держал словарь свой под спудом, а впоследствии и затерял его.

Все приятели отца писали, переводили, главное – зарабатывали деньги. Особенно благоприятно было то время для переводчиков романов: Дешаплет, например, если не нажил себе состояния, то получил, по крайней мере, возможность избавиться от нужды.

Сообразив это, отец предложил услуги барону Дельвигу и, сделавшись его сотрудником по издаваемой Антоном Антоновичем «Литературной газете», посвятил себя переводам; из их числа отец напечатал: «Патриции» и «Богемскую девичью войну» – два сочинения Фан-Дер-Фельдта, произведения которого соперничали тогда с романами Вальтер Скотта. Труд не пропал даром: вырученные деньги отец послал нуждавшейся своей матери, что оказалось для нее значительной поддержкой.

В 1826 году свидание отца моего со старшим его братом, Павлом, который жил в Новгороде, командуя эскадроном лейб-гвардии Конно-Егерского полка, решило его дальнейшую участь. Брат склонил его опять поступить на службу, без которой, отец и сам увидел, что не может обойтись. Павел Иванович, обласканный великим князем Михаилом Павловичем, взялся ходатайствовать в пользу брата перед его высочеством. Желая побывать в чужих краях, отец стал проситься в канцелярию Нессельроде, и Нейдгарт, по воле великого князя, лично рекомендовал отца министру; однако дело кончилось тем, что его определили в Коллегию иностранных дел (27 июня 1827 года), в экспедицию переводов для французского, немецкого, английского, итальянского и польского языков, с обещанием послать при первом удобном случае за границу.

Кроме занятий по переводам отец пополнял, по воле вице-канцлера, Государственный архив бумагами, хранившимися в Военно-топографическом депо. Эту работу он, можно сказать, полюбил; рыться в архивной пыли составляло для него даже род

наслаждения, особенно когда попадались под руку любопытные дела архива; но приходилось уже работать из видов на вознаграждение. В следующем году (1828) он, как знаток языков, откомандирован был Иностранной коллегией на три месяца в Сенат, где и работал в следственной комиссии над польскими мятежниками, переводя, под руководством обер-прокурора Кайсарова, французские и польские бумаги.

Год этот составляет перелом в жизни отца: он женился.

Рассказываю подробности свадьбы моих родителей, само собою разумеется, с их же слов.

Отец, несмотря на то, что жил лишь трудами, посещал избранное общество, опираясь на французскую поговорку: «Dis moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es». (Скажи мне, с кем ты, скажу кто ты.) Одетый всегда безукоризненно, скромный, во всех отношениях приличный, был он, в особенности, хорошо принят в семействе Лихардовых, где и встретился с Ольгой Сергеевной Пушкиной и ее родителями.

Ольга Сергеевна очень ему понравилась, а потому, не откладывая дела в долгий ящик, отец решился сделать предложение; но, раскусив чванство Сергея Львовича и в особенности Надежды Осиповны, которые оба, по своему эгоизму, держали дочь на привязи и – само собою разумеется – не могли допустить мысли выдать ее за человека бедного, бывшего к тому же пятью годами моложе ее, отец мой счел необходимым расположить предварительно их в свою пользу. Насчет поддержки Александра Сергеевича и Василия Львовича, с которыми был уже давно знаком, он был покоен.

Прежде всего, он повел атаку на родителей: очаровал Сергея Львовича французскими каламбурами и беседами о дворе Тюльерийском, сочинителях, сочинительницах французских; затем сделался постоянным партнером Надежды Осиповны в бостоне, нарочно проигрывая ей большею частию партии. Играли же не по маленькой.

В результате он получил доступ в дом Пушкиных: они сами пригласили его.

Объяснясь с Ольгой Сергеевной без церемоний, напрямик, он получил ее согласие, но в согласии родителей Ольга Сергеевна усомнилась сильно.

Так и вышло на поверку.

Формальное предложение отца встретило с их стороны решительный отказ, несмотря на все красноречие Александра Сергеевича, Василья Львовича и Жуковского; Сергей Львович замахал руками, затопал ногами и Бог весть почему даже расплакался, а Надежда Осиповна распорядилась весьма

решительно: она приказала не пускать отца моего на порог, и дело с концом.

Этого мало: когда, две недели спустя, Надежда Осиповна увидела на бале, – кажется, у Лихардовых или Вяземских, не могу сказать наверное, – отца, то запретила дочери с ним танцевать. Во время одной из фигур котильона отец, подойдя к ней, сделал с нею тура два. Нашлись приятели, которые поспешили доложить о таком великом событии забавлявшейся картами в соседней комнате Надежде Осиповне. Та в негодовании выбежала и в присутствии общества, далеко не малочисленного, не задумалась толкнуть свою тридцатилетнюю дочь. Мать моя упала в обморок.

Чаша переполнилась; Ольга Сергеевна не стерпела такой глубоко оскорбительной выходки и написала на другой же день моему отцу (прославшему тайком осведомиться о ее здоровье после скандала) записку, что она согласна венчаться, никого не спрашивая. Это случилось во вторник, 24 января 1828 года, а на следующий день, 25-го числа, в среду, в час пополуночи, Ольга Сергеевна тихонько вышла из дома; у ворот ее ждал мой отец; они сели в сани, помчались в церковь Св. Троицы Измайловского полка и обвенчались в присутствии четырех свидетелей – друзей жениха, именно двух офицеров того же полка и двух – Конно-Егерского.

После венца отец отвез супругу к родителям, а сам отправился на свою холостую квартиру. Рано утром Ольга Сергеевна послала за братом Александром Сергеевичем, жившим особо, в Демутовой гостинице. Он тотчас приехал и, после трехчасовых переговоров с Надеждой Осиповной и Сергеем Львовичем, послал за моим отцом.

Новобрачные упали к ногам родителей и получили прощение. Однако прощение Надежды Осиповны было неполное: она до самой кончины своей относилась недружелюбно к зятю.

Не так поступил образумившийся Сергей Львович: он полюбил зятя как родного сына, а брат его, Василий Львович, поздравил молодых хранящимся у меня в подлиннике письмом:

«Любезные друзья, Николай Иванович и Ольга Сергеевна! Молю Бога, чтоб Он благословил вас и чтоб вы были счастливы совершенно! я вас поздравляю от искреннего сердца и уверен, что во всякое время вы будете стараться быть утешением ваших родителей.

Поручая себя в вашу любовь, остаюсь преданный вам и любящий вас дядя

Василий Пушкин.

2 февраля 1828 г. Москва».

Когда об этой свадьбе было доложено государю императору

с. – петербургским обер-полицеймейстером Горголи, то его величество спросил, нет ли жалобы с чьей-либо стороны, и на отрицательный ответ изволил сказать: «Так оставить без последствий», – чему очень обрадовался отец мой и в особенности его свидетели.

По этому же случаю Александр Сергеевич сказал сестре: «Ты мне испортила моего Онегина; он должен был увезти Татьяну, а теперь… этого не сделает».

В описанном событии мать моя проявила такое мужество, которому удивлялась сама. Впрочем, в цельном, так сказать, характере ее проглядывала даже не женская отвага, и прежде нежели продолжать постепенное хронологическое изложение моих о ней и отце воспоминаний, считаю не лишним привести теперь же, кстати, следующие примеры ее присутствия духа:

Будучи девицей, она одним грозным взглядом и энергическим словом принудила ретироваться вооруженного топором злодея, проникнувшего через окошко в ее комнату с намерением грабежа, и своею распорядительностью заставила людей вовремя схватить разбойника и передать его в руки правосудия. Такую же неустрашимость и распорядительность показала она и впоследствии, в Варшаве, когда в декабре 1849 года вспыхнул ночью пожар в наместниковском дворце, где жили мои родители. Проснувшаяся мать первая, увидя объятый пламенем потолок в комнате перед спальнею, через которую и был только выход в другие покои, перешла через нее, задыхаясь клубами дыма, вынесла в дальнюю комнату лежавшую в горячке малолетнюю сестру мою, подняла на ноги людей, дала знать пожарной команде, уложила вещи и уже потом разбудила отца, кабинет и спальня которого находились на другой половине огромной казенной квартиры.

Прискакал обер-полицеймейстер генерал Абрамович с командой, и пожар потушили. Излишним затем считаю перечислять все примеры мужества матери и самоотвержения в критические минуты, которых я бывал свидетелем. Бесстрашие не покидало ее ни в последней тяжкой ее болезни, ни на одре смертном. Перенесла она геройски и нервный удар, и поразивший ее ужасный недуг – слепоту, и все страшные физические мучения; делавший ей в декабре 1863 года глазную операцию профессор Юнге сказал, что отвага ее – отвага храброго мужчины.

Глава VII

Первые годы после свадьбы родители мои провели в Петербурге, и моя мать умом и любезностью привлекала в дом свой множество замечательных литераторов и художников. К числу первых принадлежал и поэт Мицкевич. Являлся он обыкновенно по вечерам, доставляя иногда хозяевам и гостям художественное наслаждение импровизациями, которые, однако, много теряли от того, что Мицкевич передавал их на французском языке, не будучи в нем особенно силен; любимым же его занятием была игра в шахматы с моим отцом. Иногда же Мицкевич, играя в молчанку, был невыносим. Затем из артистов, посещавших нашу гостиную, стоял на первом плане друг отца, Михаил Иванович Глинка, издавший в сотрудничестве с ним в 1829 году «Лирический альбом». В альбоме, кроме сочинений издателей, помещены пьесы и романсы Норова, Вьельгорского, Штерича и других, а также замечательная песня «Вилия» из поэмы Мицкевича «Валленрод», в переводе на русский язык двоюродного брата моей матери Шемиота, положенная на музыку госпожою М. Шимановской, замечательною пианисткою, которая давала в то время с большим успехом концерты в Петербурге. На дочери г-жи Шимановской и женился потом Мицкевич.

Михаил Иванович Глинка, являясь очень часто, разыгрывал с отцом дуэты: он на фортепиано, отец на гитаре, а под веселую руку оба они, не отличаясь, впрочем, голосами, задавали, после чая с ромом, вокальные концерты, в особенности, когда Михаил Иванович приводил с собою молодого певца Иванова, впоследствии сделавшегося первоклассным европейским тенором.

Родителей моих посещал очень часто и друг Александра Сергеевича, барон Антон Антонович Дельвиг с женой Софьей Михайловной, рожденной Салтыковой; отец мой, как я сказал выше, был его сотрудником; они сошлись характерами как нельзя более, и Антон Антонович сохранил до самой своей кончины неизменную, вполне сердечную привязанность к нему и, само собою разумеется, к сестре задушевного друга своего Пушкина.

Александр же Сергеевич бывал у сестры редко, будучи очень занят, а если заходил, то весьма ненадолго, не так, как друзья его – П.А. Плетнев, В.А. Жуковский, С.А. Соболевский и Е.А. Баратынский. О супруге последнего Настасье Львовне скажу ниже.

Среди названных мною людей, достойных всякого уважения, моя мать и провела четыре года до отъезда своего в Варшаву,

принимая друзей в скромной квартирке, которую отец нанял тотчас же после свадьбы, – в Казачьем переулке, близ Введенской церкви Семеновского полка.

Ограничиваясь тесным кружком знакомых, моя мать не находила никакого удовольствия посещать большой свет, до которого был так, если можно выразиться, падок брат ее Александр Сергеевич. Она как бы предчувствовала, что он сделается жертвой интриг и злословия этого света.

Однажды, накануне бала у графини Б., куда пригласили дядю вскоре после его свадьбы, она сказала ему: [18]

– Охота тебе, Саша, смотреть на бездушных пустомелей да переливать из пустого в порожнее? Охота тебе принуждать к этому и Наташу? Чего не видали? Вспомни мое слово: к добру не поведет. Не по твоему карману, не по твоему уму. Враги там у тебя кругом да около; рано или поздно тебе же напакостят. «Отыди от зла и сотвори благо!»

Сколько было родственной, скажу, чуткости, сколько неподдельного женского инстинкта и пророческой правды в этих дружеских предостережениях? Но не вник в слова сестры Александр Сергеевич и… рассердился; отвечал ей резко по-французски:

– La dessus je te dirai, chere soeur, que moi et ma femme nous som-mes celebres – moi par mon talent, ma femme – par sa beaute. Or done, je veux, que tout le monde nous apprecie a notre juste valeur. D'ail-leurs il est dit: on n'allume point une lampe pour la mettre sous le bois-seau. [19]

– Faites comme Vous l'entendez, – отвечала моя мать брату, – mais croyez moi, Alexandre, que si je Vous ai dit quelque chose, qui a pu Vous deplaire – je l'ai fait, en Vous souhaitant du bien. [20]

Брат горячо обнял сестру и убедительно стал просить ее ехать на бал с ним и женою вместе. Не желая огорчать его, мать моя согласилась, говоря Александру Сергеевичу: «Так и быть, но на бал, как хочешь, сатиру напишу».

Действительно, виденное ею на бале общество послужило матери поводом к следующей эпиграмме:

Петербургскую смесь
Собирают здесь
В это здание.
Вот Ю… Князь
Вперил глаз, подбодрясь,
На собрание.
Вот вельможный пан
А… Степан

Величается.
С ним Б. Тут,
Волокита-шут,
Оправляется.
Н…. в звезде
Попадет везде
С бедной Лизою.
В числе чудаков
Тут верзила М. в
С рожей сизою.
А. н мадам
Здесь равна госпожам
Между бабами.
По стенам вокруг
Грозный ряд старух
Сидит жабами.

У родителей своих моя мать бывала часто, но отец мой навещал только изредка тестя, избегая встречи с тещей: Надежда Осиповна не могла простить отцу его женитьбу и в имеющихся у меня письмах ее к дочери из деревни в Петербург, а потом из Петербурга в Варшаву ни разу не обмолвилась о нем ни одним словом до самого октября 1834 года, в котором, обрадовавшись появлению моему на свет Божий, открыла с зятем дипломатические сношения.

Продолжаю описывать быт моих родителей с 1829 по 1832 год.

К этому времени относится случившееся с отцом моим происшествие, послужившее матери моей поводом написать эпиграмму, приводимую ниже: отец, отличавшийся подобно своему тестю, Сергею Львовичу, в молодости весьма вспыльчивым нравом, угостил в общественном собрании внушительным физическим приветствием некоего шулера З., которого изобличил в обмане на зеленом поле. Шулер скушал угощение молча, а на слова отца: «Если обиделись, присылайте секундантов», – обратился в постыдное бегство и затем совершенно скрылся из Петербурга. Он был сын хотя мелкого, но весьма денежного чиновника; воображая себя большим барином, он, что называется, финтил и тарантил, напуская на себя какой-то сверхъестественно надменный тон, что не служило помехой подвигам, и силу которых и получился в итоге вышеописанный анекдот.

Мать терпеть не могла этого господина, не раз злоупотреблявшего добротой и ее мужа, и младшего ее брата – Льва Сергеевича Пушкина, у которых он сумел своим

красноречием брать деньги без отдачи; они и не подозревали в нем плута и шулера.

Вот две эпиграммы матери на этого субъекта после пресловутого происшествия; из них вторая на голос песни «Ах, на что же огород городить».

I

Ты, от подьячего родившись,
Отважно кверху вздернул нос
И, весь в надменность превратившись,
Себя ей в жертву, знать, принес.
Что трус ты – в этом прочь сомненье,
Да плут и в карточной борьбе;
А я прибавлю мое мненье:
Пощечина – к лицу тебе.

II

Я вам песню о Картежнове спою,
Его качества всем пропою…
Ай, люли и проч.
В голове сидит надменность у него,
Глупость, чванство, да и больше ничего.
Ай, люли и проч.
Плутовски он улыбается,
Как волк дикий озирается…
Ай, люли и проч.
На словах удалец большой,
А на деле первый трус душой…
Ай, люли и проч.
Лишь он в карты мастак надувать,
Станет всякий от него за то бежать…
Ай, люли и проч.
Станет всякий от него за то бежать,
Молясь Богу его больше не встречать…
Ай, люли и проч.

В то же почти время, в 1829 или 1830 году, не помню, – заклеймила мать моя эпиграммой некоего семинариста И.

Получив образование по лекалу схоластики, господин этот, пользовавшийся покровительством известного графа Хвостова (осмеянного Александром Сергеевичем в эпиграмме «В твоих стихах лишь пользы три»), всячески угождал ему словом, делом и помышлением и в присутствии матери довольно резко отозвался о «Кавказском пленнике» Александра Сергеевича и «Громобое» Жуковского. Конечно, мать дала ему хотя утонченно-учтивый, но весьма внушительный отпор. Самоуверенность его и резкие суждения она приняла к сердцу и написала следующее:

С бурсацкой [21] логикой сроднясь,
Ты логику свою оставил;
Умом бурсацким возгордясь,
За правило себе поставил:
Вести себя преосторожно,
Дрожать пред мощным кулаком
И унижаться, если можно,
Перед Хвостовым чудаком.

Много сохранилось у меня метких эпиграмм матери, из которых не могу не привести четверостишие, набросанное ею на танцевальном вечере у княгини Т. Предметом четверостишия послужил некий поляк Ф., личность гордая, напыщенная, воображавшая Бог весть что о мнимых своих достоинствах. Отец его, прокутив свое значительное состояние в пиршествах с прихлебателями панами-шляхтой, женился, ради поправления кармана, на безграмотной дочери известного своим богатством трактирщика. Чванство сына не знало никаких границ. Вот четверостишие:

От пана-шляхтича родился
Да от кухмистерши простой,
К вельможам в общество забился
И думает, что пан большой…

Вообще мать не любила «ворон в павлиньих перьях», фанфаронов, корчащих вельмож и помешанных на фальшивом к о м и л ь ф о т с т в е, преследуя их насмешками. В глазах ее такие люди были нравственными уродами. Не жаловала она и тех, кто, будучи природным русским, французил в гостиных, подражая парижскому выговору. «Если говоришь по-французски, друг мой, – сказала мне она, – то говори без парижских вывертов. Парижа ты не нюхал».

Говоря об эпиграммах матери, должен заметить, что большую их часть набрасывала она шутя, без желчного намерения, сообщая часто их тем, на которых были составлены. К числу таких относится экспромт на большую ее приятельницу, дочь духовника ее, многоуважаемую г-жу Г. Всегда веселая и охотница посмеяться, г-жа Г. явилась однажды на званый вечер, против своего обыкновения, грустной и молчаливой. Желая развеселить ее, Ольга Сергеевна тут же сказала ей экспромт:

Скажи нам, что с тобой, претрида? [22]
Не узнают тебя друзья…
Грустна ты, словно панихида,
И молчалива, как кутья…

Г-жа Г., будучи чрезвычайно умной и доброй, поняла шутку и не только не обиделась, но, по верному расчету автора шутки, расхохоталась, и таким образом цель матери уничтожить сплин подруги была достигнута.

Первое место среди подруг моей матери занимала незабвенная супруга поэта Евгения Абрамовича Баратынского Настасья Львовна, рожденная Энгельгардт, бывшая впоследствии, можно сказать, второю для меня матерью, когда моя мать, отправив меня учиться в Петербург, поручила ее надзору и попечению. Настасья Львовна почти не отличала меня от своих детей и сохранила к моей матери сердечную привязанность до кончины своей – за границею в 1860 году. Настасья Львовна была, в полном смысле слова, существом поэтическим, неземным; мечты о мире духовном, жизни загробной довели ее до мистицизма и были главным предметом ее задушевных бесед. На этой-то почве она и сошлась с моей матерью.

Мать моя была тоже в искренно родственных отношениях и с женой брата Александра Сергеевича Натальей Николаевной; сохранила она отношения эти и после вторичного брака тетки с П.П. Ланским.

Да и мудрено было не любить и не уважать Наталью Николаевну, которая, будучи примерной супругой и матерью, посвятила себя домашнему очагу и перенесла так много горя от подлого злословия людей низких, погубивших Александра Сергеевича.

Хотя покойная тетка была тоже религиозной, но, не увлекаясь отвлеченными вопросами, смотрела на вещи с точки зрения более практической. Приходившие к Александру Сергеевичу стихотворцы иногда ей чересчур надоедали своей музой, и однажды на вопрос Баратынского, не помешает ли он ей, если

прочтет в ее присутствии Александру Сергеевичу новые стихотворения, отвечала (как рассказывала мне моя мать):

– Lisez, je Vous en prie; je n'ecoute pas. [23]

У брата своего, как сказано выше, моя мать встретила и Николая Васильевича Гоголя. Творец «Мертвых душ» произвел на нее впечатление оригинала. Играя большею частию в молчанку, а la Мицкевич, Гоголь редко читал свои произведения, но когда читал их, то неподражаемо; в особенности мастерски передразнивал хохлов, каковым, впрочем, был сам, и жидов. Александр Сергеевич, как известно, очень благоволил к нему.

Хотя моя мать и говорила, что «от гоголевской Каллиопы [24] припахивает дегтем и чувствуется «малороссийское сало», но отдавала полную справедливость его таланту, восхищаясь в особенности «Вечерами на хуторе», которые и любила читать вслух, с свойственным ей искусством. Помню живо, как впоследствии в Варшаве – мне было 10 лет – мать, желая развеселить меня, – а был я нездоров, – прочла мне в журнале «Новоселье» повесть «о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Тут расхохотался я до спазмов, и смех едва ли не содействовал быстрому восстановлению моего здоровья.

Отдавая справедливость Н.В. Гоголю, мать была большой почитательницей Василия Андреевича Жуковского. Лира его, по ее мнению, образец изящного; в особенности высоко стояли в ее глазах его «Аббадона» и «Ундина». Познакомила меня она, когда мне и девяти лет не было, с «Громобоем», «Нарвиком», «Смальгольмским бароном», «Красным карбункулом», «Похищенной нечистым колдуньей-старушкой» и тому подобными ужасными балладами Василия Андреевича. В особенности любила она рассказывать их во время прогулок, что и отразилось на моих нервах: засыпал я среди «страхов ночных», пряча голову под одеяло; но при этом полюбил я фантазии: не раз, во время бури и грома, убегал я в рощу, прилегающую к купленной моими родителями даче в колонии Пельцовизна, расположенной в гористой живописной местности в 3 верстах от Варшавы, и убегал, лишь бы помечтать об описанных Жуковским привидениях и, – как ни покажется странным, – наслаждаться мучительным чувством собственного детского страха пред сверхъестественным миром. Знаменитый певец ужасов, добрейший и веселый Василий Андреевич, проездом за границу чрез Варшаву в 1842 году, заехал к нам на эту же дачу на пару дней и тут же встретился с приехавшим погостить к дочери из Петербурга Сергеем Львовичем. Детей Жуковский очень любил, и неудивительно, что приласкал и меня и мою сестру. Не могу,

кстати, не прибавить, что на другой же день по приезде Жуковского появился у нас на даче и певец «Сенсаций госпожи Курдюковой», Мятлев – балагур и камергер (как прозвал его Александр Сергеевич), тоже отправлявшийся тогда за границу. Он был давнишним знакомым моих родителей и Александра Сергеевича. Всегда веселый, любезный, Мятлев оказался по-прежнему душою общества, а детей забавлял фокусами, угощая конфектами и бегая с ними взапуски.

Но распространяясь о Гоголе, Жуковском, Мятлеве, опять зашел я слишком вперед. Возвращаюсь к семейной хронике в последовательном порядке.

Глава VIII

Однообразные занятия отца моего по Иностранной коллегии казались ему переходным пунктом к чему-нибудь иному, лучшему; он все смотрел вдаль, даже в Америку, мечтая уже не о миссии дипломатической, а о консульстве. Начальник Азиатского департамента, К.К. Родофиникин, посулив ему место консула в Молдавии, хотел сделать из него, что называется, рабочую лошадь. Отец нужен был Родофиникину для замены другого дельца, назначенного начальником отделения, а потому Родофиникин, увернувшись обычным «б уду иметь в виду», перевел отца к себе в департамент, столоначальником по турецким делам.

Оканчивалась турецкая война, учреждалась миссия в Греции. Желая тут пристроиться, отец, в ожидании будущих благ, стал учиться по-новогречески у какого-то монаха Александро-Невского монастыря; желая облегчить себе служебное поприще на востоке, он принялся также изучать, под руководством товарища своего, графа Толстого, изъездившего вдоль и поперек Турцию и Персию, языки турецкий и персидский.

Но увы! надежды на Грецию скоро улетучились. В Афины назначили сперва некоего Поп – уло, а потом некоего Х – уло; было ясно, что грек Родофиникин покровительствовал своим единоплеменникам. Взбешенный отец мой при объяснении с Родофиникиным сказал ему следующую резкую фразу:

– Для пользы службы не переименоваться ли мне из Павлищева в Павлопуло?

Родофиникин притворился, что не понял ядовитости этих слов, но вслед за тем не преминул отомстить отцу, обратив его из столоначальника в начальника библиотеки. Таким образом, всякие надежды на миссию исчезли.

Вспыхнул польский мятеж; отец решился распроститься и с Родофиникиным, и с Петербургом.

По ходатайству тестя своего, Сергея Львовича, он поступил в феврале 1831 года в состав Временного правления Царства Польского под начальство действительного тайного советника Ф. Энгеля.

Надлежало тотчас ехать. Не легко было отцу расстаться с весьма серьезно заболевшей, вследствие простуды, женою; мать моя до конца 1832 года осталась в Петербурге и приехала в Варшаву лишь тогда, когда отец совершенно устроился.

Выехав из Петербурга, отец через несколько дней был в Вильне, где явился к Энгелю. Последний тотчас же

откомандировал его к генерал-интенданту армии, с поручением следить за операцией заготовления в Пруссии продовольственных припасов для наших войск. Отец находился при главной квартире почти в течение всей кампании и, получив знак военного достоинства (Virtuti militari [25]), вступил, вместе с нашими победоносными войсками, в Варшаву.

В Варшаве он прожил после этого безвыездно целых сорок лет, занимая последовательно места: управляющего канцелярией генерал-интенданта действующий армии (1832—1834 гг.), помощника статс-секретаря Государственного совета Царства Польского (1834—1842 гг.), помощника обер-прокурора общего собрания Варшавских департаментов Сената (1842—1851 гг.), обер-прокурора того же собрания (1851—1859 гг.) и члена X департамента Сената. Затем, после кратковременной отставки (с 1860 по 1861 год), отец поступил вновь на службу, но уже по военному ведомству; состоя при главнокомандующих войсками, заведовал, по высочайшему повелению, периодической печатью и дирекциею официальных двух газет, а именно – основанного им русского и польского «Варшавских дневников» до 1871 года; в 1871 году отец возвратился в Петербург с назначением состоять по военному министерству после с лишком пятидесятилетней безупречной службы. Сверх того, будучи при занимаемых им до 1860 года должностях, он состоял членом совета народного просвещения в Царстве Польском и членом экзаменационного комитета, преподавая с 1838 по 1851 год русскую историю и статистику по-русски же в бывших юридических и педагогических курсах.

Считаю долгом, впрочем, заметить, что описание деятельности отца моего на поприще административном, педагогическом и литературном составляет особый отдел моих воспоминаний, который я надеюсь предложить со временем, если позволят обстоятельства, вниманию читателей. Здесь же упоминаю об его деятельности лишь в главных ее чертах.

В 1832 году, как сказано выше, мать моя переселилась в Варшаву.

Русское общество только что начинало там группироваться около своего центра, светлейшего князя Ивана Феодоровича Варшавского, с супругой которого, Елизаветой Алексеевной, рожденной Грибоедовой, мать знакома была давно, находясь в родстве. Фельдмаршал был всегда очень внимателен к моей матери, а также и к ее братьям и оценил, как я уже сказал в своем месте, боевые заслуги младшего, Льва Сергеевича. Последний, по окончании польской кампании, подав в отставку, проживал в Варшаве и поселился в доме моих родителей. Случилось при этом

так, что поданное им своему начальнику, командиру Финляндского драгунского полка, прошение об отставке затерялось в ордонансгаузе или поступило не в свое время, вследствие чего дядю исключили из службы. Паскевич ничего об этом не знал и, танцуя на бале у себя полонез с моею матерью, спросил ее: «А что делает ваш брат Лев?» – «Он здесь, в Варшаве», – отвечала она, причем рассказала, что случилось. Фельдмаршал попросил ее прислать «завтра же» записку, и недели чрез две в «Инвалиде» было напечатано, что Пушкин увольняется от службы с чином и мундиром. Паскевич предлагал дяде поступить вновь на службу к нему адъютантом, но Лев Сергеевич, покутив в Варшаве порядком, предпочел драться с горцами и в начале 1834 года уехал на Кавказ.

В том же 1834 году появился на свет и аз многогрешный. Говорю об этом вовсе не с целию распространяться о моей особе, а потому, что появление мое прекратило вражду Надежды Осиповны к моему отцу, которого она до этого времени «игнорировала». По получении известия о моем рождении, она написала ему следующее письмо:

«Comment Vous exprimer la joie, que j'ai eprouvee, en recevant votre lettre, mon cher Николай Иванович? II faut etre grand' mere pour pouvoir se faire une idee de ce que j'ai senti en la lisant; que le ciel benisse notre petit Leon, que j'aime deja de tout mon coeur; qu'il fasse Votre bonheur, et que j'aie la douce satisfaction de recevoir ses caresses; c'est le voeu sincere, que je ne cesserai de former». [26]

Желание это осуществилось через полтора года, когда мать в 1836 году, по случаю смертельной болезни моей бабки, поехала в Петербург и взяла меня с собою, так как Надежда Осиповна непременно хотела видеть и благословить внука. Увидев меня, она, правда весьма ненадолго, оживилась, приказала, чтобы я находился в ее комнате безотлучно, и чтобы меня, кроме ее и матери, никто не смел ласкать, даже Сергей Львович, которому она говорила: «Не целуй ребенка, он тебя испугается». Таким образом, как рассказывала мне моя мать, я дневал-ночевал в комнате бабки и был бессознательным свидетелем ее кончины.

Надежде Осиповне не было суждено увидеть зятя: мучимая угрызениями совести, она рыдала, вспоминая о нем, и жаждала свидания с ним, вследствие чего мать моя написала мужу, чтобы он приехал. Случилось так, что в это же время князь Паскевич ехал в Петербург и брал с собою отца. Узнав в чем дело, светлейший отправил его вперед, однако, несмотря на скорость курьерской езды, отец опоздал и нашел тещу уже на столе. Умирая, Надежда Осиповна беспрестанно спрашивала: «Да что, в самом деле, не является Павлищев, когда приедет, наконец, ведь

он мне родной… какая, Боже, тоска… нет его, нет его…» Скончалась она во время Великой заутрени первого дня Пасхи.

Тело бабки было предано земле в Святогорском Успенском монастыре, в 4 верстах от сельца Михайловского; в этом же монастыре похоронены на следующий год – Александр Сергеевич, а в 1848 году – Сергей Львович.

Не нарушая хода событий, нахожу современным упомянуть, что Александр Сергеевич, узнав от отца моего о скором приезде в столицу Паскевича, прежде чем явиться к фельдмаршалу, попросил зятя вручить светлейшему только что вышедший нумер «Современника», где был напечатан журнал дяди «Путешествие в Арзерум во время похода 1829 года». Паскевич принял книжку благосклонно, но после сказал отцу, что в статье интересного ничего нет. Фельдмаршал ожидал найти в ней что-нибудь посерьезнее о своих действиях против турок.

Глава IX

После кончины бабки возникла длиннейшая и скучнейшая процедура по разделу ее наследства, о чем я сказал уже в начале моих воспоминаний. Дядя Александр Сергеевич, ужаснувшись, до какой степени были запущены Сергеем Львовичем дела по Михайловскому имению, упросил отца моего побывать там, прежде возвращения своего в Варшаву, и принять, если возможно, самые крутые меры против дальнейшего хищения.

Отец согласился и, попросив отсрочку отпуска, провел в Михайловском с моей матерью все лето, сменил мошенника управляющего и, заведя свои порядки, привел имение не в пример в более благообразный вид.

Все это видно из прилагаемой ниже переписки между дядей и отцом – переписки, которая началась между ними еще в 1834 году, значит, за два года до смерти бабки. Подлинные письма дяди у меня, а от писем отца сохранились черновые; отец никогда прямо набело ничего не писал.

Свидание между матерью и дядей в 1836 году оказалось последним.

Расставание ее с ним было до крайности грустное. Оба они томились предчувствием вечной разлуки, и брат, провожая сестру, залился горькими слезами, сказав ей:

– Едва ли увидимся когда-нибудь на этом свете, а впрочем, жизнь мне надоела; не поверишь, как надоела! Тоска, тоска! все одно и то же, писать не хочется больше, рук не приложишь ни к чему, но… чувствую – не долго мне на земле шататься.

(Подлинные его слова, переданные мне матерью.)

И действительно, более они не встретились: не прошло и года, как Александр Сергеевич, раненный смертельно Дантесом-Геккереном, отошел в вечность.

Распространяться об этом событии, о котором столько писали, то справедливо, то вкривь и вкось, считаю излишним, ограничиваясь следующим:

По получении рокового известия в Варшаве, в дипломатической канцелярии наместника, чиновник этой канцелярии г. Софьянос явился к моим родителям ночью на квартиру. С таинственным видом прошел он в кабинет отца и на вопрос: «зачем пожаловали не к чаю, а так поздно?» – отвечал: «известие страшное: Александр Сергеевич убит!» Тут Софьянос, сообщив отцу некоторые сведения о злополучном деле, поспешил откланяться. Между тем мать моя, услышав голоса разговаривающих, позвала отца по уходе печального вестника и

спросила, кто был у него так поздно и зачем?

– Александр Сергеевич… – начал отец.

– Что, болен? умер?

– Убит на дуэли Дантесом.

Это известие было для моей матери таким страшным ударом, что она занемогла очень серьезно; кровавая тень погибшего брата являлась к ней по ночам; она вынесла жестокую нервную горячку, во время которой неоднократно вспоминала, как, рассматривая руку брата, предсказала ему насильственную смерть.

Все знакомые моих родителей, начиная с фельдмаршала, и русские и поляки, поспешили изъявить самое теплое сочувствие матери. Медовая улица, где жили мои родители, три дня сряду была запружена экипажами.

Не скоро мать поправилась. Лечили ее три доктора, насколько помнится из рассказов Ольги Сергеевны Шефер, доктор фельдмаршала, Добродеев и Бонцевич. В конце концов натура взяла свое.

После кончины брата мать долго не выезжала в свет, посвятив себя исключительно семье; но мало-помалу стала посещать кружок избранного русского общества, который в это время расширился. Общество это собиралось у наместника Паскевича, Горчаковых, Окуневых, Шиповых, Симоничей. Скажу несколько слов о представителях этих семейств.

Князь Михаил Дмитриевич Горчаков, впоследствии, как известно, ставший во главе русских сил на Дунае и под Севастополем, был в то время начальником штаба у Паскевича; Николай Александрович Окунев, внучатный брат моей матери, свиты Его Величества генерал-майор, был попечителем варшавского учебного округа; генерал-адъютант Шипов – главным директором Комиссии внутренних дел и народного просвещения, а бывший командир Грузинского гренадерского полка, отличившийся в Елисаветпольском сражении и впоследствии посланник при Персидском дворе, генерал-лейтенант граф Симонич – комендантом города Варшавы.

В этих семействах мать моя в особенности любила бывать и принимала их у себя; к ним нередко присоединялись и пастыри нашей православной церкви архиепископы варшавские и новогеоргиевские, впоследствии митрополиты петербургские – Антоний и Никанор. Первый из них, как известно, присоединил значительную часть униатов к православной церкви; будучи вместе с тем священноархимандритом Почаевской лавры, управлял он с 1837 по 1843 год кроме епархии варшавской и епархией волынскою. Преемник его, красноречивый Никанор, замечателен проповедями; пробыл он в Варшаве с 1843 по 1848

год. Оба они, и Антоний и Никанор, оставили самые лучшие по себе воспоминания среди русского варшавского общества.

Отец мой, заваленный работами и по законодательной части в Государственном совете, и по народному просвещению, показывался гостям редко. Составлял он тогда «Исторический атлас России», «Польскую историю», русские учебники географии и статистики да писал корреспонденции в журнал М.П. Погодина «Москвитянин»; писал он также статьи и в «Северную пчелу». Вообще, отец предпочитал салонным разговорам ученые беседы с удалявшимися в кабинет его двумя обычными посетителями-сотрудниками по ученой части, которых он особенно уважал, а именно: воином кампании Отечественной, полковником К.М. Франковским [27] , который был тогда директором реальной гимназии, и добрейшим Петром Павловичем Дубровским [28] , фамилию которого дядя Александр Сергеевич дал герою своей повести под тем же названием. Пушкин относился всегда с радушием к Дубровскому как к другу Михаила Ивановича Глинки. Уроженец Москвы, Дубровский был ярым славянофилом и, задавшись целию «научить поляков уму да разуму русскому», появился, не знаю какими судьбами, в Варшаве, где добился должности сперва учителя русского языка в гимназии, потом цензора и основал наконец литературно-славянский журнал «Денницу». Разумеется, отец мой занял между его сотрудниками первое место. Привел Петр Павлович к отцу и другого приятеля Глинки, земляка и товарища последнего по университетскому пансиону А.А. Римского-Корсакова, поэта и проказника. Нашалив в Петербурге и прогневив батюшку своего, Корсаков в одно прекрасное утро, едва ли не вместе с Дубровским, очутился в Варшаве преподавателем русской азбуки в уездном (поветовом, как называли) училище. Здесь школьники, в силу физического его недостатка или, точнее сказать, физического избытка, непомерной тучности, так ему насолили насмешками, что Корсаков бросил учительство и определился канцелярским чиновником в бывшую Правительственную комиссию внутренних и духовных дел Царства Польского. Стихи и афоризмы свои Корсаков печатал в «Северных цветах», издававшихся, при деятельном участии Пушкина, бароном Дельвигом. Дельвиг невзначай порядком рассердил Корсакова, сказав ему, ради красного словца, что «стихи его, как пол лощеный гладки, о мысли не споткнешься в них». После такого словца Корсаков перестал не только сотрудничать у Дельвига, но и кланяться с ним.

Часто бывал у моих родителей еще один поэт, П.Г. Сиянов, издавший в Варшаве собрание стихов «Досуги кавалериста». Он

был товарищем Льва Сергеевича по оружию во время польской кампании, но любил особенно вспоминать Отечественную войну, когда служил в сформированном графом Мамоновым полку «бессмертных гусар».

Гораздо позднее, в 1849 году, появился в доме моих родителей творец опер «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», находившийся тогда уже на вершине музыкальной славы. Прожил Михаил Иванович Глинка в Варшаве года два; при нем состоял в качестве эконома испанец или португалец, Дон Педро, обжора и Геркулес по части бутылочной. Откуда выкопал такого субъекта Михаил Иванович, неизвестно; знаю только, что в названном господине он души не чаял и привез в Варшаву. Расскажу кстати о прогулке их, в самый день приезда, по главной улице города Новый Свет:

Навстречу приезжим попадается Паскевич в коляске, сопровождаемый конвоем линейных казаков. Было установлено правило снимать, под страхом гауптвахты, перед фельдмаршалом шапки, чего Глинка и Дон Педро не могли еще знать. Наместник крикнул кучеру зычным голосом «стоп», подозвал гуляющих и накинулся на злополучного Педро:

– Знаешь, кто я? Шапку долой!

Педро вытаращил глаза, ничего не понимая, а Глинка, спеша выручить приятеля, докладывает о фамилии спутника.

– А вы сами-то кто?

– Я – Глинка!

– Ах, боже мой, так это вы, Михаил Иванович? Вообразите, не узнал. Садитесь с этим шутом ко мне в коляску и отобедайте у меня; покорно прошу.

Паскевич уважал талант покойного композитора и любил музыку (известно, что в предсмертных страданиях, происходивших от рака в желудке, заставлял он играть у себя в комнате военный оркестр, чтобы заглушить мучения). Глинка после обеда, за которым Педро по обычаю объелся, предложил фельдмаршалу устроить музыкальные вечера; Паскевич принял предложение с радостью, и вскоре произведения Глинки исполнялись, под магической палочкой самого Михаила Ивановича, в Королевском замке и Бельведере военным оркестром и хором превосходных певчих главной квартиры армии. Между тем Глинка, не жалуя большого света, посещал только нас, когда не исправлял у фельдмаршала музыкальной обязанности, а еще более любил сиживать дома в халате, предаваясь лени и беседуя с друзьями, упомянутыми мною выше, Корсаковым и Дубровским. Само собою разумеется, Педро вертелся тут же, воздавая честь музе Терпсихоре вообще, а Вакху

в особенности.

Почти в одно время с Глинкою завернул в Варшаву, на обратном пути из-за границы, друг Александра и Льва Сергеевичей С. А. Соболевский и, застряв в этом городе более года, никуда не показывался, а ездил так же, как и Глинка, единственно к моим родителям.

Скажу о Соболевском несколько слов.

Замечательный библиофил и сотрудник во многих журналах, Сергей Александрович колкими эпиграммами и бесцеремонным чересчур обращением в обществе высшего круга, в котором и стяжал прозвище «Mylord qu'importe» [29] (русского более соответственного перевода, кроме «боярин – черт всех побери», пожалуй, и не приищешь), нажил себе немало врагов; в сонме их, на первом месте, находился известный Ф.Ф. Вигель, вследствие эпиграммы, законченной таким образом:

…Счастлив дом тот и тот флигель,
Где, разврата не любя,
Друг, Филипп Филиппыч Вигель,
В шею выгнали тебя.

Славился Соболевский амфигуриями и искусством рифмоплетства до такой степени, что подсказывал дяде Александру Сергеевичу рифмы, когда отдыхал у него на диване после обеда, наслаждаясь ароматом гаванской сигары.

– Нут-ка, Сергей, Бога ради, рифму на «Ольга», – пристает Пушкин.

– «Фолыа!» – разрешает задачу, зевая, Соболевский. Дядя продолжает писать и опять спрашивает:

– Сергей, как мне подогнать рифму на слово «Мефистофель»? Думаю – «п р о ф и л ь».

– Неправильно, – возражает Соболевский, – гораздо проще – картофель; но будет с тебя, Александр; спать хочу.

Привожу следующий образец рифмоплетства «Mylord qu'importe», за который намылила ему дружески голову добрейшая Анна Петровна Керн, подруга матери, воспетая дядей в стихах «Я помню чудное мгновенье», а Глинкой – в романсе на те же слова.

Анна Петровна, женщина умная, не обиделась на довольно пошлую выходку Соболевского, а только, сделав ему дружеский выговор, посоветовала не терять досуги на пустяки, а обратить талант рифмоплетства к чему-нибудь более путному.

Вот выходка Соболевского, сообщенная мне матерью:

Ну, скажи, каков я?
Счастлив беспримерно;
Баронесса Софья
Любит меня верно,
Слепее крота…
Я же легче серны,
Влюбленнее кота,
У ног милой Керны…
Эх!! как они скверны!

В заключение не могу не вспомнить шутку Соболевского по адресу известной поэтессы Р.:

Ах! зачем вы не бульдог,
Только пола нежного!
Полюбить бы я вас мог,
Очень больше прежнего!
Ах! зачем вы не бульдог
С поступью, знать, гордою,
С четвернею белых ног,
С розовою мордою!
Как не целовать мне лап,
Белых, как у кролика,
Коль лобзанье ног у пап
Счастье для католика?..
Быть графиней, что за стать?
И с какою ручкою
Вы осмелитесь сравнять
Хвостик с закорючкою?..

Дед, Сергей Львович Пушкин, приезжал два раза к дочери в Варшаву на все лето: первый раз в 1842 году, второй – в 1846 году; при нем тогда выдержал я экзамен в третий класс гимназии, по окончании которого дед сам надел на меня мундирчик и благословил иконой. Тогда видел я деда в последний раз: в 1848 году он скончался семидесяти семи лет от роду.

Глава X

После кончины Сергея Львовича моя мать ездила в Петербург определить меня в закрытое заведение, а также и для раздела наследства. Там встретила она в последний раз Льва Сергеевича, тоже приехавшего в столицу из Одессы, где, после перехода в гражданскую службу, он состоял членом таможни; умер дядя Лев в Одессе же, ровно четыре года спустя.

Осенью 1851 года моя мать переселилась в Петербург, чтобы наблюдать за окончательным образованием детей. Отец же, связанный службою, остался в Варшаве.

Прожив в Польше девятнадцать лет сряду, мать никак не могла научиться по-польски, уверяя, что ей слышатся звуки псковского наречия, с «дзяканьем» и «дзюканьем», – наречия, изучение которого показалось ей совершенно ненужным. Прислугу она приучала объясняться по-русски, причем вражду национальную считала непонятной мелочью, не постигая польского фанатизма и ненависти поляков к русским. «Господ поляков, – говорила она мне, – никак не убедишь в том, что русский, поляк, китаец, англичанин, эфиоп да немец – все одинаково рождаются, очень много страдают, очень мало радуются и, наконец, возвращаются к общему Небесному Отцу. Господь Иисус Христос искупил всех. Апостол же Павел сам сказал: Несть Эллин и Иудей, варвар и Скиф, раб и свобод, но всяческая и во всех Христос».

Принцип этот не мешал ей, однако, быть патриоткой, но патриоткой в самом благородном смысле слова, без непостижимой ее философскому, христианскому взгляду ненависти к какой бы ни было народности. Любила она искренно всех и, будучи врагом так называемых «бабьих сплетен», ни о ком не отзывалась дурно, разве уже об отъявленных негодяях, о чем я говорил выше.

Покинув Варшаву, она оставила по себе самую лучшую память и среди русских, и среди поляков. Все оценили ум ее, доброту, благочестие, отсутствие предрассудков и благотворительность, примеров которой могу привести множество.

В Петербурге мать встретила свою невестку, вдову поэта, Наталью Николаевну, вышедшую замуж на генерал-адъютанта П.П. Ланского, и давнишних друзей, из которых стали ее часто посещать с супругами: Петр Александрович Плетнев, князь П.А. Вяземский, князь В.Ф. Одоевский литератор, царскосельский товарищ Александра Сергеевича С.Д. Комовский, шурин

последнего и родственник матери граф Е.Е. Камаровский, Я.И. Сабуров, А.Н. Зубов, Алексей Николаевич Вульф с сестрами Анною и баронессою Евпраксиею Вревскою, Анна Петровна Керн, а также известная прежней литературной деятельностью, впрочем, осмеянная в эпиграмме Александра Сергеевича, Е.Н. Пучкова, наконец, задушевный друг матери Настасья Львовна Баратынская. Посещал часто ее и товарищ ее детства, граф Константин Николаевич Толстой, женатый на кузине ее, княжне Оболенской, а в 1855 году показался и престарелый Филипп Филиппович Вигель, сделавшийся обычным посетителем нашим по субботам, когда мать принимала своих старых подруг, сестра моя – молодых, а я – товарищей, университетских буршей. Вигель занимал общество чтением интересных воспоминаний (напечатаны впоследствии в «Русском вестнике»). Нервный, своенравный, он терпеть не мог, когда прерывали чем-нибудь чтение, сморканьем ли, чиханьем ли, или курением табаку, а к зелию такому, по его выражению, «вельми богопротивному», он чувствовал непреодолимое отвращение. Если что-либо прерывало чтение, Вигель уходил домой, ни с кем не прощаясь, что, впрочем, не мешало ему приходить в следующую субботу снова и опять читать. Не могу забыть, как рассердился Вигель за то, что в одну от суббот заснули под его чтение князь П.А. Вяземский и Я.И. Сабуров, вторя его красноречию старческим храпом. Вигель, заметив это, встал, раскланялся и исчез, не говоря ни слова. Не сносил Филипп Филиппович ни противоречия, ни похвалы своим антагонистам; так, он едва не ушел, когда моя мать, вовсе не думая его обидеть, похвалила за что-то врага его, Соболевского.

– Madame! – вскричал он, вскочив со стула, несмотря на то, что вследствие болезни переменял место с трудом, – ne me parlez pas de cette obscenite de la tete aux pieds! [30]

Немало стоило трудов успокоить раздраженного старика.

Надо заметить, что Филипп Филиппович, будучи чопорен до крайности, появлялся, даже среди своих самых коротких знакомых, не иначе как во фраке.

Мать моя, находя удовольствие в обществе своих современников и современниц, беседуя с ними о брате, ужасную кончину которого не могла забыть, сосредоточила все заботы свои на детях; «для Лели и Нади только живу», – говорила она и, отказывая себе во всем, имела одну цель: сбереженное оставить нам; мысль, что дети будут нуждаться, давила ее подобно кошмару. Чтобы показать силу ее материнской любви, считаю священным для себя долгом привести следующие слова, сказанный ею мне в 1857 году:

«Желаю от души видеть тебя счастливым, сын мой; молю

Бога, чтобы тяжесть всех неудач и горьких разочарований, которые испытываешь, когда тебе не минуло еще и двадцати трех лет, легла не на тебе, а на мне, лишь бы в упорной борьбе, какую выдерживаешь, купить тебе спокойствие. Я всегда с тобою, сын мой; будь тверд и верь: всякая победа обусловливается твердостию духа и верою, а уныние и безверие влекут за собою жестокие поражения».

Любимым предметом бесед матери с друзьями был мир духовный. Как я уже сказал выше, она занималась одно время столоверчением, полагая, что беседует с тенью брата Александра, который будто бы приказал сестре сжечь ее «Семейную хронику». Находясь под влиянием галлюцинации, мать увидала, якобы, тень брата ночью, умолявшего ее это исполнить, и на другой же день от ее интересных записок не осталось и следов. Случилось это при начале Восточной войны, когда многие были заражены идеями нового крестового похода против неверных, страхом о кончине мира и ужасами разного рода, предаваясь сомнамбулизму, столоверчениям, гаданиям в зеркалах. В это же самое время, осенью 1853 года, вскоре, как помнится, после битвы при Синопе, собрались в Москве у господ Нащокиных любители столокружения, чающие проникнуть в тайны духовного мира, друзья покойного Александра Сергеевича. Господа эти вызвали тень его, и тень, будто бы управляя рукой молоденькой девочки, не имевшей никакого понятия о стихах, написала посредством миниатюрного столика [31] , одну из ножек которого заменял карандаш на бумаге, следующую штуку, на вопрос любопытных: «Скажи, Пушкин, где ты теперь?»:

Входя в небесные селенья,
Печалилась душа моя,
Что средь земного треволненья
Вас оставлял надолго я…
По-прежнему вы сердцу милы;
Но не земное я люблю
И у престола высшей силы
За вас, друзья мои, молю…

Впрочем, мать моя бросила столоверчение после того, как одна из коротких ее знакомых, занимавшаяся тем же, занемогла от расстройства нервов и едва не сошла с ума. Возвратилась эта знакомая к состоянию нормальному благодаря неумолимой логике доктора Здекауера.

Мало-помалу мать разочаровалась и в Сведенборге, и в учении спиритов. (См. ниже: предсмертное стихотворение ее «Спиритизм».)

Мать, после постигшего ее в 1846 году воспаления легких, стала страдать слабостью и периодическим потемнением глаз, а в следующем, 1847 году ездила лечиться в Фрейвальдау, в Силезию, у знаменитого Шрота. Лечение принесло пользу, но глазная болезнь возобновилась в Петербурге: яркого освещения мать не могла выносить, а вследствие глазной болезни естественным образом подверглась и расстройству нервов.

Недуги с летами увеличились и 2 декабря 1862 года разразились страшным нервным ударом, которому предшествовали летом того же года головокружения.

Нервный удар, лишив мать употребления ног, способствовал в свою очередь развитию глазной неизлечимой болезни «глаукома». Между тем к операции глаз приступить было нельзя без опасности для жизни, так как после удара у матери проявлялись беспрестанные обмороки. Так решил на консилиуме с окулистом Блесигом пользовавший мать доктор и друг нашего дома Н.И. Варенуха. Он не отходил от матери, занимая квартиру в одном и том же доме, и сумел продлить ей жизнь еще почти на шесть лет.

Глазную операцию мать выдержала уже в конце 1863 года у профессора Юнге, когда организм ее несколько окреп; спасти же от окончательной слепоты возможно было только правый глаз; левый был мертв; но и после операции мать видела предметы правым глазом как бы сквозь густой черный флер, а ноги после удара остались парализованными, так что без помощи палки она не могла ступить.

В период последней, тяжелой эпохи жизненного пути мать, несмотря на слепоту, написала собственноручно хранящиеся у меня стихотворения. Привожу некоторые по годам.

1864

Смерть! не страшилищем вижу тебя!
Вижу тебя я с улыбкой приветливой:
Очи исполнены нежной любви,
Вижу тебя я в одежде сияющей
Цветом весенних небес голубых,
Крылья распущены благоуханные,
Вея прохладою, белы как снег,
Вижу вокруг тебя радугу ясную,
Ветвь примиренья во длани твоей!
Что же так медлишь полет

твой, прекрасная?

Скорее ж лети ты, скорее ко мне,

И нежно возьми ты в объятья меня!

20 марта

Утешительница

(Быль. Написано после беседы матери с одною из ее знакомых, Т. С. в., рожденной княжной Х. – существом, впрочем, добрейшим, которая, думая утешить ее, приводила многочисленные примеры слепоты. «Знаю, Темира, – отвечала ей мать, – что есть люди несчастнее меня, да от этого-то мне нисколько не легче».)

Старушка больная, слепая, безногая,

На лавке сидит у окна одинокая,

Глаза неподвижные, тусклые, впалые

Слезы роняли давно небывалые.

К ней в горницу входит соседка дородная,

На ней душегрейка алая, модная.

Хоть стара, да румяна, бела, черноброва,

Сурмится, румянится всякий день снова.

«Здравствуй, Онуфревна! с праздником, кумушка!

Что ты, мой друг? здорова ль, голубушка?

Тебе принесла я на праздник подарочек,

Медку сотового, красненьких яичек.

Да какой же прекрасный у нас и денек!

Солнышко греет, как зимой огонек;

И тепло, и светло, и луга зеленеют,

Скоро на них и цветки зажелтеют».

Целует слепую, ей в руки кладет

По два яичка, пред ней ставит мед.

«Спасибо тебе, – ей сказала слепая,
Дрожащей рукою глаза утирая, —
Спасибо, кума, не на радость себе
Добрые люди приходят ко мне».
«И, полно тужить, ты напрасно грустишь,
Еще в такой праздник! ну, право грешишь!
Вот недалеко слепую я знаю,
А горя побольше у ней еще, чаю:
Она без приюта, подаяньем живет,
А всегда весела, часто песни поет».
Старушка молчала, внимала словам,
И слезы катились у ней по щекам.
15 июня

1865
Что такое спиритизм?
Нас спиритисты утешают,
Что после смерти в другой мир
Мы перейдем, и уверяют,
Что все планеты, как трактир —
Для временного пребыванья
Одушевленного созданья;
И что не только человек,
Собака, мышь, и слон, и кошка,
Но даже таракан и мошка
Переселяться будут век
Из мира в мир для улучшенья,
Души и тела украшенья.
А что земля грязна, скверна
И для того лишь создана,
Чтоб поселить сперва чертей,
Птиц хищных, лютых тож зверей,
Мошенников, воров, злодеев,
Клопов и блох, и жаб и змеев,

Чем начинается наш род,
То есть все люди и весь скот.
А потому давно пора
При смерти нам кричать «ура».
25 февраля

La pensee
Nous faudra t'il toujours enchaTner la peusee?
Et la soumettre au joug pour la voir abaissee?
N'est-elle point semblable a l'aigle dans les airs,
Qui plane sur l'abyme et traverse les mers?
Qui plus prompt que le trait, parcourant les deserts,
S'arrete sur les monts aux dessus des nuages?..
Ah! laissons lui son vol et reservons les cages
A ces gentils oiseaux, pares de leur plumage,
Qui chantent dans les bois, pour qu'il soient entendus,
Et s'abattent joyeux sur les flets tendus!
Quand la pensee est grande, elle doit etre libre:
Il faut briser ses fers, il faut qu'on la delivre;
Alors son vol sera rapide, audacieux!
Il lui decouvrira les arcanes des cieux,
Ces mondes si brillants, mais caches a nos yeux,
Qui, l'attirant toujours, la repoussent encore;
Leur source etanchera la soif qui la devore!..
Plus belle, rajeunie, et pleine de vigueur,
Allumant ses fambeaux pour dissiper l'erreur —

Ou pourraient la plonger les merveilleux mirages,
Elle atteindra le but de ses lointains voyages…
Et je revais pour elle ainsi la liberte;
Mais revenue bientot a la realite,
Par une voix secrete et cependant sonore,
Qu'on craint presque toujours, que la passion abhorre,
Cette voix me disait: «Homme stupide et vain!
Toi meme dans les fers, esclave du destin,
Creation imparfaite, et du ciel repoussee!..
Est-ce atoid'elever jusqu'a lui la pensee?!!
Si l'aigle sans frayeur traverse les deserts,
C'est qu'il peut de son oeil en mesurer l'espace,
Appercevoir son but, les monts couverts de glace;
Mais ta pensee a toi, volant dans l'univers —
Cet espace sans fn, – egaree, epuisee,
Ou peut elle ployer son oeil fatigue?
Ces mondes si brillants, qu'elle interrogerait,
Seront muets pour elle, et partout le silence;
Ne voyant que la mort aupres de l'existence,
Sans espoir vers la terre elle rotoumerait»…
1 Juillet

(Мысль)

(Неужели нам надо будет всегда сковывать мысль и покорять ее игу, чтобы видеть ее униженною? Не подобна ли она орлу в воздухе, который парит над пропастью и пролетает моря, – орлу, который, быстрее стрелы пробегая степи, останавливается на горах, выше облаков? Оставим ему полет и отдадим клетки тем

красивым птичкам, разряженным в перья, поющим в рощах для того, чтобы их слышали; они радостно попадают в расставленные им сети. Когда же мысль велика, то должна быть свободна! Надо сломать ее оковы, надо дать ей волю, тогда полет ее будет быстр и смел. Он откроет ей тайны небес, миров блестящих, но сокрытых от наших взоров, – миров, которые, привлекая ее, отталкивают вновь! Источник этих миров утолит жажду, ее пожирающую. Тогда прекраснее, с обновленною молодостью, исполненная силы, зажигая свои факелы, рассеивающие заблуждения, в какие могли ее погрузить чудесные призраки, мысль достигнет цели своих далеких странствований. – И я такую воображала себе для мысли свободу. Но скоро возвратилась к действительности, услышав голос тайный, но, однако, звучный, голос, которого почти всегда боятся и которого страсть человеческая ужасается. Голос этот мне сказал: «Человек безумный и тщеславный! Сам ты в цепях, раб судьбы, несовершенное творенье, отверженное небесами!.. Тебе ли к ним возносить мысль? Если орел пролетает бесстрашно пустыни, то потому, что может глазом измерить расстояние, замечать свою цель – горы, покрытые льдом. Но мысль твоя, летая по вселенной, в этом пространстве без конца, – мысль, заблужденная, истощенная, где может опустить свое усталое крыло? Эти блистающие миры, которые она бы вопрошала, будут немы для нее, и везде встретит она безмолвие. Тогда, не видя смерти рядом с жизнию, она без надежды возвратилась бы на землю»…)

1866

Ангелу хранителю

Не улетай, прекрасный Ангел мой,
Не улетай, небесный утешитель,
Души моей, томимой злой тоской,
Кто, как не ты путеводитель!
Не улетай, о сжалься надо мной,
Под бременем моим уж я изнемогаю,
Веди меня средь жизни роковой,
Дай руку мне, тебя я умоляю!
Опора мне нужна: опорою мне будь!
Лучами светлыми и теплыми надежды
Рассей ужасный мрак и озари мой

путь,
И пусть я при тебе мои закрою вежды.
4 сентября

Зачем не бьет мой час желанный,
Зачем дышу, страдаю я?
Зачем у гроба клир печальный
Не молит Бога за меня?
Не потому ль, что искупаю
Страданьем счастие детей?
Да будет так! Благословляю
Тяжелый крест судьбы моей.
И донесу его радушно
Я до могилы; там усну…
Там будет мне легко, не душно,
И я от жизни отдохну…
20 ноября

1867
Буря
Солнце исчезло, тучи бегут
Одна за другой все мрачнее…
Белые волны по морю плывут
К высоким скалам все сильнее.
Лес содрогнулся, в нем ветер шумит,
Качает деревья, их с корнем срывает,
С природы гигантом сразиться летит,
И дуб вековой на земле издыхает…
Но к лесу на помощь вот туча спешит
Молнией, громом его осеняет,
Дождь водопадом шумящим кипит,
Ветер в испуге пред ним умолкает.
И синее море недвижно опять.
Любуясь собою, в нем шар золотистый,
И блестки игривые стали сиять,

И в роще запел соловей голосистый…

Все тихо, но живо, и зелень лугов,

И зелень деревьев; и как благовонны

В воздухе чистом дыханья цветов,

Как ярки цветы, как жизнию полны!

Так в юноше буря души исчезает.

Надежда с улыбкой приходит к нему!

Счастьем грядущим его утешает,

Он жадно ей внемлет, он верит тому…

Рукою своею она подымает

С очей его черный тяжелый покров,

Долину прекрасну пред ним открывает,

В долине той радость и дружба, любовь…

Но ветер в пустыне когда забушует,

Он страшен, ужасен, удушлив и жгуч,

Не с дивной природой земли он воюет:

Он борется с небом, с мириадами туч!..

И вот он устал; но победой гордится

Над морем, дождем, над свирепой грозой!

На желтую, рыхлую почву ложится,

Чтоб с новою силой стремиться на бой!

10 мая

Моя эпитафия

Отдых от жизни тяжелой

Могила одна лишь дает;
Пусть же с улыбкой веселой
Страдалица к смерти идет…
9 июля

С января 1868 года силы физические окончательно стали покидать мою мать; она таяла как свеча, пожелтела как пергамент, но сохранила свежесть умственных сил. В последние минуты бытия земного написала она три следующие стихотворения.

Фатализм

Фатализм мой закон: он меня утешает,
С небом, землею меня он мирит;
Ропот в страданьях моих заглушает,
Совесть тревожную даже щадит…
Голос его как мне звучен, приятен!
Для сердца бальзам, для ума светлый луч!
Почто же не всем, как мне, он понятен?
И ясен, как майское небо без туч?
Не гордость ли разум людей помрачает?
Боясь унижаться, поверив судьбе,
Скорей в неудачах себя обвиняют,
В успехах «спасибо» гласят лишь себе…

* * *

Я смерти жду, как узник ждет свободы,
Но дни текут, и месяцы, и годы;
Она нейдет, глуха к моим мольбам,
Безжалостна к томленью и слезам!
Она нейдет, и долгой жизни бремя
Так стало тяжело! и почему же время
Для всех других быстрее рек бежит,

Лишь для меня недвижимо стоит?
Но жалоба моя быть может и напрасна:
Кто знает? не она ль судьбе, как мы, подвластна,
Которая ведет ее своей рукой,
Косить, не ведая, что видит пред собой?

* * *

Уж холод струится по жилам моим…
Не вестник ли смерти моей он желанной?..
Спеши же ко мне, оставь жизнь молодым,
Жизнь их лелеет надеждой отрадной;
Надежда ж моя – вся в тебе лишь одной.
Ты прекращаешь страдальцев стенанья,
Ниспосылая им вечный покой,
Сном беспробудным, забвеньем страданья…
19 марта 1868 г.

В четверг, 2 мая 1868 года, в четыре часа пополудни, мать моя скончалась на моих руках, приобщившись Святых Тайн. По настоянию Е. Л. Симанской, ее соборовали за две недели до кончины.

6 мая, в понедельник, последовал вынос тела в Новодевичий монастырь, на кладбище которого мать изъявляла неоднократно желание быть погребенной. Литургию, отпевание и погребение в сослужении с местным духовенством совершал маститый протоиерей Преображенского собора М. Спасский, давнишний знакомый матери и Александра Сергеевича.

Мир праху ее…

Приложение

Переписка между Александром Сергеевичем Пушкиным и Николаем ивановичем Павлищевым

I

4 мая 1834 года, С. – Петербург

Милостивый государь Николай Иванович! благодарю вас за ваше письмо. Оно дельное и деловое, следовательно отвечать на него не трудно.

Согласясь взять на себя управление батюшкиного имения, я потребовал ясного расчета долгам казенным и частным и доходам. Батюшка отвечал мне, что долгу на всем имении тысяч сто, что процентов в год должно уплачивать тысяч семь, что недоимки тысячи три, а что доходов тысяч двадцать две. Я просил все это определить с большею точностью, и батюшка не успел того сделать сам; я обратился в ломбарды и узнал наверное, что долгу казенного 190 750, что процентов ежегодно 11 826, что недоимок 11 045. (Частных долгов полагаю около 10 000.) Сколько доходу – наверное знать не могу, но, полагаясь на слова батюшкины и ставя по 22 000, выйдет, что за уплатою казне процентов, остается до 10 000. Из оных, если батюшка положит по 1500 Ольге Сергеевне, да по стольку же Льву Сергеевичу, то останется для него 7000. Сего было бы довольно для него, но есть недоимки казенные, долги частные, долги Льва Сергеевича, а часть доходов сего года уже батюшкой получена и истрачена.

Покамест не приведу в порядок и в известность сии запутанные дела, ничего не могу обещать Ольге Сергеевне и не обещаю; состояние мое позволяет мне не брать ничего из доходов батюшкиного имения, но своих денег я не могу и не в состоянии приплачивать. Надеюсь получить (место в письме вырвано). Из них пришлю вам долг Льва Сергеевича.

С истинным почтением и преданностью остаюсь

Ваш покорнейший слуга *А. Пушкин*

P. S. Я еще не получил от батюшки доверенности. За один месяц из моих денег уплатил уже в один месяц 866 за батюшку, а за Льва Сергеевича 1330, более не могу.

На обороте: Его высокоблагородию милостивому государю Николаю Ивановичу Павлищеву. В Варшаву. Помощнику статс-секретаря Государственного совета. *(штемпель почтамта С. – Петербурга, 1835, мая 5-го.)*

II

3 июня 1835 года

Милостивый государь Николай Иванович! вы желаете знать,

что такое состояние батюшки; посылаю вам о том ведомость: В селе Болдине душ по 7-й ревизии 564.

В сельце Кистеневе (Тимашеве тож) 476.

Покойный Василий Львович владел другой половиною Болдина, в коей было также около 600 душ. Эта часть продана спустя 3 года после отречения от наследства самого наследника. Я не мог взять на себя долга покойника, потому что уж и без того был стеснен, а брат Лев Сергеевич, кажется, не мог бы о том и подумать, ибо на первый случай надобно было бы уплатить по крайней мере 60 000. Жаль, что вы в то время не снеслись со мною; кабы я мог думать, что вы примете на себя управление этим имением, я бы мог от него не отступиться.

Вы хотите иметь доверенность на управление части Кистенева, коего доходы уступаю сестре – с охотою; напишите мне только: переслать ли вам оную, или сами вы за нею придете. Переговорить обо всем не худо было б.

Весь ваш *А. Пушкин.*

На обороте: Его высокоблагородию милостивому государю Николаю Ивановичу Павлищеву. В Варшаву, г. помощнику статс-секретаря. *(штемпель почтамта С. – Петербурга, 5 июня 1835.)*

III

2 августа 1835 года

Милостивый государь Николай Иванович! я вам долго не отвечал, потому что ничего утвердительного не мог написать.

Отвечаю сегодня на оба ваши письма; вы правы почти во всем, а в чем не правы, о том нечего толковать. Поговорим о деле. Вы требуете сестрину законную часть; вы знаете наши семейственные обстоятельства; вы знаете, как трудно у нас приступать к чему-нибудь дельному или деловому; отложим это до другого времени. Вот распоряжения, которые на днях предложил я батюшке и на которые он, слава Богу, согласен. Он Льву Сергеевичу отдает половину Кистенева, свою половину уступаю сестре (т. е. доходы) с тем, чтоб она получала доходы и платила проценты в ломбарды. Я писал о том уже управителю. Батюшке остается Болдино. С моей стороны это, конечно, не пожертвование, не одолжение, а расчет для будущего. У меня у самого семейство, и дела мои не в хорошем состоянии. Думаю оставить Петербург и ехать в деревню, если только этим не навлеку на себя неудовольствия.

За фермуар и за булавку дают 850 рублей. Как прикажете? не худо было бы вам приехать в Петербург, но об этом успеем списаться.

Я до сих пор еще управляю имением, но думаю к июлю сдать его. Матушке [32] легче, но ей совсем не так хорошо, как она

думает; лекаря не надеются на совершенное выздоровление.

Сердечно кланяюсь вам и сестре. *А. Пушкин.*

IV

13 июля 1836 года

Я очень знал, что приказчик плут, хотя, признаюсь, не подозревал в нем такой наглости. Вы прекрасно сделали, что его прогнали и что взялись сами хозяйничать. Одно плохо, по письму вашему вижу, что, вопреки моему приказанию, приказчик успел уже все распродать. Чем же будете вы жить покамест? Ей-Богу, не ведаю. Ваш Пановский ко мне не является. Но так как я еще не имею доверенности от Льва Сергеевича, то я его и не отыскивал. Однако где мне найти его, когда будет до него нужда? Батюшка уехал из Петербурга 1-го июля, и я не получил об нем известия. Письмо сестры перешлю к нему, коль скоро узнаю, куда к нему писать; что ее здоровье? От всего сердца обнимаю ее. Кланяюсь также милой и почтенной Прасковье Александровне [33] , которая совсем меня забыла. – Здесь у меня голова кругом идет, думаю приехать в Михайловское, коль скоро немножко устрою свои дела.

На обороте: Его высокоблагородию милостивому государю Николаю Ивановичу Павлищеву. В город Остров, оттуда во Врев.

V

1836 (число не выставлено)

Пришлите мне, сделайте одолжение, объявление о продаже Михайловского, составя его на месте; я так его и напечатаю. Но постарайтесь на месте же переговорить с лучшими покупщиками. Здесь за Михайловское один из наших соседей, знающий и край и землю нашу, предлагает мне 20 000 рублей. Признаюсь, вряд ли кто даст вдвое, а о 60 000 я не смею и думать. На сделку, вами предлагаемую, не могу согласиться, и вот почему: батюшка никогда не согласится выделить Ольгу, а полагаться на Болдино мне невозможно. Батюшка уже половину имения прожил и проглядел, а остальное хотел уже продать. Вы пишете, что Михайловское будет мне игрушка, так – для меня, но дети мои ничуть не богаче вашего Лёли [34] , и я их будущностью и собственностию шутить не могу. Если, взяв Михайловское, понадобится вам его продать, то оно мне и игрушкою не будет. Оценка ваша в 64 000 выгодна, но надобно знать, дадут ли столько; я бы и дал, да денег не хватает, да кабы и были, то я капитал свой мог бы употребить выгоднее. Кланяюсь Ольге, дай Бог ей здоровья – а нам хороших покупщиков. Нынче осенью буду в Михайловском – вероятно, в последний. Желал бы вас еще застать.

А. Пушкин.

На обороте: Его высокоблагородию милостивому государю Николаю Ивановичу Павлищеву. В Остров, в село Врев.

Письма моего отца, Николая ивановича Павлищева, к дяде моему, Александру Сергеевичу Пушкину (в выдержках)

I

Михайловское, 27 июня 1836 года

Я ехал сюда предубежденный в пользу управителя. С этим предубеждением я принялся на досуге рассматривать его приходо-расходные книги, и вот что оказалось. Имейте, однако ж, терпение прочитать все со вниманием: я трудился больше для вас, нежели для себя. Речь идет здесь только о последних 18 месяцах, которые управитель провел здесь один, без господ. (Следует подробное описание краж управителя по всем продуктам и прочим статьям дохода.)

Если разбирать каждую статью, то не было бы письму моему конца. Довольно прибавить, что в холсте, пряже, шерсти да в поборе с крестьян, как то: гусей, кур, свиней, яиц и проч. я не досчитался больше половины. Обо всем у меня составлены подробные ведомости, из которых явствует, что управитель в прошлом году батюшке дал 630 руб., в расход вывел 720, а 3500 украл. Воровство страшное, а от чего? от того, во-первых, что управитель вор, а во-вторых, потому что он, получая 300 руб. жалованья и рублей 260 разных припасов, по положению батюшки, не может прокормить этим себя, жену, пятеро детей и двух баб, которые у него в услужении из деревни, да и что он за дурак тратить на это свое жалованье? По самому простому положению деревенскому, ему нужно без малого 1000 рублей. Денег этих в расходе он показать не смел, а утаил их в приходе. Прибавьте к этому нерадение о лесах, особенно на Земиной горе, от неимения караула более года, жалкое состояние строений, нищенскую одежду дворни (например, 5 фунтов льна на душу), своевольный наряд на барщину (делать, например, для управляющего дрожки), и получите полное понятие о нерадивом и плутовском управлении Г. Р.

Я не мог скрыть мое негодование: я призвал управителя и высчитал ему по книгам – так называю его бестолковые записки – все его злоупотребления. Он вымолвил: «батюшка, не погубите!» (т. е. не разглашайте). На вопрос, что заставило его идти в управители на 560 руб., отвечал он: «крайность». Я ему отказал, в полной уверенности, что он еще меня поблагодарит за избавление вас от расчета с подобным плутом.

После этого я хлеб в амбаре перемерил и поручил старосте сад, пчельник Архипу, птиц птичнице, скот скотнице. Все это было третьего дня. Вчера же успел я землю, которая ходила в

75 руб., отдать за 95; другую, ходившую в 175, берут у меня уже за 245. Сообщу о последующем мои соображения.

Теперь же у меня голова ходит кругом, но не от хозяйства, а от положения Ольги [35] . Она очень больна: кашель ужасный и грудь болит. Не знаю, что делать: доктора она не хочет и не позволяет послать за ним. Желаю здоровья вам с детками. Наталье Николаевне и сестрицам ее мое усерднейшее почтение.

Н. Павлищев

II

Михайловское, 11 июля 1836 года

Из письма моего от 27 июня вы знаете, Александр Сергеевич, что я прогнал управителя. С этого времени хозяйство идет своим порядком, без хлопот; косят сено да ставят в скирды, а там примутся за жатву. Теперь я на досуге познакомился коротко с имением.

Оценка ваша – по 500 руб. за душу – едва ли основательна. Душа душе рознь, продается она в Псковской губернии по разным ценам.

В Михайловском земли не 700 десятин, а 1965, как видно из межевых книг и специальных планов. Ошибка ваша произошла от того, что вы вместо двух описей межевых книг взяли отсюда только одну, и то не Михайловского, а Морозова – с прочими деревнями. По книге и планам видно, что в Зуеве, что ныне Михайловское, с прочими деревнями, по межеванию 1786 года, имеется земли 1965 десятин 1738 саженей; в том числе показано неудобной только 8 десятин. На этом пространстве в 1786 году было 190 душ; из них 100 с лишком выселены были для г-жи Толстой под Псков, и осталось по последней ревизии 80.

Итак, в отношении земли Михайловское есть одно из лучших имений в Псковской губернии. Пашенная земля, несмотря на запущенную обработку, родит изрядно: пастбищных лугов и отхожих сенных покосов вдоволь, лесу порядочно, а рыбы без числа.

Средний доход с имения определяется десятилетнею сложностью, но приходо-расходные книги не могли бы служить поверкою, быв составляемы плутами и грабителями, подобно Р. К счастию, что хоть за 1835 год книги я успел захватить у управителя. Делать нечего; положился на Р. Не будем считать, что он украл сена, разного хлеба, масла, льна и тому подобных припасов, что на одних оброчных землях я тотчас сделал до 200 руб. прибыли. На худой конец Михайловское, при прошлогоднем дурном урожае, дало до 5000 чистого дохода; не будем считать всего этого, а положим, что Р. не украл ни гроша: все-таки по его книгам, за отчислением расхода на посев

дворовым, на лошадей, скот и птиц, чистого дохода выведено 3600 рублей. Это самый низкий доход; для получения его нужен капитал 80 000 рублей; следовательно, Михайловское равно капиталу 80 000, а душа 1000 рублям. Положим, имение будет всегда опустошаемо наемными приказчиками, будут неурожаи, и доход еще уменьшится; в таком случае, понижая доход в 10-летней сложности на 3000 рублей, получится капитал 75 000; сбавьте еще на грабеж и неурожай 5000, – и тут имение сохранит цену 70 000.

Итак, самая низкая цена Михайловскому 70 000. Хлопочу о законной оценке, потому что действую не за себя, а за жену с сыном и за Льва Сергеевича. Чем справедливее оценка, тем законнее будет выделяемая 1/14 часть. Если имение купите вы, то я готов спустить еще 6000 и отдать его вам за 64 000, т. е. по 800 руб. душу. Таким образом, заплатите Ольге вместо 8500 руб. 13 700, – капитал, составляющий все достояние нашего сына, залог его существования в случае моей смерти. Разумеется, что и Лев Сергеевич поблагодарит, получив вместо 15 700 – 25 000.

Вот основание, на котором должно делиться. Раздел может быть произведен или продажею имения, или дележом в натуре. Последний способ невыгоден, ибо пришлось бы для уравнения делить имение по клочкам; раздроблением имение потеряло бы цену, и каждый остался бы в убытке. Остается способ продажи. Ольга купить его не может, потому что не может заплатить вам и Льву 50 000; Лев также, потому что нуждается в деньгах; остаетесь вы. Если же и вы не хотите, то приходится продать имение в чужие руки, покупщики найдутся; для них можно даже возвысить цену до 70 000. Объявление об этом должно подать в газетах. Не забудьте только сделать в газетах вызов кредиторам и должникам покойной матушки. Я ожидаю вас и очистил флигель для вас, если вам не вздумается стать в доме. Вам надо поспешить сюда.

Не знаю, в каком положении вы найдете Ольгу. Здоровье ее день ото дня хуже; кашель не перестает, а к нему присоединились еще лихорадочные припадки. Против воли ее я посылал в Новоржев за доктором, который и приезжал. Но она не принимает его лекарства. Я в мучительном положении; попытаюсь еще раз призвать доктора, а там одна надежда на Бога. Мое почтенье Наталье Николаевне.

Н. Павлищев

III

1 августа 1836 года

Вы требуете окончательной оценки. Я уже сделал ее, по действительному доходу 1834 года, в 64 000.

Предлагаю вам еще сделку, если, разумеется, Сергей Львович согласится выделить Ольгу. Ей причтется с нижегородского имения 80 душ, что даст 48 тысяч.

По моей оценке приходится вам и Льву Сергеевичу получить за Михайловское каждому по 25 143 рубля, обоим 50 287. Коли вы согласны на эту мену, то я, приняв Михайловское, заложу его в 12 тысяч, из коих тотчас 5143 рубля посылаю Льву Сергеевичу, а остальные употреблю на расплату с семейными долгами и на поправку имения. Таким образом, останусь я должным вам 25 тысяч, а Льву 20 тысяч, которые и заплачу нижегородским имением. Получив Михайловское, которым я могу управлять и из Варшавы, я, посредством заклада, могу тотчас иметь деньги, нужные мне до зареза. Оно в моих руках будет кусок хлеба, а в ваших, простите откровенность, дача, игрушка, которой вы, впрочем, всегда можете пользоваться.

Из лучших покупщиков Л – в на водах, а Р. в Москве; других я еще не приискал, потому что, по болезни Ольги, я нигде не был и никого не видел. Согласитесь лучше, Александр Сергеевич, на предлагаемую мною сделку, и дело с концом. Примите и проч.

Н. Павлищев

Предложив вам менять Михайловское на часть нижегородского имения, я ожидал скорого ответа. Ответа нет, а между тем меня зовут в Варшаву. Срок моего отпуска минул третьего дня. Если бы ответ ваш пришел вовремя, то я успел бы еще с доверенностями вашею, Льва и Ольги съездить в Остров и приискать денег; в случае же неудачи – еще списаться с вами. Но теперь мне не с чем выехать и приехать, чтобы расплатиться с кредиторами. Эта крайность заставляет меня отказаться и от меновой сделки, и от продажи имения в чужие руки, требующей много времени. Возьмите Михайловское, только выручите нас из беды. Если не можете заплатить доли Ольгиной сполна, то дайте на первый раз 2500 руб., остальные 5000 руб. будут за вами.

Зову вас сюда дня хоть на два или на три для того, чтобы сдать вам на руки документы и бумаги по имению и хозяйству. В несколько часов познакомитесь с здешним хозяйством, а познакомившись с ним, не дадите себя обманывать подобно батюшке ни здесь, ни в будущем вашем нижегородском имении. (Если, разумеется, батюшка его не замотает или не проплачет.)

Все хозяйство разделил я на 2 части: одною заведует староста, а другою Архип. Тот и другой имеют книги, по которым должны вести отчетность. Каждый по своей части. От меня узнаете, сколько чего и что от них вы должны требовать. Я с охотой занимался сельским делом и не даром хочу быть порядочным, если не помещиком, то хоть арендатором или

управителем. Je crois que j'ai manque ma vocation (Полагаю, я упустил свое призвание (*фр.*)).

Не забудьте также, что рекрутский набор на носу. Не худо забрить лоб кому-нибудь из наследников Михаилы, но это вы сами знаете. Перед выездом отсюда пишу Сергею Львовичу, что сделка наша не состоялась по причинам, требовавшим немедленно моего выезда в Варшаву. Посмотрим, что скажет Сергей Львович. Авось образумится. Ведь сам же он говорил в письме к Прасковье Александровне [36] : «Ma presence a Нижний n'est bonne a rien: j'ai perdu toutes les facultes intellectuelies, – je suis presque aliene» (В моем пребывании в Нижнем нет ничего хорошего: я потерял все свои интеллектуальные способности, – я почти сошел с ума (*фр* .)).

Здоровье Ольги поправляется. На днях соберемся, может быть, погостить у Прасковьи Александровны, у Вревских и у Вениамина Петровича Ганнибала. П. А. сидит дома, нездорова. Вревские были у нас два раза, Вениамин Петрович нас изредка навещает; соседство его, как хорошего хозяина, может быть очень полезно.

Н. Павлищев

IV

4 ноября 1836 года

Отъезжая из Михайловского, я приказал старосте до приезда вашего доносить обо всем мне, чтобы не оставить имения на произвол судьбы. Теперь полагаю, что вы уже там были, все видели и приняли в свое распоряжение. Спешу кончить расчет наш по наследству, которое осталось за вами в 40 000 руб.

При дележе должно различать имение движимое от недвижимого. Из движимого причитается Ольге 10 104 руб. 88 к., в то число получено 3526 руб. 8 к. Остается получить 6578 руб. 80 коп.

Во владение введут вас не прежде как в апреле, следственно, до апреля нам и денег требовать нельзя. Но я в таком положении, что не знаю, как проживу до будущего месяца. Я приехал сюда с 1000 рублями, и те пошли тотчас на квартиру и поправку хозяйства. Вы богаты если не деньгами, то кредитом. Помогите. Высылайте нам теперь 1578 руб.; 5000 отдадите к январю 1838, если нельзя дать прежде. Процентов не нужно; словом, мы будем вам весьма благодарны, если вы на первый раз вышлете 1578 р.

Послушайтесь меня, Александр Сергеевич. Не выпускайте из рук плута Михайлу с семьею. Я сам не меньше вашего забочусь о благе крепостных. В Михайловском я одел их и накормил. Благо их не в вольности, а в хорошем хлебе. Михайло и последнего не заслуживает. Возьмите с него выкуп; он даст вам за семью 10

тысяч руб. Не то берите хоть оброк с Ваньки и Гаврюшки, по 10 руб. в месяц с каждого, а с Васьки, получающего чуть ли не полковничье жалованье, – по 20 руб. в месяц, обязав, в случае неисправности, платить самого Михаилу. Вот вам и капитал 10 000. Петрушка будет если не солдат, то лихой ротный писарь или цирульник.

Батюшка подарил карету с заветной четверней Ольге. Карета вам верно не нужна; я продаю ее, а лошадей, которые нужны в хозяйстве для работы, не хотите ли оставить за собою?

Из Михайловских дворовых у меня Петрушка и Пронька. Последнего просим мы оставить у нас, а с Петрушкой я не знаю, что и делать. Он спился с кругу; я хотел было отправить его по пересылке в деревню для отдачи в рекруты, вместо порядочного мужика, но раздумал; ожидаю ваших приказаний, а между тем дал ему паспорт для проживания здесь в Варшаве.

Надо было мне немедленно ехать в Варшаву [37] . Слава Богу, что фельдмаршал [38] принял меня, не только без грозы, но даже без упреков. Примите и проч.

Н. Павлищев

О.С. Пушкиной

Нас случай свел; но не слепцом меня
К тебе он влек непобедимой силой!
Поэта друг, сестра и гений милый,
По сердцу ты и мне давно родня.
Так в памяти сердечной без заката
Мечта о нем горит теперь живей;
Я полюбил в тебе сначала брата,
Брат по сестре еще мне стал милей.
Удел его – блеск славы вечно льстивой,
Но часто нам сияющей из туч;
И от нее ударит яркий луч
На жребий твой, в беспечности счастливый.
Но для него ты благотворней будь:
Свети ему звездою безмятежной,
И в бурной мгле отрадой дружной, нежной
Ты услаждай тоскующую грудь! [39]

Князь Вяземский

Отрывки из моих воспоминаний возбудили, сверх моего ожидания, довольно значительный интерес; некоторые периодические издания отозвались о них весьма лестным для меня образом и привели у себя обширные выдержки.

Кроме того, многие из знакомых, пользовавшихся радушным гостеприимством моей матери, стали убеждать меня напечатать и другие части «Семейной хроники», касающиеся покойных Ольги

Сергеевны, брата ее Александра Сергеевича, их родителей и моего отца.

Не обладая ни литературным талантом, ни даже сносным литературным слогом, я писал «Хронику» собственно для себя, а если решился напечатать отрывки из нее, то потому, во-первых, что, как я уже предварял читателей, мне казалось «просто грешно» утаивать некоторые черты, известные лишь мне одному из жизни поэта, принадлежащего не только своим кровным родным, но и всей России, а во-вторых, потому что, исполняя сыновний долг, я хотел напомнить, что единственная сестра достославной памяти Пушкина – родная мать моя Ольга Сергеевна Павлищева, – забытая, Бог весть почему, пушкинскими биографами и комментаторами, была, действительно, – как ее воспел кн. Вяземский – «поэта друг и гений милый».

Появившиеся же в печати, в разное время, три или четыре записочки к ней дяди Александра да напечатанные стихи его «Ты хочешь, друг бесценный, чтоб я, поэт младой…» говорят публике об отношениях его к Ольге Сергеевне весьма немного.

Предлагаемые отрывки основаны преимущественно на хранящейся у меня переписке моего деда и бабки с Ольгой Сергеевной от 1829 по 1835 год включительно, на переписке между моими родителями за 1831, 1832, 1834, 1835, 1836, 1841 и 1854 годы, когда они некоторое время жили в разных городах, и, наконец, на письмах отца моего к своей матери, Луизе Матвеевне Павлищевой, за 1828, 1829, 1835 и 1836 годы.

Вследствие этого печатаемые мною теперь отрывки будут обнимать лишь события упомянутых годов.

К большому моему сожалению, только письма моего отца к своей матери писаны по-русски; переписка же Сергея Львовича и Надежды Осиповны, подобно переписке моих родителей между собою, происходила по-французски, следовательно, в переводе на русский язык письма эти неизбежно утратят многое в своей внешней стороне.

Дальнейшим подспорьем при составлении предлагаемых отрывков послужили рассказы моих родителей, знакомых Александра Сергеевича, подруг Ольги Сергеевны, а также происшествия, которых я был уже сам очевидцем.

Все эти рассказы я аккуратно вносил в мой дневник, который веду в течение тридцати двух лет сряду, день в день.

Итак, приступаю к изложению событий, начиная с 1828 года.

Глава XI

После свадьбы моего отца дядя Александр Сергеевич Пушкин бывал первое время почти ежедневно у моих родителей, поселившихся в уютной квартирке в доме Дмитриева в Казачьем переулке, и всячески старался устроить примирение между Николаем Ивановичем и его тещей, Надеждой Осиповной: но бабка и слушать не хотела сына, говоря, что виною свадьбы, состоявшейся без ее позволения, не дочь, а зять, причем однажды попотчевала Александра Сергеевича шумной сценой, в заключение которой объявила ему категорически, «чтобы он не смел ей больше и толковать о Николае Ивановиче».

С горестью сообщал Александр Сергеевич моему отцу о результатах своих попыток и раз пророчески сказал ему: «Вспомните мое слово: рано или поздно матушка сама раскается».

Посещая дочь, Надежда Осиповна всегда выбирала время, когда моего отца не было дома, и только в праздник Пасхи Николай Иванович был у Пушкиных по настоянию Александра Сергеевича. Кончились праздники – и все пошло по-старому.

Сергей Львович взглянул на дело иначе: правда, он побаивался женихих сцен и посещал Николая Ивановича тайком, но все же показывал ему свое расположение, хотя и выражавшееся сначала сентиментальными фразами, а не делом. На деле же Сергей Львович проявил это расположение попозже, в 1831 году, пристроив зятя, как мною уже было рассказано раньше, под начальство действительного тайного советника Энгеля, председателя Временного правления в Царстве Польском.

О своей тогдашней домашней обстановке отец мой пишет своей матери, Луизе Матвеевне, от 1 июня 1828 года следующее:

«По-прежнему служу я в Иностранной коллегии переводчиком с разных языков и получаю 1000 рублей жалованья. Вице-канцлер распорядился произвести меня в коллежские асессоры, а теперь откомандировал в Сенат переводить бумаги с польского, а в польском я понаторел еще в Тульчине, под командой добрейшего Витгенштейна: переводить бумаги надобно в следственной комиссии над поляками. Работу эту чиню под наблюдением обер-прокурора Кайсарова. Он малый славный. А вот что теперь скажу вам, любезнейшая матушка: теща, Надежда Осиповна Пушкина, не любит меня, и я даже с ней не вижусь. Шурин, Александр Сергеевич, правда, потащил меня к ней на Пасху, думал мировую устроить, но дело вышло дрянь. Похристосовались и шабаш, а об ином прочем ни гугу.

Александру Сергеевичу это не по нутру: оный со мной в

отношениях вполне хороших, но ничего с упрямой тещей не поделал. Тесть добрый малый, но у жены под пантуфлей. Ничего в нашу пользу не сделал, разумею насчет денег. Тесть скуп до крайности, вдобавок по хозяйству не сведущ.

У него в Нижегородской губернии 1000 душ, а крепостной его управляющий набивает себе карман и оставляет барина без гроша. От беззаботливости отца и плутовства управителя очевидно и мы терпим.

Жена прохворала почти с самой свадьбы; сильно огорчает ее теща своей враждебностью ко мне; а как на грех простудила ее зимой комедия визитов, которые мы сделали десятка с три в 20 градусов морозу. Старики уехали теперь в деревню, а шурин, Александр, еще здесь. Заглядывает к нам, но или сидит букою, или на жизнь жалуется; Петербург проклинает, хочет то за границу, то к брату на Кавказ. Больше почти никого и не видим.

С переменой жизни не знаю, останусь ли здесь. Все зависит от родителей жены, смотря по средствам, которые доставят они для нашего существования. Вся надежда теперь на шурина Александра Сергеевича: авось их уломает, что и обещался сделать; на днях едет к ним на неделю. Если же ничего не успеет сделать, то Бог поможет. Уверен я, что с моей женою буду везде и всегда счастлив».

Отец рассказывал мне, как он в первый год своей женитьбы и от материальных, и от нравственных забот сделался едва ли не достойным мученического венца, а Ольга Сергеевна, преданная ему всей душой, страдала от отношений к нему своей матери не менее, если не более, и впоследствии часто мне говаривала: «Ma lune de miel etait ma lune de fel, et mon annee de miel – mon annee de fel». (Мой медовый месяц был желчным месяцем, а мой медовый год – желчным годом.) Единственным ее утешением были минуты свиданий с Александром Сергеевичем. Пушкин тогда действительно хотел бросить Петербург и высказывал сестре свои мрачные мысли, вылившиеся и в написанной им тогда же у моих родителей элегии «Предчувствие», из которой привожу две первые строфы:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине!
Рок завистливой бедою
Угрожает снова мне…
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

В день же своего рожденья, 26 мая того же 1828 года, он, в написанном по этому случаю стихотворении «Дар напрасный», прямо скорбит, что живет на земле.

Прочитав моей матери эти последние стихи, дядя Александр сказал: «Хуже горькой полыни напрокутило мне житье на земле; нечего сказать, знаменит день рождения, который вчера отпразднован. Родился в мае и век буду маяться».

При этом Пушкин зарыдал.

Ольга Сергеевна тоже не могла удержаться от слез и впоследствии при всякой постигавшей ее невзгоде вспоминала стихи брата, но на этот раз возразила ему так, думая его утешить:

– Не будь бабой, Александр, перестань, полно плакать, а спрашивается, из-за чего? Из каких-нибудь пошлостей журнальной ракальи? Плюнь! Охота тебе te forger des idees noires (забирать себе в голову мрачные мысли (*фр.*))! Эти идеи – больше ничего, как расплясавшиеся нервы. Что же после этого я о себе должна сказать? Тебе, слава Богу, ничего недостает, а взгляни-ка на меня и на моего Николая Ивановича… Если же мир земной гадок, то плачь не плачь, все равно: людей не переделаешь. А на твои стихи [40] скажу тебе и всем известные другие:

Ничто не ново под луною,
Что было, есть, то будет век:
И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек!

Эти стихи вызвали, как известно, отповедь в стихах же митрополита московского Филарета.

– Твои стихи – очаровательная музыка, – продолжала утешать Ольга Сергеевна брата, – но верь, ничто с нами не случается без Божия Промысла, стало быть, и ты появился на свет не с бухты-барахту.

(Эту беседу с братом передавала мне мать моя.)

Ольга Сергеевна в то время (1828 г.), кроме посещений своего старшего брата Александра, находила утешение и в письмах младшего. Этот младший брат, «Наш приятель Пушкин Лев» [41] , был Вениамином, любимцем Сергея Львовича и Надежды Осиповны, но, не выдержав так же, как сестра его и брат, их деспотических нежностей, записался тайком от родителей в нижегородские драгуны и ускакал на Кавказ, где, как сказано мною в предшествующем отрывке, покрыл себя боевою славою.

Ольга Сергеевна души в нем не чаяла; отвечая ей тем же и уважая ее, он, однако, побаивался ее справедливых дружеских головомоек, за которые, впрочем, был ей всегда признателен.

Одну из подобных головомоек считаю не лишним привести, хотя и отступаю от хронологического порядка.

Утром достопамятного 14 декабря 1825 года дядя Лев исчезает из родительского дома, что называется по-французски: «sans tambour ni trompette» – недуманно, нежданно. Можно себе представить, какого страха натерпелся мнительный Сергей Львович, когда весть о вооруженном мятеже облетела город, а Льва Сергеевича – нет как нет. Меж тем является к деду в кабинет его камердинер, знаменитый Никита Тимофеевич, и является с растрепанными чувствами, докладывая, что на Сенатской площади солдаты, мол, передрались, убитых и изувеченных видимо, дескать, невидимо, а губернатор Милорадович уже на том свете. Сергей Львович остолбенел, а Никита, видя, что произвел эффект, напустил на себя пущую важность и занялся следующим причитыванием: «Красное солнышко, наш ты батюшка Сергей Львович! Душенька моя вся переворачивается, что барчука моего ненаглядного Левона Сергеевича нет. Где-то он пропадает, родименький? Уж не попутал ли его сердечного тоже нечистик?» (его выражение).

Сергей Львович от такого причитанья испугался еще больше и рассудил тут же попотчевать, во-первых, причитальщика здоровеннейшей тукманкой, во-вторых, побежать к жене и закричать: «Леон убит!» – и, наконец, в-третьих, очутиться без верхней одежды и шляпы на улице. Ольга Сергеевна бросилась за ним следом и насилу убедила его воротиться домой, а сама распорядилась заложить сани и поехала на поиски. Надежда Осиповна при всем своем хладнокровии смутилась, а дворня собралась в лакейскую внимать дальнейшим причитываньям оскорбленного Тимофеевича. Сумбур вышел полнейший; все, исключая моей матери, потеряли голову, а Сергея Львовича трясла лихорадка от страха и простуды.

В девять часов вечера является Лев Сергеевич здравый, невредимый и веселый.

– Где пропадал? что? как? – накинулась на него Ольга Сергеевна. – Рассказывай, что с тобой было!

Оказалось, что Лев Сергеевич, любопытства ради, простоял на углу Адмиралтейской площади и Вознесенского проспекта, наблюдая за ходом дела, и, дождавшись конца, завернул к одному из своих приятелей поделиться свежими впечатлениями.

– Ведь ты еле-еле не убил отца, мать до смерти перепугал, не говорю уже обо мне, – продолжала Ольга Сергеевна, – знаю, с сорванцами не якшаешься, а все же мог невзначай попасть и в толпу, и в беду из-за пустого любопытства; и тебя бы за мятежника сочли: в толпе не разберешь!

Тут Ольга Сергеевна принялась читать ему по-французски нравоучения более получаса. Взяла с Льва Сергеевича обещание никому более не заикаться, что он был недалеко от происходившего, и прибавила по-русски в заключение: «Слава Тебе Господи, что брат Сашка в деревне: чего доброго, не ограничился бы разеванием рта, как ты, а напроказил бы по-своему».

В своем месте я расскажу, каким образом судьба действительно вывезла дядю Александра, не допустив его сделаться свидетелем, а легко могло статься – и одним из действующих лиц четырнадцатого декабря, вместе с его друзьями Пущиным и Кюхельбекером, которые, как известно, оба попались.

Но возвращаюсь к последовательному изложению воспоминаний.

Весь 1828 год родители мои провели, не выезжая и на лето, в Петербурге. Уединившись от шумного света, они посвятили себя домашнему очагу и кое-как сводили концы с концами, не имея никакой поддержки от деда и бабки. – «En verite, – говаривал им Александр Сергеевич, – papa et maman vous forcent, mes chers amis, de tirer le diable par la queue, mais helas! je n'y puis rien faire»… (Поистине папаша и мамаша принуждают вас, милые друзья, тянуть черта за хвост, но я, увы! ничего против этого сделать не могу…)

Между тем Сергей Львович и Надежда Осиповна поехали на лето в Михайловское.

«Тесть и теща ускакали в отчину, – пишет отец своей матери, – и не знаю, возвратятся ли на зиму сюда, или ускачут подальше; последнее было бы для меня, милая маменька, приятнее, и в тысячу раз приятнее; теща нрава тяжелого да несносного; не раз представляет меня жене не тем, что я есмь, а тем, что я никогда не есмь; поссорить, впрочем, с Олей меня ей не доведется, а все же ее разговоры обо мне с дочерью моей особе не по нутру».

Наступил 1829 год, а с ним наступили для моей матери новые испытания физические и нравственные. К первым из них относится тяжкая ее болезнь, ко вторым – разлука с братом Александром Сергеевичем.

Перед этими испытаниями, однако, были и приятные для нее минуты.

Не посещая света, родители довольствовались тесным семейным кружком, которого я уже отчасти и коснулся в напечатанных раньше отрывках из моей «Хроники». Барон Дельвиг, с ним отец особенно сошелся, и поэт Мицкевич (когда изменял своему правилу: знать больше, а говорить меньше) были

весьма приятными собеседниками, а Михаил Иванович Глинка, тоже, подобно Дельвигу, сотрудник отца, но не по литературной, а уже по музыкальной части, устраивал у моих родителей артистические вечера. Дядя Александр, навещая свою сестру большею частию днем, появлялся по вечерам редко: всего в течение зимы 1829 года был раз пять – не более. Однажды пришел он вместе с Мицкевичем, когда обычные посетители были уже в сборе; гости – одни в ожидании музыкального сеанса, другие виста – расхаживали по комнате, и тут-то произошел известный обмен добродушных фраз между русским и польским поэтами – фраз, о которых так много трубили.

Пушкин и Мицкевич вошли вместе.

– Дорогу, господа, туз идет, – возвестил Мицкевич, указывая на Александра Сергеевича.

– Нет, вы проходите прежде! козырная двойка туза бьет, – сострил Пушкин.

Ольга Сергеевна, говоря как-то о Мицкевиче брату, стала подтрунивать над весьма плохим французским произношением последнего.

– C'est un excellent homme votre [42] Мицкевич, je n'en doute pas, et un homme de genie, par dessus le marche, j'en coviens aussi; mais comme il ecorche cette pauvre et malheureuse langue franchise!., au nom du ciel! (Прекрасный человек твой Мицкевич – не сомневаюсь в этом, да и гениальный человек в придачу, и это сознаю; но как он коверкает этот бедный и несчастный французский язык!.. Боже мой!)

– L'un n'empeche pas l'autre, – возразил дядя, – il n'a qu'a parler francos a la maniere des hottentots, mais nous nous comprenons parfaite-ment. Cela ne m'empeche, nullement d'etre amoureux fou de sa petite blu-ette «Boudryss». Savez vous, Olga, que c'est tout ce qu'il y a de plus gen-til? II me la traduite en francais d'un bout a l'autre; et j'en veux faire aussi quelque chose». (*Одно другому не мешает; пусть говорит себе по-французски на манер готтентотов, но мы отлично понимаем друг друга; это не мешает мне быть влюбленным до безумия в его искорку «Будрыс»* [43] . *Знаешь, Ольга, что это стихотворение как нельзя более мило? Он мне его перевел на французский язык с начала до конца, и я хочу тоже из «Будрыса» сделать кое-что.)*

(Разговор этот сообщен мне матерью.)

Надо заметить, что Ольга Сергеевна не выносила плохого французского произношения, а тем более ошибок в разговоре, причем всегда поправляла собеседников, говоря, что ошибки во французском языке ей режут ухо. Слабость к подобным поправкам одолевала ее до такой степени, что не покидала и в самые

горькие минуты жизни. Привожу тому пример.

Известие о неожиданной смерти Дельвига (в январе 1831 года) поразило Ольгу Сергеевну как громом. Печальным вестником оказался мой отец и, передавая ей роковое для нее и ее брата известие, сказал, между прочим: «Vous m'avez comprise, qu'apres tout ee qu'on m'a ra-conte, cette mort etait inevitable» [44] . – «Vous m'avez compris», – поправила его Ольга Сергеевна, среди истерических рыданий.

(Сообщено мне отцом.)

Возвращаюсь к рассказу.

Ольга Сергеевна стала замечать зимой 1829 года не только грустное, но и желчное настроение брата.

– Напрасно, Александр, – увещевала его она, – портишь свою кровь эпиграммами на всякую ракалью. Ставь себя, ради Бога, выше ее! Злишься по пустому и ничего со злости не ешь, а какому-нибудь Каченовскому или Кочерговскому – как ты его прозываешь, – твои эпиграммы как с гуся вода. Уписывает он, думаю, свой обед за обе щеки, и уписывает так, что за ушами пищит, и горя мало. А плюнь ему в глаза – скажет, небось, «Божия роса!». Дядя рассмеялся.

– Лаянье против тебя этих Кочерговских, – продолжала мать, – все равно, что тявканье собачонки на луну – лает собачонка, а луна свое дело делает.

– Хорошо, Ольга, все это тебе говорить, но шайка Кочерговских и полнолуние выведет из терпения, не то что меня, – возразил Александр Сергеевич, – а господа журналисты и любопытные [45] – от них мне нет ни отдыха, ни срока, – напрашиваются уже не на эпиграммы, а поистине на мою палку. [46]

Действительно, озлобленный врагами, Пушкин был не прочь задавать тогда потасовки и в буквальном значении слова.

Расскажу, в подтверждение этого, следующий случай, после которого дядя явился к Ольге Сергеевне на другой день и сообщил о нем сестре, заливаясь звонким своим смехом. Дело происходило так:

Сидит Александр Сергеевич в театре: драму или комедию представляли – мать забыла. Актриса, стяжавшая громкие знаки одобрения, пришлась дяде не по вкусу, и он стал шикать. Тогда восседавший перед ним в кресле какой-то поклонник лицедейки проворчал, не адресуясь, впрочем, непосредственно к Пушкину: «Экое невежество!» Александр Сергеевич не унимается.

– Перестаньте шикать, или извольте выходить вон! – относится поклонник уже прямо к Пушкину, оборачиваясь в его сторону.

Александр Сергеевич на это ничего не отвечает, дожидается антракта и затем дает заступнику пощечину.

Обиженный господин, придерживая ладонью потерпевшую часть, бежит стремглав из театра жаловаться людям власть имущим.

– Вы ударили вчера в театре вот этого господина? – спрашивает на другой день дядю петербургский обер-полицеймейстер Горголи, указывая на жалобщика.

– Ударил.

– А почему, позвольте вас спросить, г. Пушкин, вы нанесли ему удар не сейчас после того, как он с вами заговорил, а дождались, когда занавес опустят?

– Не хотел, чтобы мою плюху приняли за аплодисмент, ваше превосходительство, – отвечал Пушкин.

Выговором ли, денежным ли взысканием в пользу обиженного закончилось дело – мать мне не сказывала.

К тому же времени относится и забавная проделка известного Петербургу Элькана, получившего от дяди Александра за нее строгий выговор на улице. Записал я и этот анекдот со слов матери.

Элькан – по происхождению иерусалимский гражданин, но выдававший себя потомком татарского или арабского владыки – наверное не знаю – Эль-хана, во время обычной своей прогулки по Невскому проспекту остановлен был приехавшей из провинции какой-то любительницей отечественной литературы – так называемым синим чулком.

Принимая Элькана по некоторому сходству за Александра Сергеевича, синий чулок бросился к нему с следующим приветствием:

– Боже мой! как я рада наконец встретить вас, мусье Пушкин! Как давно стремлюсь познакомиться с вами, прочесть вам стихи мои, но никто не может меня вам представить, и вот сама представляюсь.

– Вы не ошиблись, – отвечает Элькан, – точно так, я Пушкин; завтра утром буду вас ждать у себя.

При этом Элькан сообщает синему чулку адрес Пушкина, указывая и на час приема – он и об этом по своему всеведению тоже знал, хотя с Пушкиным встречался только в клубе.

Дама, рассыпаясь в выражениях благодарности, просит, в припадке овладевшего ею литературного восторга, позволения тут же, на улице, облобызать руку творца «Евгения Онегина», на что мнимый Пушкин изъявляет свое разрешение.

Можно судить, до какой степени была поражена дама, когда пожаловала на другой день к настоящему Пушкину в гости!

Картина.

– Знаю, чьи эти штуки, – догадался Александр Сергеевич, – сильно Эльканом пахнет, но это ему даром не пройдет.

Чем кончилась дальнейшая беседа моего дяди с злополучной дамой, я не знаю, но Ольга Сергеевна говорила, что брат ее, встретив Элькана на Невском же проспекте, отпустил ему комплимент такого рода:

– Ecoutez, Ell – Khhan, – сказал он полушутя, напирая на якобы мусульманское произношение фамилии шутника, – si vous vous avisez dorenavant a jouer mon role, ce baton la (дядя указал на свою палку) jouera le sien sur vos epaules, en tout bien tout honneur. (Послушайте, Элль-Хан, если еще осмелитесь разыграть мою роль, то вот эта самая палка, по чести, разыграет на ваших плечах свою собственную.)

Элькан, сознаваясь в содеянном грехе, обозвал приставшую к нему даму шутихой, с которой иначе-де и поступить было нельзя, и при этом, кстати, рассказал Александру Сергеевичу о трогательном обряде целованья руки на улице.

Александр Сергеевич, захлебываясь от смеха, разумеется, преложил гнев на милость.

О забавной жалобе Фаддея Булгарина моей матери на Александра Сергеевича расскажу в своем месте.

Глава XII

До замужества моя мать пользовалась цветущим здоровьем. Но нравственная передряга, которую она перенесла от Сергея Львовича, в особенности же от Надежды Осиповны при этом событии, потрясла всю ее нервную систему, а весной 1829 года и мать моя подверглась сильнейшим страданиям печени, которые осложнились частыми головокружениями. Малейшей шорох казался ей шумом, а неожиданное падение на пол ножниц, ложек и тому подобных предметов вызывало в ней истерические рыдания и хохот.

И тут Надежда Осиповна ухитрилась отметить своего зятя козлищем отпущения в глазах всех знакомых.

Николай Иванович действительно сделал ошибку: не посоветовавшись предварительно с Александром Сергеевичем, – а кому же как не Александру Сергеевичу скорее всего можно было знать натуру сестры, – отец мой привел к ней весьма неопытного молодого доктора, некоего Иванова, который стал пользовать Ольгу Сергеевну самыми энергическими средствами, отчего ей и сделалось гораздо хуже.

Зайдя к сестре, дядя попросил Ольгу Сергеевну показать рецепты и ужаснулся.

– Да как же можно было довериться такому коновалу? – заметил он. – От его лекарств и ломовая лошадь (un gros cheval de carosse (большая лошадь для кареты (*фр* .)) – выразился Александр Сергеевич) с ног свалится. Сию же секунду лечу за Спасским и Шерингом!

Сказано – сделано: встревоженный Александр Сергеевич, выскочив на улицу, сел на первого попавшегося ваньку и, не застав Спасского, возвратился к сестре с домашним доктором Надежды Осиповны Шерингом.

Шеринг подтвердил, что лекарства Иванова никуда не годятся, что он хотя и постарается, но ручаться за выздоровление не может, и, намекнув о необходимости созвать консилиум, прочитал в конце концов, в присутствии больной, целый ученый трактат о постигшей ее болезни, беспрестанно повторяя, что излагает всю сущую правду.

Александру Сергеевичу надоело слушать эту правду. Он отозвал Шеринга в другую комнату и сказал ему:

– К черту вашу сущую правду: как же можно запугивать больную вашей сущей правдой? Не сущая правда, а сущая ложь для нее благодеяние и спасение. На тот свет и без лекарств вы ее отправите вашей сущей правдой. Можете угощать ею меня или

Николая Ивановича, а не ее.

Затем дядя накинулся и на вошедшего в комнату отца.

– Вы-то чего глядели? не нашли никого лучше Иванова? Можете сказать ему, что Пушкин посылает ему дурака. А вы, – обратился Александр Сергеевич к Шерингу, – если на себя не полагаетесь, то привезу вам в подмогу Спасского, а еще лучше Молчанова. Только не уходите и ждите меня.

И, не дав Шерингу секунды на возражение, дядя схватил шляпу и был таков.

Об этой сцене с малейшими подробностями я слышал от отца.

Не прошло и часа, как Александр Сергеевич возвратился с молодым доктором Молчановым. Шеринг еще не уходил.

– Вот вам, Шеринг, прекрасный помощник, а вы, добрейший Николай Иванович, простите меня, что укорил вас за Иванова. Ну, что же делать? Всякий может ошибаться; только смотрите, чтобы у вас Ивановым в квартире и не пахло, а когда придет сегодня вечером, как обещал, вытолкайте его взашей…

Молчанов при виде больной, которую знал так недавно в цветущем состоянии здоровья, не мог удержаться, как говорила мне моя мать, от слез, обзывая получившего отставку доктора Иванова и палачом, и мясником; он дал Ольге Сергеевне слово, что болезнь, захваченная вовремя, уступит рациональному лечению, и, сознаваясь в своем нервном характере, выразил радость, что будет пользовать пациентку не один, а вместе с невозмутимым немцем Шерингом.

О ходе болезни сестры своей Александр Сергеевич извещал деда и бабку ежедневно, а Надежда Осиповна не замедлила усмотреть в сделанном Николаем Ивановичем промахе его равнодушие к жене.

– Если бы мой зять, – причитывала она встречному-поперечному, – любил Ольгу, то не отдал бы ее в жертву коновалу.

Александр Сергеевич, заступаясь за Николая Ивановича, заметил ей неосновательность таких подозрений и сказал, что зять, сам будучи в отчаянии от своей ошибки, заболел с горя, но, несмотря на свою болезнь и бессонные ночи, не отходит от больной и любит ее больше, чем она, т. е. Надежда Осиповна.

Тут-то бабка вышла из себя окончательно и, сделав дяде одну из таких сцен, на которые была, нечего сказать, мастерица, запретила ему заикаться об отце моем, приказала заложить заповедную коляску и отправилась объезжать всех знакомых с излияниями расходившейся желчи.

Кстати о заповедной коляске: экипаж этот – к нему бабка

чувствовала особенное расположение – помнил эпоху нашествия на Россию полчищ Бонапарта и стяжал себе, по оригинальному своему виду, общее внимание уличных зевак. Предводился экипаж этот четырьмя клячами, тоже свидетельницами событий, более или менее отдаленных. На одной из кляч восседал, в качестве форейтора, двенадцатилетний поваренок Прошка, одетый в какой-то невероятный костюм. И колесница, и пегасы, с ободранным Беллерофоном in spe [47] , славились во всем околотке. «А вот и рыдван самой, значит, барыни Пушкиной ползет», – замечали друг другу, смеясь, лавочники и дворники Пантелеймонской улицы.

Настроение духа моего отца – он лишился в то время любимой своей старшей сестры – видно, как нельзя лучше, из его писем к бабке моей. Привожу одно из них:

«Бесценная маменька, – пишет он, – беспрерывная болезнь жены приводит меня в отчаянье. Доныне три доктора, несмотря на уверения брата Оли, Александра Сергеевича, не могли ей сделать ощутительной пользы, особенно нестерпимым ее головокружениям. Дошло дело до того, что Ольга воображает быть близкой к сумасшествию; в припадке мучений она хотела выпрыгнуть из окошка и занесла было уже ногу, но, к счастию, я подоспел. Боже, Боже, чем прогневил я Тебя?

Один ее брат Александр Сергеевич ее может успокаивать, а когда его нет – беда сущая. В довершение беды шурин говорил мне, что хочет весной ехать на Кавказ лечиться, а там пробраться туда, где турецкие пули свищут – в Анатолию к Паскевичу. На кой черт? Сестре об этом он ни гугу, да с меня взял слово ей не говорить до поры до времени: это ее убьет. Я же, любя жену до безумия, страдаю душой; одно только ее выздоровление может мне дать отраду и совершенное счастие. Должно же, наконец, Провидение сжалиться. Так, милая матушка! Хожу как шальной, оставил знакомых, друзей, и вы можете только моей горести приписать, что я забыл все на свете. Голова моя теперь так пуста, что ничего и обдумать не могу по вашему делу. Никого, как я уже сказал, никого, исключая шурина Александра Сергеевича, не вижу; правда, заходит в неделю раза два Михаил Глинка, да и то ненадолго: поговорить о «Лирическом альбоме», который издаем вместе с ним, а там за шапку. Но до музыки ли мне теперь? Глинка на меня сердится, что не могу с ним усердно работать. Да он должен же понять, наконец, что у меня от домашних печалей и без музыки в ушах звенит.

Оплачем, милая маменька, невозвратимую смерть милой моей сестры Александры, но да будет воля Божия! Страдания ее кончились, и чистая душа ее да насладится вечным блаженством.

Умоляю, милая матушка, храните здоровье ваше для оставшихся в живых детей ваших, которые только и думают о том, чтобы доставлять вам отраду. Олинька разделяет горе наше всей душой».

Письма этого отец мой не показал жене, но просил ее приписать свекрови несколько слов от себя. Привожу и выдержку из приписки матери или, лучше сказать, перевожу ее с французского:

«Бедный мой Николай, – пишет она, – видя меня больную и не отходя от меня ни днем, ни ночью, страдает не меньше, если не больше, чем я, так что не он меня, а я его должна утешать. Расхворался и он от бессонных ночей; более месяца глаз почти не смыкает, ухаживая за мной, но говорит, что все вынесет, лишь бы я поправилась. Считаю излишним уверить вас, что я от искреннего сердца желаю вам всего лучшего, а главное, цветущего здоровья. С тех пор как я его лишилась, знаю всю его цену; вот уже скоро год страдаю беспрерывно печенью и головокружениями. Доктора толкуют, что печенью страдаю давно. Это неправда, а головокружения, говорят они, будто бы запущенный ревматизм, который поймала, когда простудилась еще в том году. Но мало ли что доктора говорят? они же слепые, действующие ощупью (marchant a tatons). Болезнь моя ужасна для меня тем более, что, будучи всегда здоровой, я не имела и понятия о головокружениях. Все это приводит меня в отчаяние; хотела я съездить к вам с Николаем на все лето в Новомосковск, а теперь не смею надеяться на скорое свидание с вами; к тому же брат мой Александр, не спросясь меня, сделал мне сюрприз: он съездил в Ораниенбаум на днях и заранее нанял там для нас дачу на лето; подносит он ее мне в подарок и слышать не хочет, чтобы мы ему возвратили отданные хозяину деньги. Дача, говорит, прехорошенькая, на самом берегу моря. Брат уверен, что морской воздух и морские купанья будут мне гораздо полезнее докторских визитов. Ехать же в Ревель или в Гапсаль, знаю по опыту, обойдется слишком дорого».

Не суждено, однако, было Ольге Сергеевне принимать брата у себя на ораниенбаумской даче, – он уехал на Кавказ, куда стремился уже давно.

– Не могу просто и сказать тебе, Оля, – говорил он, подготовляя сестру исподволь к разлуке с ним, – как Петербург мне надоел своими сплетнями и гнилой весной! Воздуха, воздуха желаю! Весну ненавижу, особенно гнилую. Весной я и зол, и болен. Авось на юге как-нибудь с ней разделаюсь.

Передавая мне слова дяди, мать говорила, что в высказанной ей братом ненависти к весне никакой аффектации не было.

Подобно Надежде Осиповне, которая предсказывала себе кончину непременно в марте, что и случилось, Александр Сергеевич ненавидел весну, а начинал чувствовать себя в собственной тарелке лишь с наступлением октября, о чем и высказывается так:

Теперь моя пора [48] , но не люблю весны,
Скучна мне оттепель: вонь, грязь, весной я болен,
Кровь бродит, чувства, ум тоскою стеснены…

Далее Пушкин относится к осени так:

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно,
Как нелюбимое дитя в семье родной,
К себе меня влечет; сказать вам откровенно,
Из годовых времен я рад лишь ей одной.
В ней много доброго…
И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод,
К привычкам бытия вновь чувствую любовь;
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят, я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн…
Я забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем.
И пробуждается поэзия во мне!

Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет как во сне
Излиться, наконец, свободным проявленьем,
И тут идет ко мне незримый рой гостей —
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

В феврале того же 1829 года, чувствуя какую-то безотчетную грусть, Пушкин сказал сестре:

– Боже мой! Как мне нехорошо! Какая тоска! Кажется, совсем здоров, а нигде не нахожу себе места: кидаюсь и мечусь во все стороны, как угорелая кошка. Чувствую, – идет весна проклятая…

– Стало быть, Александр, – возразила, улыбаясь, Ольга Сергеевна, – ты кошка Василия Андреевича? [49]

Мечется кошка, невесело ей;
Чует она приближенье мышей.

– А хоть бы и так, – рассердился дядя, – тут ровно нет ничего смешного, Ольга. Уж эта мне весна, весна…

– Так ступай в гости к белым медведям, – рассмеялась Ольга Сергеевна.

– К медведям! не к медведям, а петербургская весна, просто, черт знает, что такое!..

(Разговор этот сообщен мне моей матерью.)

Кроме безотчетной тоски Александр Сергеевич подвергался в то же самое время и желчному настроению духа. Не скупился он тогда ни на едкие эпиграммы, а порой и на довольно дерзкие выходки, привожу одну из них:

Приходит он к больной сестре как-то вечером и застает у нее одну из ее знакомых, некую госпожу К. – родом француженку.

Надо заметить, что госпожа эта была очень недалекого ума, почему и подводилась Александром Сергеевичем под категорию дур петых до тошноты (bete a donner des nausees).

Александр Сергеевич пришел к моей матери недовольный и сердитый, а гостья, как будто нарочно, стала забрасывать его самыми праздными вопросами.

– A propos, monsieur Pouchkine, vous et votre soeur vous avez done du sang negre dans vos veines? (Кстати, г. Пушкин, у вас и у вашей сестры течет в жилах негритянская кровь?)

– Certainement (разумеется), – отвечает дядя.

– Est-ce votre ai'eul qui etait negre? (Ваш дед был негром?)

– Non, il ne 1'etait plus. (Нет, он им уже не был.)

– Alors, e'etait votre bisai'eul? (Значит негром был ваш прадед?) – не унимается допросчица.

– Oui, e'etait mon bisai'eul. (Да, мой прадед.)

– Ainsi il etait negre?! Oui, e'est cela… – соображает гостья, – mais, alors, qui etait done son pere a lui? (Ах, так это он был негром… точно так… но в таком случае кто же был его отец?)

– Un singe, madame (обезьяна, сударыня), – отрезывает ей Александр Сергеевич.

– Бог ты мой, Бог, какая петая дура! – обратился дядя к Ольге Сергеевне уже по-русски (благо любопытная по-русски не понимала), – с ней и ты и я совершенно поглупеем, а потому прощай, до свиданья.

Пушкин раскланялся и вышел.

Ольга Сергеевна всякий раз, как вспоминала об этом разговоре, не могла удерживаться от смеха, причем очень забавно передразнивала обоих собеседников.

Намерение Александра Сергеевича уехать не могло долго остаться для моей матери тайной. Разлученная с младшим братом Львом еще с 1826 года, огорчаемая отношениями к мужу Надежды Осиповны, страдая и физически, Ольга Сергеевна находила единственную отраду в свиданиях с дядей Александром. Каково же было ей лишиться и этой отрады, и к тому же, как она полагала, на довольно долгое время?

– Вот чего мне еще недоставало, – говорила она брату, – этот год (1829) и без того для меня клином стал, а тут еще и ты уезжаешь!

Брат стал ее утешать и, между прочим, сказал ей:

– Мне советовали ехать в будущий понедельник; но я раздумал и еду завтра; понедельник день несчастный, и ожидаю от понедельника всего дурного, точно так же, как и от встречи с попами и зайцами; говорю по опыту.

– Дни все равны, – возразила Ольга Сергеевна, – а твои встречи с попами и зайцами пустое суеверие.

– Нет, не пустое суеверие, и далеко не пустое, как себе там хочешь. Никто мне этого, как ты называешь, пустого суеверия из головы не выбьет; держусь латинского афоризма: post hoc, ergo propter hocp [50] , хотя этот афоризм расходится, по-видимому, с здравым смыслом. По опыту, по горькому опыту говорю тебе и теперь жалею, что продиктовал тебе заметку о несчастных днях.

Продиктованная Александром Сергеевичем матери моей, гораздо прежде этого разговора, заметка переписана была ею в альбом, который хранится у меня. У кого и каким образом дядя

списал ее, этого я не спрашивал. Считаю не лишним, тем не менее, привести ее дословно:

«Дней в году тридесят пять, опричь еще понедельников и пятниц, а также дней, в которых приходится в каком-либо году 25 марта. В оные дни не токмо не довлеет пути держать, но ничего важного задумывать, предпринимать, совершать. Человек, родившийся в один из таковых дней, не богат и не долголетен. А кто в один из этих дней занеможет, или переедет из двора во двор, или в службу вступит, ни в чем оном не найдет себе счастия. Оных дней в иануарии семь: 1, 2, 4, 6, 11, 12, 20; в февруарии три: И, 17, 18, в березозоле четыре: 1, 14, 24, 25; в травене три: 1, 17, 18; в мае три: 1, 6, 26: в июние один: 17; в июлие два: 17, 21; в серпене два: 20, 21; в септемврие два: 10, 18; в октобрии три: 2, 6, 8; в ноемврии два: 6, 8; в декемврии три: 6, 11, 18». Основываясь на этой таблице, Пушкин в числе несчастных дней – jours nefastes [51] – считал и день своего рождения 26 мая, и при всякой постигавшей его невзгоде говорил:

– Что же делать? так уж мне на роду написано: в несчастный день родился!

По возвращении же своем в 1831 году в Петербург из Москвы, вскоре после свадьбы, вместе с молодой женой, он сказал моей матери:

– Боюсь, Ольга, за себя, а на мою Наташу не могу иногда смотреть без слез; едва ли будем счастливы, и свадьба наша, чувствую, к добру не поведет! Сам виноват кругом и около: из головы мне вышло вон не венчаться 18 февраля, а вспомнил об этом поздно – в ту самую минуту, когда нас водили уже вокруг аналоя.

Кстати: мать мне рассказывала, что Александр Сергеевич в начале декабря 1825 года попробовал было выехать из деревни тайком в Петербург; въезд в столицу, как известно, был тогда ему еще запрещен, но дядя очень желал видеться со своими друзьями: Пущиным и Кюхельбекером, о которых он соскучился в деревне. Ничего не зная о замыслах декабристов, имевших последствием роковое для них 14-е число, Пушкин пустился в путь, но не успел отъехать и двух верст, как ему перебежал дорогу заяц, вследствие чего Александр Сергеевич велел ямщику повернуть оглобли и воротился домой.

Сообщая об этом случае сестре, он сказал Ольге Сергеевне:

– Благо мне, что обратил внимание на зайца. Иначе не на зайца бы наскочил сам, а на четырнадцатое декабря, а оно, кстати, как раз пришлось в понедельник – jour nefaste; верь, Ольга, непременно бы попался в историю, вместе с Пущиным и

Кюхельбекером, а к ним-то я, не зная ничего, и ехал. Смейся после этого над тем, что называешь суеверием!..

Многим покажется очень странным, что Пушкин, при своем умственном развитии, – Пушкин, который сомневался, особенно в описываемую эпоху его жизни, во многом таком, в чем и сомневаться бы не следовало, – придавал подобное значение и феральным дням, и встрече с попами и зайцами. Он также терпеть не мог подавать и принимать от знакомых руку, в особенности левую, через порог, не выносил ни числа тринадцати человек за столом, ни просыпанной невзначай на стол соли, ни подачи ему за столом ножа. Почешется у него правый глаз – ожидает он в течение суток неприятностей. Встретит ли, выйдя из дома, похороны – говорит: «слава Богу! будет удача». Если же, находясь в пути, увидит месяц от себя не с правой, а с левой стороны, – призадумается, и непременно прочтет про себя «Отче наш», да три раза истово перекрестится.

Ольга Сергеевна тоже была суеверна, но не в такой степени; он же тщательно относился ко всяким приметам, о которых упоминает, между прочим, и в следующих стихотворениях, под тем же названием:

1

Старайся наблюдать различные приметы.
Пастух и земледел в младенческие лета,
Взглянув на небеса, на западную тень,
Умеют уж предречь и ветр, и ясный день,
И майские дожди, младых полей отраду,
И мразов ранний хлад, опасный винограду.
Так, если лебеди, на лоне тихих вод,
Плескаясь вечером, окличут твой приход
Иль солнце яркое зайдет в печальны тучи,
Знай: завтра сонных дев разбудит дождь ревучий
Иль бьющий в окна град, а ранний селянин,

Готовясь уж косить высокий злак долин,
Услыша бури шум, не выйдет на работу
И погрузится вновь в ленивую дремоту.
2
Я ехал к вам: живые сны
За мной вились толпой игривой,
И месяц с правой стороны
Сопровождал мой бег ретивый.
Я ехал прочь: иные сны…
Душе влюбленной грустно было,
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло.
Мечтанью вечному в тиши
Так предаемся мы, поэты,
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души…

Эти последние стансы дядя посвятил Анне Алексеевне Олениной – родственнице Анны Петровны Керн. К Анне Алексеевне Пушкин был далеко не равнодушен:

Рисуй Олениной черты
В жару сердечных вдохновений!
Лишь юности и красоты
Поклонником быть должен гений.

Анна Алексеевна, так же как и ее родственница – Анна Петровна, была подругой Ольги Сергеевны, несмотря на разницу в летах. Кроме весьма приятной наружности, девица Оленина отличалась блестящим светским умом и подобно своей кузине Керн – золотым, что называется, сердцем. Она встретилась с моей матерью в Варшаве, в сороковых годах, когда муж ее Андро (имя и отчества его не помню) получил там место президента города, иначе сказать, городского головы. Говоря Ольге Сергеевне о покойном поэте, госпожа Андро заявила ей однажды полушутя, полусерьезно:

– Очень жаль, что покойный твой брат не на мне женился! сама бы за него или подставила грудь под пистолет Дантеса проклятого, или укокошила бы его как собаку.

Но опять я увлекся воспоминаниями, следуя ходу мыслей, в чем и прошу извинения.

Итак, в конце марта 1829 года состоялась разлука матери моей с братом-поэтом – разлука хотя и кратковременная, но очень для Ольги Сергеевны тяжелая.

Наметив первоначальною целию путешествия край, воспетый его последователем Лермонтовым, Пушкин останавливался в Москве и пробыл там довольно долго у своего приятеля Павла Воиновича Нащокина – товарища по воспитанию отца моего. Затем, не застав в Тифлисе брата Льва Сергеевича, дядя Александр выхлопотал разрешение местных властей участвовать добровольцем в походе против турок; в июне он очутился у покрытого снегом хребта Саган-Лу, древнего Тавра, а потом был, как всем известно, свидетелем поражения эрзерумского сераскира и взятия самого Эрзерума.

Паскевич, женатый на дальней его родственнице Е.А. Грибоедовой, знал Александра Сергеевича и сестру его с малолетства, а во время кампаний оценил по заслугам и боевые подвиги дяди Льва.

Паскевич принял Александра Сергеевича очень радушно, но впоследствии был на него в большой претензии за то, что Пушкин, описывая свое путешествие в Эрзерум, не распространился во всей подробности о действиях Ивана Федоровича против неприятеля, умолчав о многом по этому предмету. Паскевич высказал по этому случаю свою претензию Ольге Сергеевне в Варшаве.

Родителям своим, уехавшим на лето в Михайловское и Тригорское, Александр Сергеевич почти не писал. Беспокойство их как о нем, так и о Льве Сергеевиче, можно видеть из писем к моей матери в Ораниенбаум.

«Сознаюсь, Олинька, – пишет Сергей Львович (по-французски), – письма Александра и Льва мне необходимы. Отсутствие обоих для нас – штука прескверная. К тебе в Ораниенбаум могу приехать, и письма твои меня успокаивают, но Сашка и Лелька («S a c h k a e t Lo l к a» в подлиннике) из рук вон. Быть может, Лелька здоров – дай Боже, но воображаю его убитым, а еще хуже того искалеченным. По слухам, армия стоит недалеко от Эрзерума, значит и он там. Не думаю, чтобы Александр заехал так далеко; брат Василий пишет мне из Москвы, что оба они будто бы гостили на Кавказе у Раевского. О наших же победах вам лучше должно быть известно, чем у нас в захолустье; пока нет моих двух оригиналов, считаю себя обитателем мифической шестой части света. Дошедшие слухи о взятии Силистрии меня несколько приободрили: значит и мир не так далек, как мы опасались, но все-таки я успокоился не надолго; пока да что, много воды утечет, а о том, что на Кавказе делается, ровно ничего

не знаю. Правда, поговаривают, будто бы весьма недавно Нижегородские драгуны увенчались новыми лаврами; да согласись, милая Олинька, отцу и матери от этого отнюдь не легче.

Короче, я в беспрерывном беспокойстве: не доедаю, не досыпаю; Надя меня хладнокровнее, но и она стала тревожиться; а тут, представь себе, кроме немецкой газеты, получаемой через Опочку, других нет. Впрочем, все равно: если бы получалась даже газета жидовская, и ту научился бы разбирать, лишь бы узнать, где Нижегородские драгуны.

А каков Сашка? Дельвиг показывал мне его письмо из Тифлиса, но уже давно; Дельвигу пишет, а нам нет; ревную к нему Сашку, а он в письме к Дельвигу ни месяца, ни числа не проставил. Христос его знает, о чем он думал; вот теперь прошло больше месяца, с тех пор как Дельвиг письмо получил. Но да будет воля Неба (que la volonte du Ciel soit faite)».

«Известие о падении Эрзерума, – пишет в августе того же года Надежда Осиповна, – меня сначала, как патриотку, очень обрадовало, но не надолго; сражение под Эрзерумом уже не представляется мне в розовом, а в красном, кровавом цвете. Что мой Лев? Жив ли, здоров ли? Нет, нет писем, милая Оля, от твоих братьев; одна лишь надежда на милость Божию. Неужели сыновья не придут, не осушат моих слез?

Подобно пловцу по бурному морю, я между страхом ужасным и слабою «надеждой», имя которой ношу».

Глава XIII

Минувших дней очарованье,
Ужель опять воскресло ты?
Кто разбудил воспоминанье
И замолчавшие мечты?
Шепнул душе привет бывалый,
Душе блеснул знакомый взор;
И зримо ей в минуту стало
Незримое с давнишних пор…

Жуковский

Сергей Львович и Надежда Осиповна успокоились наконец, получив письмо от Александра Сергеевича из Тифлиса, куда он заезжал на обратном пути в Петербург.

«Слава Богу, – пишет бабка из Тригорского, – томления мои об Александре, милая моя и добрая Ольга, кончились; посылаю тебе копию письма, которое он переслал мне через Дадиана. Дадиан приехал курьером в Петербург с известием о новой победе и отправил письмо твоего брата сюда. В Зуево [52] Дадиан не завернул, а завернуть ему ничего не стоило, так как он не скоро поедет назад; расстояние от Петербурга к нам небольшое. Помнишь его матушку, нашу кузину, как она тебя маленькую любила, а когда вышла замуж и уехала в Грузию, с тех пор не писала. Бог с ней (Que le bon Dieu la conserve en sa Sainte garde)!

Пишет мне Розен о Леоне; Лелька жив и здоров (Lolka est sain et sa-uf et se porte comme le pont neuf), представлен в капитаны за храбрость, чему Сашка – говорит Розен – обрадовался не меньше Леона. Ведь Александр Лелькой очарован (Alexandre est entiche de Lolka). Розен, сообщая о моем младшем (mon cadet), не говорит ни слова о «Тифлисской газете», напечатавшей что-то об Александре [53] . А из письма Сашки увидишь, что взятием Эрзерума кампания далеко не оканчивается. Сердце сжимается, как подумаю о Лельке: рассказывают, будто бы его полк опять был в деле. Жду не дождусь моих бедных детей. Во всяком случае, Александра увижу раньше».

«Прибавляю к письму мама, – пишет Сергей Львович, – что Леон не только будет на днях капитаном, но, несмотря на теперешний свой маленький чин, получил уже два месяца тому назад, – что бы ты думала – Анну на шею за храбрость. Вот уж правду говорят русские: мал золотник, да дорог, а меня, родного отца, не нашел нужным порадовать. Экий шут! (En voila un

boufon!) Но и Александр отличается: тоже видел, как Эрзерум брали; вероятно, вдохновился и музой в придачу (de pair et compagnie). Воображаю его верхом при сабле, во фраке и боливаре на голове. Тоже оригинал порядочный (un franc original). О Саше я сильно беспокоился до получения письма, да и теперь беспокоюсь, потому что видел сегодня во сне, будто бы он женится; рассказал я мой сон Никите (камердинеру, автору баллады о «Соловье разбойнике», о котором уже упомянуто мною) – а этот старый хрен (ce vieux raifort): «Батюшка, ясное солнышко ты Сергей Львович! Сон ведь твой не к ладу!» Знаешь манеру нашего Никитки утешать!

Не можешь ли растолковать этот сон? Ведь ты у меня настоящая Сивилла! Сердце все изныло в разлуке с Александром, Леоном и тобою, мой ангел! Мы не греки и не римляне, как пишет где-то Карамзин – кажется, в «Илье Муромце», – и мне очень желательно быть уверенным в том, что мои дети действительно здоровы.

Впрочем, скоро увижу моего старшего, так как по газетам «Александр Пушкин проехал в Астрахань через Кавказ». А там, надеюсь, и мой младший (mon cadet) приедет в отпуск.

Кстати: вообрази, Ольга, стены гостеприимного Тригорского огласились песней Земфиры из «Цыган» Сашки: «Старый муж, грозный муж, режь меня, жги меня»!! Песню поют и у Осиповой, и у Креницыных, а музыку сочинил сам Вениамин Петрович [54] . Выходит очень хорошо. А еще скажу, что все очарованы всякими стихами Александра; все учат их наизусть, даже восьмилетний Темиров. Еще того лучше: рыжий цирульник, горький пьяница Прохор – его ты видела, – его же берет всегда на охоту Вениамин Петрович подымать подстреленную дичь, – вообрази себе, и тот, вынимая из ягдташа и показывая охотникам тетеревей, рябчиков, диких уток, куропаток и дроздов, – запел публике из «Братьев-разбойников»:

Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний…»
……

О той же популярности Александра Сергеевича Сергей Львович, в другом письме к моей матери, рассказывает: «… Ганнибалы приютили к себе в качестве судомойки 14-ти или 15-летнюю Глашку, дочь – извини за выражение (passe moi l’expression) – свинопаса Гаврюшки из Опочки. Кругла она как шарик, носит толстую красную рожу с плоским носом и калмыцкими глазами (elle porte une grosse trogne rouge avec un nez epate, et des yeux calmouks) и не совсем чистоплотна. Представь себе, Ольга: это сверхъестественное создание (cette creature

surnaturelle) выучила наизусть с начала до конца «Бахчисарайский фонтан», а вчера мы все хохотали до упаду: Вениамин Петрович вызвал ее из кухни нас потешать декламацией из «Евгения Онегина». Глашка встала в третью позицию и закричала во все горло (a gorge deployee):

Толпою нимф окружена
Стоит Истомина; она
Одной ногой касаясь пола,
(Глашка встает на цыпочки.)
Другою медленно кружит
(Глашка поворачивается.)
И вдруг прыжок и вдруг летит,
Летит, как пух из уст Эола…

(Глашка тут прыгает, кружится, делает на воздухе какое-то антраша и падает невзначай на пол. Расквасив себе нос, громко ревет и опрометью в кухню. Ей стыдно, все хохочут.) Вот тебе, Ольга, и нацарапал я картину, в расчете, что ты если не посмеешься, то на худой конец улыбнешься»…

Дед мой и бабка любили детей, но любили их «по-своему», эгоистически, лишь бы дети находились недалеко от них. Александр Сергеевич, никогда не принимая их нежные письма за чистую монету, отвечал на послания родителей очень редко и отнюдь с ними не откровенничал; отлучки же его, о которых предупреждать родителей не видел надобности, были всегда для Сергея Львовича и Надежды Осиповны сюрпризами, как, например, и внезапная его поездка в 1833 году в Оренбургский край с целию собирать материалы для истории Пугачевского бунта.

Ольга Сергеевна относилась не так философски, как ее брат, к письменным излияниям деда и бабки; эти деяния, исполненные, по-видимому, самых восторженных чувств родительской любви и к тому же построенные по всем правилам французской стилистики, трогали мать мою до слез.

Но на поверку, если бы чувства Надежды Осиповны действительно согласовались с ее изящным мелким французским почерком, то почему эта во всех отношениях оригинальная креолка, распинаясь в звонких фразах, ни разу вплоть до 1834 года не упоминает ни в одной строчке об отце моем, совершенно не заботясь обрадовать больную дочь, требовавшую утешения? А радость могла вылечить Ольгу Сергеевну гораздо вернее латинской кухни докторов. Кроме того, является по малой мере странным и малодушие в этом отношении моего деда: отец мой сказал довольно метко в письме к Луизе Матвеевне, что Сергей Львович обретается у своей жены «под пантуфлей»; и в самом

деле: Сергей Львович в своих письмах к дочери упоминает о зяте два или три раза, да и то вскользь. Вероятно, Надежда Осиповна наложила на своего супруга интердикт. Послания стариков к моей матери писались на листах весьма почтенного размера, и на этих листах после строк бабки начинаются непосредственно строки деда, и, наоборот; по всему видно, что жена запрещала мужу, точно так же как и Александру Сергеевичу, заикаться о зяте.

Привожу еще следующие выдержки из ее писем к моей матери:

«Вот мы и в Тригорском, – пишет бабка от 10 июля того же 1829 года, – и слава Богу: пробудем в деревне до сентября, пока ты, мой ангел Ольга, в Ораниенбауме.

Поездка наша не обошлась без неприятностей: папа (так бабка всегда называла своего мужа) расстался навеки, недалеко от Новоржева, со своей лорнеткой, без которой зги не видит, а где такую здесь купишь? Кроме того, папа, не знаю каким образом, растерял три ночных колпака, а в придачу (par dessus le marche) и свою подорожную, которую, клянется всеми большими своими богами (en jurant tous ses grands dieux), засунул будто бы в боковой карман. Да, впрочем, и я не лучше его: совершенно забыла напомнить Мариторне [55] Грушке положить в чемодан башмаки, которые подарил мне, уезжая на Кавказ, Александр, а Грушка, разиня (cette begueule de Грушка), тому и рада, лишь бы нам насолить. Я ее бранить, а она знать не знаю, – были у вас башмаки, сударыня, или не были. Какова! что с нее после этого возьмешь? Все-таки я очень рада подышать чистым воздухом и любоваться очаровательными видами Тригорского, где все тебя мне напоминает, всякая скамеечка, всякая беседочка, всякий кусточек! А давно, давно ли, Боже мой, мы были вместе? О тебе, Леоне и Александре не могу вспоминать без слез. Где-то они, мои милые дети? Сашку видел Дадиан в Тифлисе и говорит, что он очень худ и желт; не болен ли? а что с Лелькой – про то, Боже сохрани, – не сегодня завтра узнают пули турецкие. Боже, Боже мой! но никто как Бог! По крайней мере меня утешает мысль, что ты не дышишь вредным петербургским зловонным воздухом и надеешься купаться в море, хотя это море и не море, и не мать, а лужа [56] (quoique cette mer n'est ni mer, ni mere, mais une mare).

Береги себя, особенно во время купанья. Очень рада, что Шеринг к тебе в Ораниенбаум приезжает следить за леченьем. Видно, Александр нагнал на него страха. Да благословит тебя Бог, и не сомневайся в моем материнском, любящем тебя сердце. Твое здоровье – мое здоровье, твое счастье – мое счастье.

Завтра день твоих именин. Как мне горько, что не могу в этот

день прижать тебя к моему сердцу!»

«Новость, что Адрианополь занят Дибичем, – пишет Надежда Осиповна в сентябре того же года, – возвела бы меня, как истую русскую патриотку, на седьмое небо (m'aurait tran sportee au septieme ciel), если бы получила другую, еще более радостную новость о твоем выздоровлении. Мысль, что страждешь, не дает мне покоя, отравляет мне жизнь, а твои последние письма, ангел Ольга, огорчили меня как нельзя более. Сердце мое от них раздирается (j'en ai le coeur navre). Но зачем предаешься мрачным предчувствиям? Не прибавится от них здоровье, а убавится. Не отчаивайся, ради Бога, вооружись терпением и слушай Шеринга.

Александр наконец удостоил нас письмом; обнадеживает нас своим приездом; о тебе же говорит, что твоя болезнь, о которой он рассказывал какому-то армянину-доктору, совсем не происходит от расстройства печени, а от нервов; от них и головокружения. Сашка пишет, что если застанет тебя не поправившейся, то приведет еще одного доктора, его знакомого, который только нервами занимается; фамилии его не называет. А пока Александр советует тебе спокойствие; это самое главное».

Действительно, Ольга Сергеевна не чувствовала до октября улучшения; она воображала себе, что ее болезни и конца не будет, не видя никакого благополучного исхода ужасных головокружений.

– Хорошо моей матери, – сказала она Николаю Ивановичу по получении приведенного мной письма, – советовать мне бросить черные мысли! «Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу», – гласит пословица; спокойствие не продается, не покупается. Гораздо лучше вместо советов послать тебе хоть поклон. Я бы обрадовалась, и мне сделалось бы от этого не в пример легче…

Старики Пушкины пробыли в деревне до глубокой осени, вовсе не заботясь о благоустройстве имения: дед занялся усердно чтением, едва ли не в сотый раз, Мольера и Вольтера и сочинением эпитафии в честь кончившей тогда жизненный путь древней своей собаки Руслана, о чем скажу ниже; а бабка – свиданиями с соседями, сообщением и собиранием всевозможных новостей, бостоном, писанием вышеприведенных, якобы искренних посланий, – вот и все.

Правда, Сергей Львович упоминает в этом году о хозяйстве, но упоминает всего лишь один раз в письме к дочери, ограничиваясь рассказом, как управляющий тогда имением немец Дрейер исправил к приезду владельцев наружный вид господского дома, украсил сад, выстроил новый амбар да хлев, расчистил в саду дорожки, посадил цветы, привел в порядок

оранжерею да остриг деревья a l'anglaise [57] . От всех этих распоряжений старик Пушкин был в восторге; но Дрейер, заботившийся, по-видимому, о внешнем благообразии ганнибаловской вотчины, вскоре умер; место его занял, в качестве управляющего, некто Р. (фамилия его в переписке моего отца с дядей целиком не обозначена), а его помощником сделался крепостной человек Михайло (фамилии тоже отец не выставил), плут далеко не малой руки. Этот Михайло немедленно приступил к систематическому обманыванью и обиранью Сергея Львовича и прохозяйничал таким образом до лета 1830 года, когда отец мой, разоблачив его действия перед Александром Сергеевичем, сменил его; но Михайло успел уже составить себе довольно кругленький капиталец. Один из сыновей Михаилы, Гаврила, прозванный Сергеем Львовичем 1e beau Gabriel [58] , пошел по стопам своего достойного родителя: будучи безотлучным камердинером Сергея Львовича, очаровательный Габриель, в свою очередь, набил себе мошну и по кончине моего деда устроился как нельзя лучше: снял башмачный магазин.

Старики Пушкины, как сказал я выше, приехав на лето и осень 1829 года в Тригорское и Михайловское, занялись не благоустройством отчины, а тем, что им приходилось более на руку. Они смотрели на жизнь, по немецкому выражению, ins Blaue hinein [59] , не обращая никакого внимания на практическую ее сторону; челядь задалась целью обирать, обсчитывать, надувать господ, а господа, с своей стороны, порешили отлучаться по целым неделям искать развлечений в обществе гостеприимных соседей. С образом этой последней деятельности Пушкиных всего лучше можно познакомиться при чтении следующих писем Сергея Львовича и жены его к моей матери:

«Вот уже неделя, как ты не получала от нас известий, – пишет Надежда Осиповна, – и не удивляйся. Нас в Тригорском не было; не было и в Михайловском. Да что в Михайловском нам было делать? Скука невыносимая (on s'y ennuit a perir). Итак, мы решились объездить всех наших добрых знакомых. Начали с Рокотовых. Можешь себе представить, как этот добрый забавник Иван Матвеевич (ce bon plaisant Jean fls de Matthieu) нам обрадовался! Не знал от радости, куда нас посадить, чем угостить и что делать с своей особой, повторяя беспрестанно вечную свою поговорку: «Pardonnez ma franchise» (простите мою откровенность). В этом восторге продержали мы его четыре дня, а лучше сказать, он нас продержал. Нагрянули к Рокотовым и Шушерины, и Креницыны, и кузены мои Павел и Семен Исаковичи (Ганнибалы) [60] . Добродушный Jean fls de Matthieu устроил танцы, катанья на лодке, угощал нас до невозможного (il

nous a heberge jusqu'a l'impossible) и, наконец, сам навязался переслать тебе письмо, которое выхватил у меня из рук, а потому боюсь, что до тебя не дойдет. Знаешь его рассеянность: положит письмо в разорванный карман сюртука и обронит; он на это ведь мастер; недаром Александр до сих пор называет его le jeune ecervele [61] , а какой же он младенец [62] ? Саша не может простить многие случаи рассеянности этого вертопраха (de ce volage) и его болтливость.

Как бы ни было, с Рокотовым не соскучишься, а чтобы Jean fls de Matthieu совершенно осчастливить, я его посадила с собой в коляску, когда мы вместе с ним и со всей компанией отправились к Шушериным, опять на четыре дня по их приглашению. Рокотов постоянно твердил свое «excusez ma franchise» (извините мою откровенность (*фр* .)), расточая всевозможные похвалы Уваровой и Зыбиной, и так занял меня болтовней, что я и не почувствовала, как мы мчались во всю прыть (ventre a terre) по дороге очень плохой, рискуя очутиться во рву, к большому ужасу папа; он следовал за нами в коляске, а в прочих экипажах ехали остальные mesdames и messieurs. [63]

У Шушериных пробыли, – как я и думала, – четыре дня в весьма любезном обществе. Приехали и Е – на с дочерью и И – екая с замужней сестрой, а их дражайшие половины (leurs cheres moities) появились после них уже на другой день, вернувшись с охоты; в ожидании этих господ мы все утро и весь день проиграли в вист. Знаешь, люблю карты, но все же не так, чтобы сидеть за ними днем и играть, не вставая, восемь часов сряду. На этот раз вист мне совсем опротивел.

Г-жа Е – на крикушка, в роде кузины папаши Чичериной, захотела польстить моему материнскому самолюбию и продекламировала мне во все горло стихи Сашки: «Ты вянешь и молчишь, печаль тебя снедает» [64] да его испанскую «Ночной зефир струит эфир», которую наизусть знаю; мочи нет, как надоела [65] , по меткому выражению Александра.

Вся эта компания с утра до вечера кричит, шумит, пляшет и закусывает. Тут же вертится черномазый и чернобородый юный эскулап, т. е. доктор Б – д; хотя и жид, но очень любезен и весел, а потому видеть и иметь его (le voir et l'avoi) в провинции чрезвычайно приятно; израильское произношение очень к нему идет, а его жена, белокурая полька, тоже вздумала произносить нам нараспев стихи Мицкевича, несмотря на то, что из нас по-польски никто ни бельмеса (pas un brin). Впрочем, она меня и Александром, т. е. отрывком из его «Братьев разбойников», попотчевала и – тоже надоела».

Сергей Львович, описывая в следующем своем длинном

послании дальнейшие странствования по соседям, между прочим, рассказывает:

«От Шушериных мы с Рокотовым и с тою же компаниею двинулись (nous nous sommes embarques) к Креницыным на три дня, а потом съездили к Темировым. Рокотов сделался задумчив и, о чудо! всего только пятнадцать раз в течение суток проговорил: «Excusez ma franchise!» Недоумеваю, что бы это предвещало: не света ли преставление? Впрочем, «мама» другого мнения, думая, что Jean fls de Matthieu разрешает свою трудную задачу (est en train de resoudre son probleme difcile), как подчинить излюбленному его гомеопатическому лечению борзых и шавок (ses levriers et ses roquets).

Вообрази, вся наша компания назвалась к нам на завтра, в воскресенье, в числе двенадцати человек. Вот без ошибки нашествие двунадесяти язык, но право не знаю, как расквартировать эту, хотя и не наполеонскую, но все же «великую» армию. Нечего делать: переберемся на ночлег в полуразвалившуюся баню, а дом отдадим в распоряжение милых наших друзей. Сам же я предупреждал этих messieurs и mesdames или mesdames и messieurs, все равно, что они очутятся в положении сельдей в бочонке; слушать не хотят. Впрочем, да будет воля Неба! (Au reste que la volonte du ciel soit faite!)».

«Погода у нас переменилась, – пишет на другой день бабка, – дождь льет, как из ведра, и право не знаю, приедут ли наши, а все для них приготовлено. Пишу второпях и скажу, что вчера страшно перепугалась: около дома появилось десять штук волков; они напали на Прохора и Андрюшку; к счастию, Прохор – у него было ружье – отправил на тот свет двух из этих господ (deux de ces messieurs); остальные бросились к убитым, чем воспользовались наши удальцы и дали тягу. Вчера же взбесилась и собака, но и ту Федьке удалось застрелить».

Здесь будет, кстати сказать, несколько слов и о четвероногом дедушкине любимце Руслане. Эту собаку подарил когда-то Сергею Львовичу Александр Сергеевич, давший псу первоначальную кличку не «Руслан», а «Руслё», в честь, как он выразился, «окаянной памяти» своего тирана, француза-гувернера (см. первую часть этой хроники). Сергей же Львович и Надежда Осиповна, продолжая питать почему-то совершенно непонятную нежность к давно уже исчезнувшему с пушкинского горизонта самодуру, рассудили превратить собаку «Руслё» в одного из героев поэм дяди. Когда Руслан околел от дряхлости и непомерно изобильного корма, Сергей Львович следующим оригинальным письмом сообщил моей матери об этом событии:

«Как изобразить тебе, моя бесценная Ольга, постигшее меня

горе? Лишился я друга, и друга такого, какого едва ли найду! Бедный, бедный мой Руслан! Не ходит более по земле, которая, как говорится по-латыни, да будет над ним легка! Да, незаменимый мой Руслан! Хотя и был он лишь безответным четвероногим, но в моих глазах стоял гораздо выше многих и многих двуногих. (Quoi qu'il n'etait rien de plus qu'un quad-rupede, mais a mes yeux il etait bien au dessus de beaucoup de bipedes): мой Руслан не воровал, не разбойничал, не сплетничал, взяток не брал, интриг по службе не устраивал, сплетен и ссор не заводил. Умер от долговременной болезни, а последнее время все спал. Я его похоронил в саду, под большой березой; там пусть лежит себе спокойно. Хочу этому верному другу воздвигнуть мавзолей, но боюсь: сейчас мои бессмысленные мужланы – вот кто настоящие животные – запишут меня в язычники (Tout de suite mes imbeciles de manants – voila les vrais animaux – m'inscriront sur la liste des pai'ens). Чтобы меня утешить, Вениамин Петрович, правда, подарил мне другую собачку, совершенный портрет Руслана: ходит на задних лапах, поноску носит, посягает на целость моих панталон, особенно же носовых платков, но все же не Руслан, тысячу раз не Руслан. С горя сочинил я эпитафию по-французски и по-русски. Вот французская:

Ci-git Rouslan, mou campagnon fdele,
Des vrais amis il fut le vrai modele,
Il m'aima pour moi seul, jamais n'exigea rien,
Passe sans t'etonner: Rouslan n'etait qu'un chien!
(Здесь покоится Руслан, мой верный товарищ,
Он был истинным образцом истинного друга,
Он любил меня ради меня самого,
никогда ничего не требовал.
Прими же это, не удивляясь:
Руслан был всего лишь собакой!)

А вот и русская:

Лежит здесь мой Руслан, мой друг, мой верный пес!
Был честности для всех разительным примером,

Жил только для меня, со смертью же унес
Все чувства добрые: он не был лицемером,
Ни вором, пьяницей, развратным тож гулякой;
И что ж мудреного? был только он собакой!»

Тоска деда по Руслане доходила в самом деле до смешного. Надежда Осиповна жалуется вслед за тем дочери, что Сергей Львович проплакал о смерти Руслана две недели, не стеснялся плакать и при гостях, лишился сна, аппетита. «Так только, Бог меня прости и сохрани вас Он на многая лета, детей оплакивают», – писала бабка.

Привожу последние письма стариков за 1829 год об отсутствующих сыновьях:

«Слава Богу, – сообщает Сергей Львович в начале октября (числа не выставлено), – могу тебе сказать, что оба твои брата здоровы. Хотя до меня дошли сведения и запоздалые, но все же я покойнее. От Леона получил разом два письма.

После взятия Эрзерума Лелька опять был в весьма горячем деле (Lolka s'est trouve de nouveau dans une afaire bien chaude) и, представь себе, когда писал мне первое письмо?! Ни более ни менее, как накануне боя, на барабане, в ту минуту, когда забывать о письмах отнюдь не предосудительно! Зато для нашего успокоения отправил нам второе письмо сейчас же после сражения. Описывает весь ход боя и просит вынуть часть за его бабку Марью Алексеевну; тебе, вероятно, Леон сказывал, что перед определением на службу он видел тень grand'maman [66] . Тень его благословила, а потому и думает, что всякое сражение обходится для него благополучно. Говорит, что был в жестоком огне и потеря в людях очень и очень значительна; разумеется, турки кончили тем, что возложили упование на свои ноги (ils ont fle la venelle).

Похвалить должен и Александра: он также нам пишет; пересылаю его письмо в копии, тоже очень запоздалое. В переписке он и с Плетневым, которому говорит, что очарован путешествием, рассказывая своему другу все прелести лагерного быта. Письмо Сашки Плетнев тоже нам переслал; я хотел присоединить его к тебе, т. е. копию, но не знаю, куда засунул подлинник, который должен возвратить Петру Александровичу. Сашка разъезжал в мусульманском крае на казацкой лошади с нагайкой в руке, а, что еще того лучше, обещается Плетневу и

нам очень скоро быть в северной столице. Que la volonte du ciel soit faite!» [67]

Надежда Осиповна, со своей стороны, на том же листе прибавляет:

«Я в восторге от приезда Александра. Порасскажет и обо Льве, а кто знает, не приедут ли вместе? Очень бы, однако, хотела еще раз ему написать. Но куда? «Tat is the question!» [68] Александр, как говорит Прасковья Александровна Осипова, исчезает именно тогда, когда всего меньше ожидаешь. Надеюсь, на этот раз исчез, чтобы с нами соединиться.

Свидание с вами, дорогие мои дети, исцелило бы все наши скорби. Война разлучила нас с твоими братьями, а твоя болезнь – с тобой, мой ангел! Да соединит же нас прочный мир и не менее прочное твое здоровье.

Барон Дельвиг – можешь за меня его обнять – пишет твоему папа, что посетил тебя в Ораниенбауме; собирается в Москву нарочно встретить Леона и Александра; желаю и я туда же вместе с ним отправиться, чем выигралось бы время (cela serait autant de temps de gagne). Надо ловить в нашей гадкой жизни столь редкие, отрадные мгновенья. Прижать к сердцу Сашку и Лельку составляет теперь всю мою мечту. О тебе уже и не говорю: ты мой первенец (tu es ma premiere nee). Боже! как мучительна разлука с вами!»

Впрочем, выраженное Надеждой Осиповной желание встретить сыновей в Москве так и осталось фразой, пущенной ради придачи письму риторического оборота. Из писем, хранящихся у меня, не видно, приехал ли в конце 1829 года Лев Сергеевич. Брат же его Александр Сергеевич прибыл в Петербург в первой половине ноября, не заезжая в Михайловское.

Глава XIV

Только незадолго перед возвращением Александра Сергеевича в Петербург, мои родители возвратились из Ораниенбаума в город, на прежнюю квартиру, так как осень 1829 года выдалась теплая и сухая, а свежий воздух оказался для моей матери гораздо полезнее всяких микстур и докторских посещений: головокружения случались реже – это было главное; с их уменьшением появился и сон, укрепивший нервную систему больной. В городе она могла уже посещать своих родителей и знакомых.

Отец был очень ободрен таким ходом исцеления, а потому и мог уже посвящать себя всецело служебной деятельности и литературным занятиям, которые становились для него сущею потребностью. Продолжая службу в бывшей Иностранной коллегии по экспедиции переводов и будучи откомандирован вице-канцлером Нессельроде в учрежденную при Сенате следственную комиссию над поляками, скомпрометированными в 1825 году, отец весьма удачно выполнил возложенное на него поручение, за что и был награжден окладом годового жалованья. Похвальные же отзывы тогдашних повременных изданий, в особенности же отзывы «Северной пчелы» о его прекрасном переводе на русский язык романов Фондер-Фельда (биографический очерк которого он поместил затем в «Литературной газете» барона Дельвига), поощрили его к дальнейшим литературным занятиям.

При свидании моей матери с братом Александром Сергеевичем она нашла, что он очень осунулся, пожелтел и постарел так, что на вид ему казалось не 30 лет, а гораздо больше.

– Александр! – удивилась она. – Что с тобою? На тебе лица нет. Видно, климат Кавказа и Турции для тебя хуже всякого Петербурга; напрасно ездил поправляться. А я надеялась, что пополнеешь, помолодеешь. А может быть, военные походы тебе повредили? Здоров ли ты, скажи мне!..

– Напрасно тревожишься, – отвечал дядя, – военные походы мне полезны; чувствую себя как нельзя лучше; многое видел, многое испытал, и описание принесу тебе завтра. Сколько я почерпнул истинной поэзии, сколько испытал разных впечатлений! Очаровательный край! А на мою худобу и кажущуюся старость не гляди: просто похудел от усталости. Выезжая из Тифлиса, я с грустью говорил: «прощай, волшебный край», а как очутился опять в вашем или нашем чухонском

болоте, выругался, разумеется: «петербургской грязи и вони мое нижайшее, черт возьми, почтенье»!

Дядя нашел сестру очень поправившейся и приписал это улучшение своей мысли нанять для нее дачу в Ораниенбауме.

На другой день после первой встречи Александр Сергеевич сдержал данное сестре слово. Он зашел к ней и принес толстую рукопись.

– Вот мои путевые впечатления и рассказы обо всем, что со мной было; прочти их. Зайду за ними после, а теперь читать их и рассиживаться некогда. Прощай!

Оставленная Пушкиным у сестры рукопись была не что иное, как тот «Дневник», начатый в Георгиевске, который дядя впоследствии привел в порядок и напечатал уже гораздо позднее в «Современнике», именно в 1836 году, дав ему заглавие: «Путешествие в Арзерум во время похода 1829 года».

Ольга Сергеевна, пораженная изнуренным видом брата, вызвала его при следующем затем свидании на откровенность.

Привожу их довольно интересную беседу, о которой слышал от нее неоднократно. Мать очень любила повторять ее, и я уже давно записал эту беседу с малейшими подробностями.

Дядя сознался, что, будучи здоров физически, страдает морально; по его словам, тоска стала одолевать его с той минуты, как он выехал из Тифлиса в обратный путь.

– Приехав в Петербург, – говорил он, – я очутился как будто в карцере, с которым несколько раз был знаком в лицее. Меня что-то давит, душит, когда засиживаюсь долго на одном месте. Ездить хочу, менять места пребывания хочу. Недаром на днях я сочинил:

Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих долин,
На большой мне, знать, дороге
Умереть Господь судил.

– А знаешь что, Ольга, – прибавил дядя, – чем черт не шутит? Скажу тебе по секрету, видишь что: изъездил я Бессарабию, и Крым, и Кавказ, был и в Турции. Съездить за границу в Европу всегда успею, а теперь хочу – только не пугайся – проведать тот странный край, где не только душистый померанец, да и чай душистый зреет. Kennst du das Land? [69] как воспевает, кажется, Гёте. Такой, Ольга, край, что просто мое почтенье; страна чудес! Узнаю совершенно иной мир, посмотрю на совсем других людей; не увижу там ни Красовских, ни Хвостовых, ни как его… Каченовского, – заключил Пушкин шутя, – то-то погуляю!

– Уж не к богдыхану ли в гости? – всплеснула руками Ольга Сергеевна.

– Bien touche [70] , – рассмеялся дядя.

– Да ты не бредишь ли?

– Ничуть. Чего в Европе не видал, а в чухонском болоте мне киснуть нечего. Только смотри, не проболтайся папаше; расплачется, не утерпит, чтобы не пересказать матери, а та протрезвонит всяким Архаровым, Карамзиным, да Ноденам, и пошла гулять новость по всем околоткам; тогда и моя idee lumineuse [71] фью!

Дядя присвистнул.

– Да говори же, Александр, толком. Шутишь или говоришь серьезно?

– Разумеется, очень серьезно, и дело просто: в Пекине учреждается русская миссия. Там и отец Иакинф Бичурин [72] . Я его встречал здесь перед отъездом туда: стало быть, буду иметь и знакомого. Пристроиться же мне к миссии легко: попрошусь у кого следует, и дело в шляпе.

– Полно дурачиться, Александр; пустые бредни и больше ничего!

– Сама увидишь, что не пустые бредни.

Прежде чем продолжать изложение не лишенного интереса разговора между матерью и дядей, упомяну, что Пушкин действительно в начале 1830 года обратился к Нессельроде с ходатайством записать его в число чиновников, отправлявшихся в Китай, но просьба его запоздала: желающих оказалось гораздо больше, чем дядя предполагал, а потому его мечта увидеть жителей Срединной империи так и осталась мечтою. Просьбу возвратили назад, положив резолюцию: «С удовольствием определил бы, но комплект лиц, уже назначенных, полный». Возвращаюсь к прерванному разговору.

– Как себе хочешь, Ольга, – продолжал Пушкин, – здесь, в Петербурге, мне не житье, а прозябание (ici je n'existe pas, mais je vegete). Тоска, понимаешь, тоска меня ест.

– Слушай, Александр! Сознаться в причине тоски ты сам не желаешь, а причину-то я вижу насквозь.

– Но…

– Без всяких «но». Просто-напросто, тебе тридцать лет стукнуло. Человек для одиночества не создан. «II n'est pas bon que l'homme reste seul» – это и в Писании сказано: не довлеет человеку единому быти. Скажу без обиняков: жениться пора, вот что!

– Жениться? Боже сохрани и избави! Могу ли я, в состоянии ли я осчастливить женщину? Нет, нет и нет – ни материально, ни нравственно. Если за меня бы и вышли, то, спрашивается, по каким причинам? По расчету? На это скажу, что карман мой очень невелик. Из-за моей литературной известности, ну,

положим даже, литературной славы? И на это опять-таки скажу, что русские барышни и вдовушки ставят не только стихи, но и прозу ни в грош, а требуют состояния или, по крайней мере, такой служебной карьеры, которая приносила бы прочные, вещественные выгоды, а не суп из незабудок. Наконец, статься может, из-за моей наружности? (Тут дядя, как говорила мне мать, засмеялся неприятным, принужденным смехом – il s'est mis a rire, mais d'un rire desagreable et force.) Но стоит мне подойти к зеркалу, – прибавил он по-русски, – сам увижу, чего стою, – извини за глупую остроту, да прочитай мое послание в честь Александры Алексеевны [73] . Не Бог знает сколько верст от орангутанга уехал. Наконец, положим, найдется несчастная и выйдет за меня. (Enfn mettons: il se trouvera une malheureuse, qui m'epousera.) Но что же я, я-то ей принесу? А вот что: сердце состарившееся не по летам, сердце как нельзя более увядшее (un coeur suranne, un coeur on ne peut plus fane), испытавшее много, слишком много… Чувствую, Ольга, я перевалил в полном смысле за полдень жизни, а кстати, помнишь мои стихи «Телега жизни»?

– И как же решиться на подобный шаг, или, лучше, на подобный скачок? Тут уже не ямщику, а сам себе закричу «полегче, дуралей», если не захочу разбить себе голову, или, как говорят татары: се-ким или ке-сим башка, поговорку, которую я недавно слышал.

– Ты все преувеличиваешь, Александр, и хандришь, а увидишь, женишься раньше, нежели думаешь [74] , и как еще можешь быть счастлив!! Вспомни этот разговор и запиши мое предсказание; ты знаешь, что папа недаром прозвал меня Сивиллой. А хочешь, скажу тебе еще: не можешь до сих пор, несмотря на то, что восхищаешься многими, – а все эти восхищения не истинная любовь, а именно восхищения, капризы (des caprices), – не можешь, говорю, забыть твою бедную Ризнич и будешь по ней, слова нет, тосковать, пока опять не влюбишься так же, как и в нее. Вот и все.

Ольга Сергеевна, как говорят французы, a touche le vrai point [75] . Дядя опешил.

– Твоя правда, – подтвердил он после краткого молчания. – Никогда, мне кажется, я не в состоянии забыть мою поэтическую любовь к этой прелестной одесской итальянке… Бедная Ризнич! Никого так я не ревновал, как ее, когда в моем присутствии, что мне было хуже ножа, она кокетничала с другим [76] , а раз если никого так сильно не ревновал, то и никого так сильно не любил. Любовь, по-моему, измеряется ревностью. А ревновал я ее, быть может, и неосновательно. Никого, никого так искренно до сих пор не любил…

– Все это, Александр, прекрасно и хорошо (tout cela est bel et bon). Но твоя Ризнич уехала в чужие края, а потом умерла. Следовательно, любовь твоя – любовь к привидению, любовь к мечте, и утратила свой «raison d'etre» («смысл существования» (*фр* .)), это, во-первых; а во-вторых, сам же ты сию секунду открыл мне слабую сторону твоего аргумента: говоришь «до сих пор никого так не любил», значит, можно вывести из таких слов (on peut tirer consequence de ces paroles), что не отчаиваешься найти другую, которую полюбишь столько же, если не больше. Вот, милый друг мой, до чего ты, наконец, договорился!..

Александр Сергеевич, чувствуя, что и тут потерял под собою почву, опять опешил, и, как все люди нервные, у которых зачастую не хватает пороху на немедленное возражение, особенно когда их задевают, что называется, за живое, в первую минуту растерялся и сказал, опять помолчав немного:

– Что там ни говори, сестра, без глубокой печали не могу вспоминать о бедной Ризнич… [77]

– Слушай, Александр. Прежде нежели делать визит китайскому богдыхану или индийскому набобу, – все равно, – положи-ка горесть и печаль в карман (mets les dans la poche). Что прошло, то пропало! Будь господином твоих порывов (sois maitre de tes elans), не придавайся ни печали ни гневу. Если будешь поддаваться скорби и гневу, познакомишься и со спутницей этих страстей – нуждой. La colere enfante la misere (скорбь рождает нужду). Вспомни молитву, которую слышим в церкви: «О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды». Верь, никто из твоих хваленых друзей, в сущности, большею частию твоих бывших партнеров на зеленом поле и бывших собутыльников (tes ci-devant compagnons de jeu et de bouteille), не любят тебя так, как я, а потому не сердись и верь моим добрым советам (ne te fache pas, et fe-toi aux bons conseils, que je te donne).

– Ты, Ольга, метишь в проповедницы или, на худой конец (au pis alter), в последовательницы покойной Madame Campan (госпожи Кампан) [78] . Моей тоской никому зла не делаю, а господином моего гнева, – рад бы в рай, да грехи не пускают, – быть больше не могу. Меня окончательно выводят из терпенья добрые люди, которые именно в настоящем христианском правиле «любить ближнего как самого с е б я» не смыслят ни бельмеса (pas un brin). Не дают эти так называемые «добрые люди», а по-моему, шайка зоилов и завистников, прохода твоему брату, которого ты увещеваешь. Но я сам спуску не дам, и опять повторяю: или попотчую их под горячий час плюхами, или посчитаю им ребра моей палкой!

Дядя при этом возвысил голос.

– Посмотри-ка лучше, что я вчера написал на этих животных (a 1'adresse de ces animaux), – прибавил дядя и, вынув из кармана лист бумаги, прочел: [79]

О муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный клич!
Не нужно мне гремящей лиры,
Вручи мне Ювеналов бич!
Не подражателям холодным,
Не переводчикам голодным
И не поэтам мирных дам
Готовлю язву эпиграмм.
Мир вам, смиренные поэты,
Мир вам, несчастные глупцы!
А вы, ребята-подлецы,
Вперед! всю вашу сволочь буду
Я мучить казнию стыда!
А если же кого забуду —
Прошу напомнить, господа!
О сколько лиц бесстыдно-бледных,
О сколько лбов широко-медных
Готовы от меня принять
Неизгладимую печать!

Выслушав эту желчную выходку, Ольга Сергеевна сказала:

– Не сердись, если замечу тебе, что эти воинственные стихи пахнут именно солдатом за версту (cela sent son soldat d'une lieu). Что за выражения: «ребята-подлецы, вперед!» Умилосердись! Ни дать, ни взять, когда на гарнизонном ученье фельдфебель с нафабренными усами, причесанный «виски вперед», кричит во все горло: «Спасибо, ребята-молодцы!», и тут же: «Правая, левая, левая, правая, подлецы!» Наконец, твое выражение сволочь! Mais quelle est, au nom du ciel, cette expression (Но, во имя Неба, что это за выражение (*фр* .))? В разговоре «ребята-подлецы», «сволочь», «дрянь» еще проедут, но в печати ругательства непозволительны. Просто по-английски выходит «шокинг». И подобные выражения употребляет автор «Кавказского пленника»! Ну, посуди сам, как же это можно?

– Ты неисправима, Ольга: проповедница a la madame Campan, но стихи, воля твоя, напечатаю.

– Печатай, батюшка! «не мой конь, не мой воз», – рассердилась в свою очередь и сказала по-русски Ольга Сергеевна, – но этим сам себя скомпрометируешь и докажешь, что придаешь, как сам ты же говоришь, «с в о л о ч и» значение,

которого «с в о л о ч ь» или «ребята-подлецы» совсем не заслуживают. Исправишь ли их? – Нисколько. Сволочь сволочью и останется. Приведу тебе и поговорку:

Хоть ты ведро воды на эфиопа лей,
Не станет он белей,
А может выйти и еще хуже.
Так тебе насолят, что жизни рад не будешь…

– Опять-таки, madame Campan, чистая madame Campan! Mais je ne suis pas buche de bois, et je saurai decharger ma celere par ecrit et par voie de fait sur cette legion de la plus lache canaille de l'univers, puissent tous les diables l'emporter! Et je le repete: je claquemurerai la bouche a ces inso-lents! (*Но я не бревно, и сумею выместить мой гнев и письменно, и действием на этом легионе подлейшей канальи вселенной, чтобы ее все черти взяли! Повторяю: замажу глотку нахалам!*)

При таком нервном возбуждении брата Ольга Сергеевна сочла нужным уступить.

– Ну, полно, – сказала она ему своим симпатичным, звучным голосом, – умерь твои африканские страсти (modere tes passions africaines). Не забудь: тебе не девятнадцать, а целых тридцать лет. Успокойся, мой бедный Александр!

Она подошла к нему, поцеловала крепко в лоб и погладила его курчавую голову – обычная ласка моей покойной, незабвенной матери.

Дядя, в припадке волновавших его самых разнообразных душевных волнений, был как нельзя более тронут и этими немногими словами, и этой безыскусственной, так много сказавшей озлобленной душе его лаской, и… заплакал, осыпая руку сестры нежными поцелуями. Потом улыбнулся и сказал:

– Eh bien, n'en parlons plus. Que le diable emporte toute cette racaille! (Довольно, не будем говорить больше. Черт побери, всю эту ракалью!) Поговорим лучше о твоем здоровье.

Переменив разговор, дядя, между прочим, сказал моей матери:

– Хотел привести тебе еще одного доктора – специалиста по нервам, но слишком много поваров кушанье портят (trop de cuisiniers gatent la cuisine). Держись Молчанова; уважаю его за то, что лекарствами не пичкает!..

Рассказав затем кое-что о домашних обстоятельствах и о продаже своих сочинений, дядя, несколько успокоенный, простился, говоря, что очень был рад отвести у сестры душу и

излить перед ней все, что накипело в этой злополучной душе.

Несколько времени спустя после описанной мною замечательной беседы дядя встретил Ольгу Сергеевну у своих родителей (отца моего там, на прежнем основании, не было) и говорил ей:

– Ты нашла, милая моя Ольга, неудобными мои выражения «ребята-подлецы» да «сволочь». Но эти выражения просеются сквозь цензурное решето, не сомневаюсь; в них, по-моему, ничего нет неприличного. Между тем подлость моих зоилов-завистников дошла уже до того, что они стали приписывать моей девственной музе, – как я узнал от Дельвига на днях, – именно всякие неприличия; нашлись между «подлецами-ребятами» – извини, это выражение тебе не нравится, а мне нравится – такие, которые себе позволили злоупотреблять моим именем и навязывать мне, что мне и в голову не приходило. Мнимые мои сочиненьица (mes elucubration postiches) ходят в рукописях по городу, а что всего хуже – с моей подписью. Мерзавцы! (Leg co-quins!) Хотят меня уронить перед людьми достойными всякого почтенья (estimables sous tous les rapports), да и рассовывают, где только могут, сочиненные не мною, а ими же пошлости. Конечно, ни Дельвиг, ни Плетнев гнусным клеветам на мою музу не поверят; они очень хорошо знают, что я ее не оскверню стихами, которые и каналье Баркову не по плечу. Я же не Барков, а подавно не маркиз де Сад [80] . (lis savent parfaite-ment bien, que je ne salirai pas cette muse par des vers, qui ne sont pas meme de la taille de cette canaille de Барков. Quand a moi, je ne suis pas un Барков, et a plus forte raison un marquis de Sade.) Ну как же после этого не приколотить «ребят-подлецов» палкой, ну как же не надавать им плюх?

Кстати замечу, что Пушкин считал не только произведения Баркова, но даже и фамилию сего скальда явлением совершенно неприличным, что и выразил в эпиграмме, которую написал по случаю просьбы однофамильца знаменитого порнографа. Этот однофамилец писал водевильные пьесы и просил Анну Петровну Керн ходатайствовать у Пушкина перевести его стихи по-русски. Вот эпиграмма:

Не смею вам стихи Баркова
Благопристойно перевесть,
И даже имени такова
Не смею громко произнесть.

Сообщение моего дяди было сущей правдой: в Петербурге, во время его отлучки, стали ходить ни на чем не основанные слухи, будто бы он автор появившихся тогда многих совсем неудобных поэм, называемых теперь порнографическими. В описываемое

мною время, именно в 1829 году, лира Баркова и его последователей пользовалась весьма радушным гостеприимством среди недорослей, прожигавших жизнь, и среди дряхлых шалунов. Стихи Баркова распевались преимущественно под пьяную руку на холостых вечеринках, причем любители воображали, что это произведения Пушкина, и восхваляли их.

Александру Сергеевичу, знавшему об этих вакханалиях, было до крайности неприятно.

– Mon nom est profane par toute cette drogue (мое имя оскверняется всей этой дрянью), – говаривал он и сестре и моему отцу, – вот до чего дошли козни моих приятелей!

Считаю долгом повторить: все занесенные в мою «Семейную хронику» факты и разговоры основаны на рассказах и письмах моего отца и матери – Николая Ивановича и Ольги Сергеевны Павлищевых, – на рассказах лиц, стоявших очень близко к моим обоим дядям – Александру и Льву Пушкиным, и, наконец, на имеющихся у меня письмах деда и бабки – Сергея Львовича и Надежды Осиповны. От себя я здесь ничего не прибавляю; долголетние же мои воспоминания, которые я вовсе не думал до настоящего времени предавать гласности, даже и в извлечениях, я вел для себя же, следовательно относился к фактам вполне беспристрастно, а не pro domo sua («за свой дом» (*лат* .).

Сделав эту оговорку, замечу, что Пушкин – опять-таки говорю со слов моих родителей – написал только две поэмы и всего не более десятка мелких стихотворений легкого содержания – капли в море его бесчисленных произведений. Долг беспристрастного хроникера налагает на меня обязанность, упомянув и о них, вывести многих из заблуждения.

Первую поэму, лишенную, по словам его же, Александра Сергеевича, здравого смысла – «Гавриилиаду», он сочинил, будучи еще очень молодым. Вспоминая об этой, как он выражался, «непростительной глупости», Пушкин всегда раскаивался, что не уничтожил ее, а дал переписать одному из своих товарищей, кому именно, не помню; этот же товарищ и пустил ее гулять по белому свету.

Вторую поэму, «Царь Никита», дядя считал тоже величайшей глупостью.

Наконец, к числу собственно его немногих мелких стихотворений в легком роде относится пародия на песню Беранже: «Ten souviens tu, disait un capitaine au veteran, qui mendiait son pain» (Ты помнишь ли, ах ваше благородье! Мусью француз (такой-то) капитан?). Эту шутку, написанную, впрочем, не столько в «порнографическом», сколько в «ругательном» вкусе, дядя набросал 19 октября 1828 года на лицейском празднике и

остался очень ею доволен: часто произносил ее в кругу друзей, заливаясь громким смехом. Вот и вся его «порнография», от которой Пушкин и не отказывался.

Все же прочие подобные стихотворения, приписываемые, к сожалению, весьма многими Пушкину, – стихотворения, нашедшие себе место в заграничных изданиях якобы его сочинений, состряпаны другими, между прочим, и известная «Первая ночь». Напраслина по этому поводу, взведенная на дядю, нашла себе такую веру в тогдашнем, а также и в позднейшем обществе, что даже и некоторые литераторы, усматривая в распространенной рукописи пушкинский слог, излюбленный размер, игривую манеру, никак не уступали моим возражениям, что Александр Сергеевич тут ни при чем; между тем, мои возражения основаны на разговоре Пушкина с моим отцом во время их последней встречи весною 1836 года в Петербурге, куда этот последний приезжал, вытребованный из Варшавы умиравшей его тещей, Надеждой Осиповной.

Привожу этот разговор, сообщенный мне отцом.

– Моя фамилия, – заявил дядя, – кажется и у вас, в Варшаве, сделалась притчей во языцех. «Monsieur Pouchkine у вас par ci, monsieur Pouchkine par la» (« *господин Пушкин у вас тут, господин Пушкин там*» (*фр* .)).

– Не только в Варшаве, но, кажется, и во всей Европе Пушкин par ci, Пушкин par la, – возразил отец.

– Не в том, собственно, дело, – отвечал дядя, – а в том, что до меня дошли слухи, будто бы в варшавском обществе военных и гражданских русских чиновников ходит по рукам рукопись моего мнимого сочинения «Первая ночь». Когда вернетесь в Варшаву, попросите моего милейшего «кунака», Давида Осиповича (так называл дядя князя Бебутова, с которым сошелся на Кавказе), – а у него ведь целый день собирается посмеяться за обедом офицерство – оповестить всем и каждому, что воспевать «Первую ночь» *никогда я и не думал;* чистосердечие мое знаете, и верьте, что если бы я эти стихи написал, то и не утаивал бы.

Я не стану уверять, что Пушкин был святым человеком, но что он не был особенным поклонником Киприды и Бахуса, в этом я совершенно верю моей матери, перед которой Александр Сергеевич нисколько не скрывал своих шалостей. Кто же лучше ее мог знать Александра Сергеевича? По ее словам, дядя, будучи и холостым, проводил свое время почти всегда следующим образом в Петербурге.

Вставал во всякое время года – летом и зимой безразлично – очень рано, часов в шесть, самое большее в семь часов утра; после утренней прогулки и утреннего чая работал без остановки до

часу. Затем следовал легкий завтрак с небольшой рюмкой хереса или мадеры, вторичная прогулка, ради моциона, и по возвращении – поправки написанного утром. После этой второй, по его словам, особенно трудной работы, следовал в 5 или 6 часов обед у знакомых или в клубе с полубутылкой бордо, редко с бокалом шампанского «Аи». Вечером, не особенно часто, театр и преимущественно дружеские беседы с Ольгою Сергеевной или с П.А. Плетневым, князем П.А. Вяземским, бароном А.А. Дельвигом, порою же с В.А. Жуковским и Е.А. Баратынским. Связующим звеном между Пушкиным и этими друзьями, расположение которых поэт ценил, была не карточная игра с солнечного заката до утренних петухов, не кутежи и вакханалии, а любовь ко всему изящному, ко всему прекрасному, поэтические вдохновения, выражавшиеся в истинном, а не в ложном служении живому русскому слову, и, наконец, те чувства добрые, которые Пушкин пробуждал своей лирой. [81]

После всего здесь сказанного инсинуации против Пушкина, как частного человека, должны бы, как кажется, навсегда умолкнуть. Прискорбно, что инсинуации эти были пущены в обращение даже такими почтенными и заслуженными людьми, как граф М.А. Корф, который, руководясь исключительно чувством личной неприязни к Пушкину, своему бывшему лицейскому товарищу, постарался изобразить его самыми черными красками в записке, напечатанной в брошюре князя П.А. Вяземского «А.С. Пушкин в 1816—1825 годах, по документам Остафьевского архива». Пристрастное, несправедливое отношение Корфа к моему дяде достаточно разоблачено князем П.А. Вяземским и Я.К. Гротом, а потому считаю излишним распространяться об этом предмете.

Высказанная дядей Ольге Сергеевне досада, что на него взваливают произведения, достойные Баркова, перепугала мать не на шутку. Не имея о Баркове и его музе ни малейшего, само собою разумеется, понятия, Ольга Сергеевна вообразила, что Барков какой-то политический вольнодумец, которого упекли за стихи туда, куда Макар телят не гонял, и что если стихи в революционном духе Баркова приписали Александру Сергеевичу, то и дяде готовится подобная же участь. Успокаивая, по своему обыкновению, дядю, Ольга Сергеевна не спросила у него, что такое собственно Барков, а сообщила о своем беспокойстве приехавшему к ней другу брата, Сергею Александровичу Соболевскому. Привожу и эту беседу со слов матери.

– На Александра опять сплетни и поклепы, – встретила она Соболевского. – Гнусные поклепы. Может кончиться ссылкой!

Гость в свою очередь перепугался.

– Что случилось?

– Разве вам он не говорил?

– Ровно ничего не говорил.

– Так я вам скажу; вероятно, от вас скрывает. Нашлись подлецы, которые распустили сплетню, будто Александр Сергеевич сочинил стихи во вкусе Баркова… Баркова… Вы знаете этого господина? Никогда о нем не слыхала, в глаза не видала… не декабрист ли?

Соболевский фыркнул со смеху.

– Что вы о Баркове не слыхали – это понятно, потому что фамилии его в порядочном обществе не произносят; что в глаза его не видали – тоже простая штука: он умер, когда вас еще и на свете не было, а если и были, то не могли его и помнить; наконец, в-третьих… декабрист… ой, не могу…

Сергей Александрович еще сильнее расхохотался.

Смех, как известно, заразителен. Мать тоже рассмеялась.

– Да что же он такое писал? Почему, как говорите, даже и в обществе его не вспоминают, да и говорить о нем запретили?

– Все будете знать, скоро состареетесь, а теперь успокойтесь. Барков никогда не думал ни о каких революциях, а сочинял стихи, оскорбляющие приличие, понимаете, писал скабрёзности, и писал так усердно, что самая фамилия его сделалась неприличной.

– Только-то? ну и слава Богу! – успокоилась собеседница, сознавая, впрочем, что тревога и гнев Александра Сергеевича совершенно основательны.

– Разумеется, основательны, – подтвердил Соболевский, – если на автора «Евгения Онегина» возводят такие клеветы. Знаю, что Александру приписали и мои стихи на Вигеля:

В Петербурге ль, в Пензе ль, в Риге ль,
Все твердят твои друзья:
Друг Филипп Филиппыч Вигель,
Жалкая судьба твоя…

Но и то вашему брату как нельзя более было не по сердцу, хотя в моей сатире нет ничего неприличного. Он опасался, что стихи дойдут до Вигеля, который к нему от души расположен; Александр тоже очень любит Вигеля.

Затем Соболевский сообщил Ольге Сергеевне, как, узнав об этом последнем обстоятельстве и считая неблагородным прятаться за ширмы, он, Соболевский, первый стал говорить всем и каждому, что не Пушкин, а он воспел желчного Филиппа Филипповича.

Сказав это, неподражаемый комик поцеловал, ради смеха, свою собственную руку с обеих сторон и заключил беседу следующей тирадой:

– Это я, милейший я, бесценный я, виноват, а нисколько не Александр, и неудивительно, что Александр рассердился за сатиру на Вигеля. Шалить вашему брату рифмами, как шалит милейший я, не приходится. Он Пушкин, он должен высоко держать свое знамя, а я, как меня обозвали mylord qu'importe, пишу, что в голову взбредет. Если станут вашему брату приписывать стихи вроде стихов Баркова, он сочтет это для себя стыдом и срамом, а припишут мне – с гуся вода. О чем тут мне плакать? что же мне от этого, в самом деле? Ей-Богу, ровно ничего. Барков так Барков, Соболевский так Соболевский!.. Экая важность!

Закончив это поучение, Сергей Александрович встал, возгласил, обращаясь сам к себе, «а теперь ступай-ка домой, милейший я», вторично поцеловал себе руку с обеих сторон, отвесил Ольге Сергеевне низкий поклон и вышел.

О Сергее Александровиче Соболевском, искреннем друге обоих моих дядей и Ольги Сергеевны, а затем и о дальнейших событиях конца 1829 года и начала 1830-го буду говорить в следующих главах воспоминаний. Теперь же ограничусь тем, что Сергей Александрович, после приведенной беседы, тотчас поехал к Пушкину, чтобы рассказать ему, как Ольга Сергеевна причислила к декабристам русского Рабле.

Александр Сергеевич, которого Соболевский всегда умел своим неподдельным юмором выводить из меланхолии, приветствовал, как на то Сергей Александрович и рассчитывал, искренним смехом забавный рассказ своего друга.

Глава XV

Зачем душа в тот край стремится,
Где были дни, каких уж нет?
Пустынный край не населится,
Не узрит он минувших лет!
Там есть один жилец безгласный,
Свидетель милой старины;
Там, вместе с ним, все дни прекрасны
В единый гроб положены…

Жуковский

Переходы от порывов благодетельного веселья к припадкам подавляющей грусти происходили у моего дяди-поэта внезапно, как бы без промежутка, что обусловливалось – по словам его сестры – нервною раздражительностью в высшей степени, – раздражительностью, которая не была чужда и моей матери.

Привожу следующий ее рассказ о покойном брате:

«Александр мог разражаться и гомерическим смехом, и горькими слезами, когда ему вздумается, по ходу своего воображения (Alexandre pouvait eclater d'un rire homerique, ou bien fondre en larmes, selon la tour-nure de son imagination), стоило только ему углубиться в посещавшие его мысли. Не раз он то смеялся, то плакал, когда олицетворял их в стихах. Малейшие забавные выходки Соболевского, брата его Льва или Алексея Вульфа – а эти господа, конечно, не рождали меланхолию (ces messieurs la assurement n'engendraient pas la melancolie) – заставляли его иногда хохотать до упаду, и наоборот: трогательный какой-либо рассказ Жуковского, Баратынского, Дельвига, Плетнева, воспоминание горестных для Пушкина утрат, страдания ему близких, вид обиженных природой людей, наконец, причиняемые безжалостными лакеями побои домашним животным (за что Александр Сергеевич знакомил не раз мучителей с силою своей руки) – вызывали в брате если не рыдания, то обильные слезы. Сам он тогда был «весь страдание» (alors mon frere etait la sou Hrance тёте).

Восприимчивость нервов Александра, – продолжала Ольга Сергеевна, – проявлялась у него на каждом шагу, а когда его волновала желчь – в особенности весною (surtout ie printemps,

quand sa bile etait en mouvement), – брат мой, не будучи, впрочем, так безрассудно вспыльчив, как Сергей Львович, и отнюдь не так злопамятен, как Надежда Осиповна, поддавался легко порывам гнева.

В эти-то мрачные минуты и являлся к нему Соболевский на выручку – прогонять тоску и гнев. Но Соболевский не всегда же был при нем, а Лев Сергеевич и Вульф подавно; я же (говорила мать), будучи лишена, вследствие горьких испытаний, прежнего моего веселого нрава, утешала Александра как-нибудь, но не могла удачно избавлять его от печального или желчного настроения, и тем более не могла, что мало чем сама уступала брату в нервной восприимчивости.

Скажу более, – прибавила моя мать, – нервы Александра ходили всегда, как на каких-то шарнирах, и если бы пуля Дантеса не прервала нити его бедной, страдальческой жизни, то он немногим бы пережил сорокалетний возраст. Нервный удар – и конец».

Веселая беседа Соболевского с Пушкиным, о которой я вспомнил в конце предшествующей главы хроники по поводу недоразумения о Баркове и которая, – забыл сказать, – имела место на рождественских праздниках 1829 года, рассеяла лишь на несколько минут Александра Сергеевича. Ушел Соболевский – веселости у дяди след простыл, и, как всегда бывало в скорбные минуты, поэт явился к сестре отвести душу; пришел он с рукописью под мышкой. Рукопись состояла из отделанных им недавно строф «Евгения Онегина», вошедших впоследствии в 8-ю главу этого романа. Первую из строф «В те дни, когда в садах лицея» дядя пометил 24 декабря 1829 года, следовательно, незадолго до разговора с Соболевским.

– Слушай, сестра, – сказал Александр Сергеевич, – что тебе прочту, и сама увидишь, могу ли я быть счастлив, как ты меня на днях старалась уверить… Слушай же и не перебивай. Вот кто, по-моему, счастлив:

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался;
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;

Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов;
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек!

Моя мать, – надо заметить, – считала совершенно ненужным напускать на себя поэтические восторги при чтении братом его стихов и льстить ему одобрительными восклицаниями или хлопаньем в ладоши, как делал Лев Сергеевич, хотя она гораздо глубже дяди Льва понимала и ценила талант брата.

Выслушав Александра Сергеевича хладнокровно, она заметила:

– Рассказал ты прекрасно, но передаешь истину не новую, а развиваешь короткую и почти всегда верную поговорку:

Кто в двадцать не умен,
Кто в тридцать не женат,
Кто в сорок не богат, —
Тому и быть так.

Но тут ум ты заменил в франтовство, женитьбу, правда, оставил на месте, а к сорока прибавил, – кроме десятка, – славу и чины; тот же, который освободился, как ты говоришь, от частных и других долгов, сам по себе уже богат.

Дядя нахмурился, проговорил обычное: «Как есть мадам Кампан», – и повторил:

– Слушай же, не перебивай. Прочел тебе о счастливчиках, а вот прочитаю о себе:

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрою чредой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней

Ни общих мнений, ни страстей!

– Ну, что на это скажешь, мадам Кампан? Метко, так ли? Да говори же!

– Да что тебе на это скажу, Александр? Если себя подводишь под этих господ…

– Именно подвожу, – перебил Пушкин, – и тысячу раз подвожу; оплакиваю, что не того я от моей молодости ждал, и что все выходит у меня наоборот. Положим, – объяснял дядя, – в двадцать лет я был умен, но, Боже мой! натворил столько глупостей, что и фонвизинскому Митрофанушке в пору. Теперь мне тридцать; по пословице должен быть женат, но скажи мне, ради Христа, похож ли я на жениха, особенно если вспомнишь, что тебе говорил? неужели не видишь, что смотрю в бобыли?

– А хочешь пари: если вот этот наступающий год проведешь холостым, то уж никак не следующий, и – скажу тебе напрямик: твоими последними словами, точно так же как и намедни в разговоре о Ризнич, хочешь просто меня обманывать. Ты уже задумал, и задумал давно кое-что, а может быть, даже есть и на примете кое-кто!

Предчувствие и тут не обмануло мать: не прошло и четырех месяцев после разговора, как дядя Александр, в марте 1830 года, уехал в Москву, в апреле сделал предложение Наталье Николаевне Гончаровой, с которой, впрочем, познакомился еще в 1828 году, – без особенно серьезных, однако, намерений [82] , – а 18 февраля 1831 года венчался.

Подробности об этом событии изложу после.

Александр Сергеевич не возражал своей сестре, но стал жаловаться на бесцельно проведенную жизнь и сказал:

– Я не жилец на этом свете, а как бы мне хотелось еще пожить и быть полезным, если не отцу и матери, то, по крайней мере, кому-либо другому, ну, хоть России, например [83] , но скверные, скверные предчувствия меня давят, да – признаться – все мне не то что опротивело, а очень надоело. Говори мне что угодно, не разуверишь. Лучше прочти вслух, что тебе покажу. Написал на днях. [84]

И Ольга Сергеевна прочла:

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,

—

Я предаюсь моим мечтам.
Кружусь ли я в толпе мятежной.

Вкушаю ль сладостный покой,
Но мысль о смерти неизбежной
Везде близка, всегда со мной.
Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды,
—
И чей-нибудь уж близок час.
Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.
Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю —
Мне время тлеть, тебе цвести.
День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж них стараясь угадать.
И где мне смерть пошлет судьбина:
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

– Опять-таки за старое, Александр, – сказала мать, тоже, однако, растроганная при чтении этих стихов. – Ну, полно в тридцать-то лет предаваться хандре! Дурь, брат, на себя напускаешь! Ты не кончаешь, а начинаешь жить; поверь, брось твою байроновщину, перемелется, мука будет. Ведь знаю, не пишешь стихи так хладнокровно, как Николай Иванович отчет для Доврэ или итальянский словарь. [85]

– Твой Николай Иванович, – перебил Пушкин, – дальше пыли архивной ничего не видит, и я завидую его философии, но не

желал бы все-таки быть на его месте. Быть может, он гораздо меня счастливее; смотрит на жизнь более хладнокровно, потому что копается в мелочах. Как перестанет заниматься мелочами да взглянет на жизнь пошире, то и философию свою иначе построит: захандрит, как я.

– А пока и благо ему, – возразила Ольга Сергеевна. – Пишет себе без волнений, а у тебя что ни стих, то кровавыми слезами выплакан; эдак себя уходишь; да ты болен, любезный друг! (mais tu es malade, cher ami!) тебя лечить надо.

– Кавказ летом не вылечил, никто не вылечит, – заходил по комнате взволнованный Александр Сергеевич. – Уж не прикажешь ли за коновалом Ивановым послать? Что же? Пошлю за ним; еще скорее на тот свет отправит. Хорошо, что я тебя-то избавил от его когтей (A 1a bonne heure! Je t'ai debarasse de ses grifes). С радостью, впрочем, умру. Боже, какая тоска!

– Перестань говорить глупости, Александр! (Treve de betises, Alexandre!)

– А тут еще, – продолжал дядя свое, как бы не обращая внимания на восклицание Ольги Сергеевны, – меня злят поминутно. Именно, мне ни отдыху, ни сроку (Oui, je n'ai ni repit, ni repos). Не говорю уже – извини за выражение, – о подлеце-каналье-критике моей «Полтавы» (Je ne parle plus, veuillez me passer l'expression, de cette lache canaille de cet eplucheur de mots, qui a ravale ma Poltava), – критике, который приплел сюда же такого дурака, как и сам он – Пахома Силыча Правдина. Пошлый, пошлый дурак, вместе со своим Пахомом! (De pair et compagnie avec son Packhom!) Не понимаю также, что за плюху закатил тому же зоилу мой Граф Нулин? Верно, «Граф Нулин», получив пощечину от Натальи Павловны [86] , рассердился, да с досады и залепил этому господину, в свою очередь, плюху во все ухо! Les laches, les co-quins!.. (Подлецы, плуты!.. (*фр* .))

– Да полно тебе горячиться! посмотрись в зеркало, ты на себя не похож.

– Не говорю больше об этих бездельниках (Je ne parle plus de ces faquins), черт с ними, – горячился все более дядя, – но не поверишь, как у меня рука чешется на газетных шпионов! Вообрази, эти господа, точно беззубые старые сплетницы, трескающие (qui bafrent) с утра до вечера с соседками вонючий кофей, – мне и на Кавказе не давали прохода, а следили за мной по пятам. Добро бы сплетничали на меня наемники (les mercenaires) петербургских или московских газет из-за лишнего гривенника, а тут и тифлисская газета подсылала мне своих алгвазилов с расспросами: когда я и сколько раз намерен чихнуть в Тифлисе, в Кизляр ли, в Астрахань ли уеду, скоро ли потом

проберусь смотреть Кузнецкий, что ли, мост, набережную ли нашей Фонтанки, а потом и затрезвонили в газете: «Пушкин сегодня здесь, завтра там». Важное, нечего сказать, дело, где чихаю и сморкаюсь!

– Позволь тебе на это сказать, что и ты странен, Александр. Мне, кажется, напротив, тебя должно бы радовать, что тобой все интересуются, а не злить. Полно кривить душой, батюшка (Ольга Сергеевна иногда называла брата в шутку mon petit papa (мой маленький папа (*фр* .)), сам небось очень рад, по лицу теперь вижу, признайся-ка…

Александр Сергеевич не признался: напротив, еще больше расходился, и продолжал:

– Эти господа не только стали печатать, куда выеду и что буду делать там-то и там-то, но протрубили, что я, как слышно (от кого слышно?), очень много написал, а когда сюда возвращусь, сейчас же выпущу им стихи на потеху. Как бы не так! Конечно, много писал, но никому не говорил, что писал. Пусть себе стучат языками и щелкают перьями, а я – вот им и нос – ничего до поры до времени печатать не буду.

И действительно, все, что сочинил Пушкин во время пребывания на Кавказе и в Азиатской Турции, появилось в печати гораздо позднее его возвращения в Петербург, и, если только не ошибаюсь, в конце 1830 или даже в начале 1831 года.

Не привожу в моей хронике списка произведениям моего дяди за 1829 год. Всякому, кто знаком с жизнеописаниями Пушкина и интересуется бессмертным поэтом, должно быть известно, что именно он писал в эту эпоху и в Петербурге, и на Кавказе. Скажу только, что все произведения за 1829 год дядя прочел сестре, спрашивая ее мнения о каждом из них. Мать, одобряя все безусловно, отдавала, однако, предпочтение «Кавказу» («Кавказ подо мною, один в вышине стою над снегами у края стремнины…»), «Воспоминаниям в Царском Селе» («Воспоминаньями смущенный, исполнен сладкою тоской…») и «Олегову щиту».

Об этом последнем произведении дядя говорил моей матери:

– Знаешь, Ольга, что в «Олеговом щите» я в самом деле, по твоему выражению, «покривил душой», и не поверишь, как мне, русскому человеку, было обидно, когда наша славная армия, после чудесного, беспримерного в истории перевала чрез Балканы, забастовала в Адрианополе, откуда в Константинополь рукой подать. Были бы наши в Константинополе – песня вышла бы у меня совсем другая. А тут я сострил поневоле bonne mine a mauvais jeu (хорошую мину при плохой игре (*фр* .)), да закрылся щитом Олега, pour acquit de ma conscience patriotique (ради

очистки моей патриотической совести), а бедному Олегову щиту – которого мейнгерр Дибич и во сне не нюхал – думаю, и в голову не приходило останавливать нашу рать перед Стамбулом; остановил ее не щит, а остановили господа дипломаты.

Не могу затем не записать в эту хронику строфу, раскритикованную таким образом самим же автором:

Настали дни вражды кровавой;
Твой [87] путь мы снова обрели;
Но днесь, когда мы вновь со славой
К Стамбулу грозно притекли,
Твой холм потрясся с бранным гулом,
Твой стон ревнивый нас смутил,
И нашу рать перед Стамбулом
Твой старый щит остановил.

Глава XVI

В декабре 1830 года, а также и в первые зимние месяцы следующего, 1830 года, дядя Александр стал заходить по вечерам к моим родителям чаще, не ограничиваясь уже утренними беседами. Мать встречалась с ним и в доме родителей, которых она посещала, скрепя сердце, так как Надежда Осиповна ненавидела зятя.

Отношения между моим отцом и дядей Александром Сергеевичем с внешней стороны казались весьма хорошими, но до родственной, теплой искренности и до местоимения «ты», которое так щедро любил раздавать Пушкин, дело никогда у них не доходило; причина отсутствия такой сердечности кроется в совершенной противуположности личных характеров, а литературная деятельность шурина и зятя не послужила между ними общим знаменателем. Отец, любивший музыку и понимавший толк в живописи, никогда не писал стихов, разве шуточные, под веселую руку, предпочитая именно – как дядя выразился – копаться в исторических и филологических исследованиях, рыться в архивной пыли да писать журнальные статьи; следовательно, не мог заменить Александру Сергеевичу ни Дельвига, ни Жуковского, ни Плетнева, ни даже Соболевского. Кроме того, взгляды на жизнь Николая Ивановича и Александра Сергеевича были тоже диаметрально противоположны. Александр Сергеевич считал моего отца мелочным педантом (un pedant vetillieux), с немецкой закваской, унаследованной от его матери-немки, а отец, с своей стороны, не мог сочувствовать африканским порывам шурина, говоря, что заниматься своими нервами – бесполезная трата времени; хотя отец и был вспыльчив, вследствие чего тоже имел три дуэли, но после поединков от души мирился с противниками, даже дружился с ними; никогда не злобствовал, был всегда обходителен, вежлив со всеми, а позволять себе во время спорных бесед насмешки над оппонентами, пускаясь в личности, – в особенности в присутствии дам, – он считал делом просто неподходящим и смолоду держался правила щадить самолюбие других; так однажды он сказал мне, не помню по какому случаю: «Si tu te piques d'etre gentilhomme et chretien, mon bon ami, n'attaque jamais l'amour-propre d'autrui». [88]

Правда, отец вынужден был наказать одного негодяя, о чем уже мною рассказано в одной из предыдущих глав хроники, но это случилось только раз. Учтив он был и деликатен даже во время холостых приятельских пирушек. Дядя Лев Сергеевич,

лицейские его товарищи Безак и барон Бухольц очень отца любили, а Дельвиг, Илличевский, Глинка и Соболевский считались впоследствии его задушевными друзьями.

Таким образом, при различии характеров, взглядов и литературных целей общего между Пушкиным и моим отцом было очень мало. Тем не менее, они питали друг к другу полное уважение, и взаимные их отношения никогда не омрачались не только неприятными разговорами, но и простыми недомолвками; на вопрос же, чувствовали ли они один к другому симпатию, прямо отвечу «нет». Родственных излияний у них в письмах совершенно не существовало; не существовало также ни живого обмена мыслями, ни сердечных бесед с глазу на глаз.

Как бы ни было, но дядя, как я сказал выше, участил в описываемое мною время вечерние посещения моих родителей, куда по-прежнему являлись постоянно Соболевский, композитор Глинка и барон Дельвиг с женой.

Глинка тогда окончил вместе с моим отцом издание «Лирического альбома» (отпечатанного в литографии Бегрова), а Дельвиг подготовлял материалы для задуманной им «Литературной газеты», которая и стала выходить с 1830 года.

В «Лирическом альбоме» Глинки и Павлищева помещены, между прочим, две песни дяди Александра – «Ворон к ворону летит» и «Черная шаль». К сожалению, музыка на эти песни, написанная графом Ю. Виельгорским, далеко не соответствовала по достоинству тексту. Из музыкальных же произведений самого главного издателя – Глинки – помещены романсы: «Mio ben ricordati» («Вспоминай мои благодеяния» (*ит* .)), «Память сердца», на слова Батюшкова, «Скажи зачем», на слова князя С. Голицына, и оригинальные «Nouvelles cont-redanses» («Новые кадрили» (*фр.*)). О песне Шимановской – тещи Мицкевича – «Вилия» из его поэмы «Валленрод» в русском переводе Шемиота упомянуто было мною раньше.

Появившийся в печати гораздо, если не ошибаюсь, позже романс Глинки на слова Пушкина, посвященный Анне Петровне Керн, «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты» [89] был исполнен в начале 1830 года, в доме моих родителей, при особенно удачных, как передавал мне отец, условиях. Глинка сел за весьма плохие, взятые отцом напрокат, клавикорды и пропел свой романс в присутствии Александра Сергеевича – автора элегии, и самого предмета его вдохновения – Анны Петровны Керн, гостившей тогда в Петербурге. Отец аккомпанировал певцу на семиструнной гитаре. Дядя, выслушав романс, бросился обнимать обоих исполнителей, а добрейшая Анна Петровна,

виновница поэтических оваций, несмотря на ее, что называют французы, светский presence d'esprit (присутствие духа (*фр* .)), сконфузилась, прослезилась от радости и только после довольно длинной паузы проговорила, что никогда ей и не снилось счастие вдохновлять своей ничтожной особой первоклассного в России поэта и первоклассного в России композитора. При этой овации присутствовали барон Дельвиг и Соболевский, а Александр Сергеевич обратился к Анне Петровне с вопросом:

– Ne serez vous pas jalouse de votre cousine Оленин, si je reciterai mes derniers vers pour elle a notre ami Глинка, auquel je les recommande particulierement? (Не приревнуете ли вы меня к вашей кузине Олениной, если прочитаю последние мои к ней стихи нашему другу Глинке, которому их особенно рекомендую?)

– Oui, j'en serai tres jalouse (да, я очень приревную), – отвечала шутя Анна Петровна.

– Eh bien, tant mieux (ну, тем лучше), – подхватил в шуточном же тоне дядя Александр и, сказав Глинке: «послушайте и положите на музыку», прочел наизусть:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В моей душе погасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

– Toujours le meme, toujours volage (всегда тот же, всегда непостоянный)! – погрозила Пушкину пальцем Анна Петровна.

Вспомнив этот эпизод, не могу не посвятить памяти Анны Петровны Керн, по второму браку Марковой-Вино-градской, несколько строк:

Эта идеально добрая и очень умная женщина своею красотою и умом очаровала дядю, воспевшего в романсе «Я помню чудное мгновенье» первую с ней встречу в Петербурге у ее тетки Олениной, рожденной Полторацкой, в 1819 году, когда Пушкину не было еще и двадцати лет. Встреча произвела на Александра Сергеевича весьма большое впечатление, в полном смысле

поэтическое. Он не мог забыть этой минуты, и сосланному в следующем году Пушкину действительно «звучал долго голос нежный и снились милые черты».

Последние две строфы романса – это, позволю себе сказать, оттиск радостного волнения восторженной души при вторичной, внезапной встрече поэта с предметом вдохновения в Тригорском, летом 1825 года, следующие:

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь…

Рассказывая моей матери о нечаянном своем свидании с Анной Петровной в Тригорском, дядя Александр говорил сестре, как Ольга Сергеевна мне передала, следующее:

– Смейся, не смейся моим предчувствиям и приметам, мне все равно, но расскажу тебе довольно странное обстоятельство: Анну Петровну я увидеть не думал, но вообрази, что в день вовсе неожиданного свидания у меня утром стал сильно чесаться левый глаз – знак, что очень обрадуюсь чему-то; после этого у меня сильно билось сердце, бросало то в жар, то в озноб. Я предчувствовал радостно, что через несколько часов увижу кого-то, а кого именно – в этом отчета дать себе не мог. Так и вышло.

Отношения свои к Пушкину покойная Анна Петровна изложила как нельзя лучше в своих воспоминаниях, напечатанных в «Библиотеке для чтения» за 1859 год; переписка же Александра Сергеевича с г-жою Керн вошла в состав и суворинского издания сочинений дяди. Повторять всем известное не нахожу надобности, но удостоверю только, что Александр Сергеевич от души ее любил. Отличаясь прелестной наружностью, непритворною веселостью, игривым умом, остроумием без ядовитых выходок (злословие для Анны Петровны было terra incognita (неведомая земля (*лат* .)), эта прекрасная во всех отношениях женщина несла безропотно свою горькую долю: быть нянькой одержимого подагрой старого, несносного мужа Ермолая Федоровича Керна (он был комендантом города Риги), за которого ее выдали поневоле, когда она была почти девочкой. К сожалению, присущая ей веселость и врожденное, вполне, однако, добродушное, можно сказать, милое кокетство подавало зачастую пищу недоброжелательным, злым языкам, распускавшим об Анне

Петровне ни на чем не основанные, самые неправдоподобные слухи.

Распускаемые сплетни вызвали Александра Сергеевича, который, впрочем, сильно ревновал ее и к ее кузену Алексею Николаевичу Вульфу, и к своему брату Льву Сергеевичу, не говоря уже о подагрике-муже, написать всем известное стихотворение:

Когда твои младые лета
Позорит шумная молва,
И ты по приговору света
На честь утратила права,
Один, среди толпы холодной,
Твои страданья я делю
И за тебя мольбой бесплодной
Кумир бесчувственный молю и
т. д.

Гораздо более хладнокровно своих друзей относилась к подлым сплетням сама их виновница. Незлобная Анна Петровна сказала однажды Александру Сергеевичу и моей матери, как это сообщила мне последняя, следующие слова:

– Неужели, друзья мои, вы думаете, что я такая пошлая дура, чтобы не вникнуть в мораль басни: «Собаки полают, собаки отстанут»? Совесть моя совершенно чиста: никому зла не делала, не делаю, делать не буду, зла не желала, не желаю и желать тоже не стану, а кто не в мою пользу открывает широкий рот, тому от души прощаю да низко кланяюсь: большому дураку – большое почтенье!

О многоуважаемой Анне Петровне Керн, которую я знал старушкой лет весьма преклонных и уже как не Керн, а как Виноградскую, я сохранил самое приятное воспоминание, равно как и о ее втором муже, Александре Васильевиче. Она переехала в 1855 году с ним в Петербург, насколько помнится, из села Сосниц, Черниговской губернии. Живя по соседству с Ольгой Сергеевной, Анна Петровна посещала мою мать до самой кончины последней, бывая у ней еженедельно, а иногда и чаще. Старушки незаметно проводили время в беседах о минувшем, находя какую-то отраду в грустных воспоминаниях об Александре и Льве Сергеевичах и вообще о тех, о которых сказал Жуковский: «Не говори с тоской их нет, а с благодарностию были…»

Анна Петровна кончила свое долговременное жизненное поприще очень печально, подобно своему мужу. Бедность и, можно даже сказать, нищета не давала обоим покоя до гробовой доски.

Глава XVII

В описываемое мною время, в конце 1829 года, происходили у моего отца и вечерние совещания относительно издания проектированной бароном А.А. Дельвигом «Литературной газеты» на 1830 год. О сотрудничестве моего отца я уже упоминал, но главным сотрудником газеты, конечно, был Александр Сергеевич, который заблаговременно подготовлял статьи, какие именно – не знаю, упоминаю только, что орган барона Дельвига украсился в 1830-м же году обширным пушкинским разбором «Истории русского народа» Полевого, «Илиады» в переводе Гнедича, заметками «О записях Видока и Самсона» и другими статьями, известными знатокам пушкинских трудов.

Дельвиг после своего возвращения в Петербург из командировки, как он выражался, в «Хохландию», куда его посылали предаваться, по его словам, «никак не поэтическим, а совершенно чиновничьим восторгам», т. е. разбирать какое-то запутанное интендантское дело, – не был уже обременен службой, так как получил очень покойное место в министерстве внутренних дел, почему Антон Антонович мог всецело посвятить себя поэзии и продолжению издания своих «Северных цветов».

Обычной спутницей посещений Дельвига оказалась, кроме музы Каллиопы, и муза Эвтерпа: романсы его «Только узнал я тебя» и «Не говори – любовь пройдет, забыть о том твой друг желает», – возведенные именно в перл создания тем же незабвенным нашим композитором Михаилом Ивановичем Глинкой, – распевались очень усердно присутствовавшими гостями Николая Ивановича и Ольги Сергеевны, под аккомпанемент или самого композитора, или же радушного хозяина, к немалому удовольствию барона, а барон, с своей стороны, знакомил посетителей и с прочими своими стихотворениями; из них Ольге Сергеевне нравились особенно, по краткости и силе, афоризмы поэта: «Грусть», «Слезы любви» и «Смерть». Первые два произведения Дельвиг написал тогда же, в конце 1829 года. Стихи же Антона Антоновича «Пела, пела пташечка и затихла», написанные раньше и положенные на прелестную музыку соревнователем и другом Глинки Николаем Алексеевичем Титовым, – моя мать не могла слушать без того, чтобы не проливать слезы.

Упомянув о покойном Титове, романсы которого стяжали тоже общую известность, не могу не заметить, что этот композитор, родители которого были очень дружны с дедом и бабкой, был тоже одним из частых посетителей описываемых

мною вечеров.

Заканчивая изложение событий за 1829 год, перехожу к воспоминаниям за следующий, 1830-й, к первым числам января которого относится случившееся на одном из вышепомянутых вечеров таинственное происшествие с супругой Дельвига, Софьей Михайловной, рожденной Салтыковой, происшествие, о котором рассказала мне мать с малейшими подробностями. Я записал его в мой «Дневник», не придавая, впрочем, этому случаю особенного значения, как плоду расстройства нервов жены друга моего дяди, а если решаюсь привести его здесь, то потому, что описываемый случай имел место в присутствии дяди Александра, которым все интересуются; кроме того, моя мать, порою тоже суеверная, считала сверхъестественное явление, постигшее баронессу Дельвиг, тем более странным, что Софья Михайловна ему подверглась ровно за год до преждевременной кончины своего супруга.

Уютная квартирка моих родителей состояла из небольшой прихожей, гостиной, кабинета отца, комнаты моей матери и столовой. Правая дверь из прихожей вела в гостиную, а левая в узенький коридор, в конце которого отворялась дверь в столовую. Коридор, куда поставили старое соломенное кресло, почти негодное к употреблению, освещался прибитой к стене маленькой лампой.

Собрались вечером гости: дядя Александр, приехавший в отпуск, дядя Лев, барон Дельвиг с женой, Татьяна Семеновна Вейдемейер и еще несколько дам и мужчин – не помню кто. Перед самым ужином баронесса Софья Михайловна захотела выпить стакан воды; но, не желая пройти в столовую чрез кабинет, чтобы не обеспокоить куривших и игравших в карты мужчин, вышла из гостиной в прихожую, откуда и вступила в означенный узенький коридор.

Не проходит и десяти секунд, как все слышат дикие, отчаянные вопли. Дядя Александр и отец, выскочив из кабинета, первые бегут через комнату матери и столовую в коридор, откуда раздавались крики; Лев Сергеевич и барон Антон Антонович – туда же, с другой стороны, через гостиную и прихожую; дамы за ними следом. В коридоре находят обезумевшую от страха Софью Михайловну; ее уводят в гостиную.

Все суетятся, кто с водой, кто с уксусом, кто с одеколоном, что попадется под руку.

Придя в себя, Софья Михайловна рассказала следующее:

Не успела она очутиться в коридоре, как увидела сидевшего в креслах старика с ниспадавшими до плеч волосами, лицом желтым, как у любого покойника, оскаленными зубами и глазами

навыкате, из которых исходили как бы лучи зеленого цвета. Старик был одет – насколько баронесса заметила – в серый ободранный армяк. Старик, при ее приближении, встает с кресел, подходит к ней, загораживает дорогу в столовую и хохочет.

Слушатели рассказа баронессы расхохотались в свою очередь, и Александр Сергеевич – первый.

– С вами просто сделалось дурно от духоты в этой гостиной; в коридоре закружилась голова и показалось Бог знает что, – успокаивал дядя.

– Да что тут долго рассуждать, – перебил дядю Дельвиг. – Я тебе, Соня, хочешь, докажу, что твое привидение вздор. Пойдемка всей компанией в коридор. Твой старик сам струсит. Видишь, сколько в нашем войске пар кулаков? – прибавил он смеясь.

– Идите все, а я ни за что, ни за что, барон! (Так она всегда называла мужа.)

– Не пойдешь, понесу, – продолжал смеяться Дельвиг, который, будучи физически очень силен, поднял с этими словами жену на руки как перышко и, закричав: «За мной, храбрая команда!» – отправился к страшному месту.

Хозяева и гости последовали за ним; жена крепко обвила его толстую шею руками, но не успел Антон Антонович сделать в коридоре и пяти шагов, как Софья Михайловна опять закричала благим матом: «Вот он, вот он! Стоит против тебя, нас не пускает! вижу, вижу его»… и… лишилась чувств.

Не скоро баронессу привели в сознание. Литературные разговоры и карты, конечно, прекратились, и гости разъехались раньше обыкновенного; остался у нас один дядя Александр.

Он сказал сестре:

– Теперь Софью Михайловну к тебе на квартиру и калачом не заманишь. Завтра к ней зайду; скажу, что ваш лакей хотел, ради святок, нарядиться шутом да позабавиться.

– И бесподобно, – похвалила Ольга Сергеевна.

– А ты к ней заезжай послезавтра и подтверди то же самое.

На беду, мои родители держали не одного, а двух камердинеров, – благо прислуга была тогда дешева. Насчет их имен Ольга Сергеевна с братом не сговорилась, так что на вопрос баронессы, кто именно пошалил, – Александр Сергеевич свалил вину на Ермолая, а на следующий день моя мать заявила, что виновник всей суматохи Прокофий.

– Как же это? Ты говоришь Прокофий, а твой брат – Ермолай? После этого, воля твоя, – сказала баронесса, – я к тебе не приду, пока не переменишь квартиры. Барон пусть ходит, а не я. Если хочешь со мной видеться, то можешь всякий день, но у меня, а не у тебя.

Софья Михайловна сдержала слово: квартирка в доме Дмитриева больше ее и не видала, несмотря на все насмешки барона, моей матери и дяди Льва Сергеевича.

Глава XVIII

В это самое время, именно в начале 1830 года, оба дяди мои были неразлучны с Соболевским. Бабка моя, Надежда Осиповна, очень его сначала недолюбливала, не постигая, что может быть общего между ее сыном-поэтом и этой, как она выражалась, олицетворенной прозой-выскочкой (cette prose personnifee de parvenu), а по своему чванству Надежда Осиповна не переваривала генеалогии Соболевского.

Действительно, между характерами творца Евгения Онегина, Бориса Годунова, Полтавы и комическом рифмоплетом лежала, по-видимому, целая пропасть. Но так ли было на самом деле?

Под маской напускной веселости, выражавшейся в сатирическом взгляде на окружающее общество и забавных выходках, порою доходивших до известного рода цинизма, Соболевский носил в душе своей чувства теплые, возвышенные и, как принято теперь называть, «гуманные», – точнее скажу по-русски – «человеческие», щеголять которыми Сергей Александрович находил совершенно ненужным. Обожая свою несчастную мать, всегда готовый на помощь друзьям и делом, и добрым, благоразумным советом, а нуждающимся оказывая поистине христианское милосердие, Соболевский «пришел, увидел, победил» сердце моего дяди; бичуя же беспощадной сатирой всякого, кто имел низость ставить Сергею Александровичу из-за угла в укор, что он «дитя любви», Соболевский заставлял этих господ кланяться ему, что называется, ниже карманов.

Дядя Александр, познакомясь с Соболевским гораздо прежде 1830 года, скрепившего их дружбу, и познакомясь чрез товарища Сергея Александровича по университетскому пансиону, – именно своего брата Льва Сергеевича, – сразу постиг характер и качества нового друга, причем понял отлично, что этот друг как нельзя более душевно страдает и что эти страдания были спутником всей жизни прикидывающегося беззаботным неподражаемого комика.

Свою скорбь Соболевский выразил Александру Сергеевичу в следующей стереотипной фразе: «Je suis un etre malheureux, parce que je suis stigmatise par le sobriquet d'un His naturel». (*я несчастное существо, потому что заклеймен прозвищем сына любви* .)

Родители Соболевского, фамилии которых мне очень хорошо известны, были людьми с состоянием и принадлежали к высшему кругу. Отец его, г. С, будучи, подобно его матери, природным

русским, приписал сына, за весьма значительное денежное пожертвование, к польскому дворянству, выхлопотав для сего как фамилию «Соболевского», так и присвоенный некоторым представителям этой фамилии герб «Слеповрон» («Slepowron» (« *Слепой ворон» (искаж. польск.*))).

Говоря об этом обстоятельстве, считаю не лишним заметить, что в Польше многие дворянские однозвучные фамилии, не находящиеся между собою в родстве, отличаются одна от другой по гербам, и наоборот; один и тот же герб употреблять могут дворяне, носящие совершенно разные фамилии; самые же гербы, в свою очередь, имеют особенные названия, большею частию по их рисункам; например, гербы Labedz (лебедь), Pelikan (пеликан), Slepowron (слепой ворон), Korczak (ковш) и проч.

Иногда, для отличия родов однозвучных фамилий, польские дворяне присоединяют к своему родовому имени и название присвоенного ему герба, например: Klamra(скоба; пряжка (польск.))-Siennicki, положим, Slepowron-Sobolewski и т. д.

Как бы ни было, Соболевский, сам подсмеиваясь над своим «слеповроном» и говоря, что эта «слепая ворона залетела невзначай с берегов кофейной [90] Вислы, – оттуда, где рожи очень кислы, – к обитателю лазурных невских вод», обнаружил всю тягость снедающего его горя только Пушкину и сестре его, Ольге Сергеевне. В другом же обществе всякие разговоры о «детях натуральных» были для Сергея Александровича невыносимы. Если в его присутствии возникали подобные разговоры, Соболевский терялся, краснел, бледнел, уходил в другую комнату, а раз, когда этого сделать было невозможно, Сергей Александрович почувствовал себя дурно и едва не упал в обморок, о чем и рассказала мне Ольга Сергеевна, сообщив и нижепомещаемый разговор.

Неприятный для Соболевского случай произошел именно очень скоро после приключения с баронессой Дельвиг, и Сергей Александрович сообщил о нем по секрету Ольге Сергеевне, говоря, что он при публике объяснил свой обморок простым головокружением, но так как у Соболевского не было секретов и от Александра Сергеевича, то моя мать передала брату рассказ его друга в присутствии сего последнего.

Пушкин хотя и гордился до некоторой степени своим происхождением, что и доказал написанным в том же 1830 году стихотворением «Моя родословная», но гордился перед теми, перед кем гордиться он считал необходимым; но в душе никогда не мирился с предрассудками, в силу которых общество бросает камень в ничем не повинных «детей любви», что и доказал в беседе своей с другом, в присутствии Ольги Сергеевны:

– Душа моя, «Калибан», – так прозвал дядя Соболевского, по имени одного из героев шекспировских трагедий, – на твоем месте я в обморок бы не упал на потеху бестактных дураков, qui parlent de corde dans une maison de pendu [91] , а так бы их моим языком осрамил, что они позабыли бы у меня, где сидят. Да, братец, меня как нельзя более возмущает, что всякого рода мошенникам и канальям сходит часто с рук всевозможная пакость, потому что они записаны-де законными сыновьями известных по своему положению в свете людей, между тем как ни в чем не повинное «дитя любви», с самого появления на свет Божий, несет незаслуженную кару за орфографическую ошибку матери (pour la faute d'or-thographe commise par sa mere), будь он умен как Ньютон, добр ну… как сестра моя Ольга и честен как Дон-Кихот. Общество считает их париями, отказывает во всем, сторонится от них, как от прокаженных, а делает это потому, что само еще не развито и не набралось ума, даже здравого смысла. Не говорю уже о тех, кто осмеливается показывать явное презрение несчастным детям любви, – это сущие свиньи, – не говорю уже и о тех, кто в их присутствии смеется над случаями незаконного рождения, – это неделикатные невежи. Но, с другой стороны, не понимаю и того, как можно стыдиться своего происхождения? Виноват ли я, например, что родился, положим, в Москве, а не в Калькутте, что ростом невелик, собой неказист? Есть чего, черт возьми, стыдиться!..

Дядя Александр как бы подкрепляет, не могу не заметить, высказанное Соболевскому свое profession de foi [92] в напечатанной им в «Литературной газете» статье «О выходках против литературной аристократии».

Считаю необходимым уделить в моей «Семейной хронике» место Сергею Александровичу Соболевскому, потому что он был едва ли не самым близким другом дяди Александра Сергеевича; притом же об этом замечательном человеке очень мало известно в печати.

Лишась отца еще в очень молодых годах, Сергей Александрович посвятил, можно сказать, всего себя уходу за нежно любимою матерью, которой в 1828 году и закрыл глаза. Дядя Александр Сергеевич особенно уважал в своем друге святое сыновнее чувство и говорил Ольге Сергеевне:

– Вполне соболезную бедному Сергею. Утратив мать, он совершенно одинок, никто не пойдет с ним под венец, вспомни мое слово. – Так и вышло.

Мать Соболевского скончалась в Москве, летом 1828 года, и дядя Александр, узнав об этом, написал ему следующее:

«Вечор узнал я о твоем горе и получил твои два письма. Что

тебе скажу? Про старые дрожжи не говорят трижды; не радуйся нашед, не плачь потеряв; посылаю тебе мою наличность, остальные 2500 получишь вслед. «Цыганы» мои не продаются вовсе; деньги же эти трудовые, в поте лица моего выпонтированные у нашего друга Полторацкого. Приезжай в Петербург, если можешь. Мне бы хотелось с тобой свидеться да переговорить о будущем. Перенеси мужественно перемену судьбы твоей, т. е. по одежде тяни ножки; все перемелется, будет мука. Ты видишь, что, кроме пословиц, ничего путного тебе сказать не умею. Прощай, мой друг».

Наделенный от природы замечательным умом, Соболевский наметил себе целью развить этот ум всесторонним образованием; к достижению намеченной цели он поставлен был в счастливую возможность, имея под рукою подаренную ему отцом весьма богатую библиотеку, всевозможные аппараты, коллекции разного рода древностей, а в кармане – тоже кое-что. Курс в бывшем университетском пансионе он кончил блистательно и вслед за тем стал усердно пополнять пробел полученного образования, так сказать, неусыпным изучением словесностей: французской, английской, немецкой, итальянской, всех славянских наречий, а математику, механику, технологию и архитектуру, которые он считал предметами наиболее необходимыми для практического быта, узнал, можно сказать, настолько, чтобы применять их при всяком представлявшемся случае. Таким образом, Соболевский и выступил во всеоружии на арену житейской борьбы.

Сила воли у него была железная, доказательствами чего служат следующие обстоятельства, рассказанные мне моею матерью.

По окончании курса наук у Сергея Александровича появились все признаки начала чахотки, несмотря на большой рост и атлетическое сложение. Выслушав приговор эскулапов, Соболевский, согласно их советам, стал питаться в течение двух лет одним слегка лишь прожаренным бифштексом да стаканом портера в день, причем, вставая с восходом солнца и ложась спать как нельзя раньше, отвесил, как он выражался, нижайший поклон всяким театрам, вечерним собраниям, словом всему, нарушающему правильный образ жизни. В итоге получилось цветущее здоровье и завидная всякому физическая крепость.

Не менее сильную волю проявил Соболевский и потом, когда, по совершенно не зависящим от него обстоятельствам, он лишился части своего достояния. Перенес Сергей Александрович этот тяжелый удар стоически: сказал только, «что с воза упало, то пропало, а вперед сам не зевай».

Задумав пустить все приобретенные познания в ход, он

предложил свою честную практическую деятельность промышленной компании, какой именно, не помню. Труды Сергея Александровича послужили, как нельзя лучше, ему в пользу, и скоро счастье улыбнулось: Соболевскому удалось не только возвратить утраченное, но и разбогатеть; в конце концов, он сошелся с собственником бумагопрядильни (что на Выборгской стороне) Мальцевым и, приняв заведование его делами, ездил неоднократно, по поручениям Мальцева, за границу – в Париж, Лондон, Вену, и в результате завоевал такую цифру ежегодного дохода, которой сама Ольга Сергеевна плохо верила.

После постигшего Сергея Александровича материального убытка, о котором я сказал выше, он, кроме бесповоротного решения добиться, во что бы ни стало, прежнего состояния, наложил на себя добровольно чистую эпитимию, распростился и со всяким наружным щегольством, и с удовольствиями, вызывающими, по его мнению, «глупейшие» расходы, главное же – лишил себя любимого своего наслаждения плотно покушать, а был он гастрономом записным, и вычеркнул из своей программы всякую пищу, превышающую необходимую для утоления голода.

– А я, Соболевский, к «тебе» [93] собираюсь обедать завтра, – сказал ему (в январе 1830 года) приехавший в отпуск мой дядя, Лев Сергеевич, который, как известно, далеко не питал к богу Вакху особенного презрения. – Будешь ли дома?

– Разумеется, дома; по моему карману не могу еще ходить в клуб, как прежде, хотя карман, славу Богу, сильно толстеет.

На следующий день Лев Сергеевич является во ожидании вкусить зелие виноградное.

На столе красуются два прибора – миска со щами, горшок с гречневой кашей да графин с квасом.

Дядя Лев, славившийся всегда очень завидным аппетитом, мигом уничтожает тарелку щей, разделывается подобным же образом с кашей, а затем – после быстролетной атаки на жареную говядину – спрашивает:

– Соболевский, да что ты со мной делаешь?! а вино-то где?

Тот наливает себе квас и притворяется глухим.

– Да отвечай же, Сергей, где же вино?

– А-а-а-а… вино?.. – разевает рот хозяин. – Вино?., да на что тебе оно?!.

– Как на что? Известно на что…

– Да мне-то неизвестно. Надеюсь и ты, так же как я, перестал заниматься пустяками. То ли дело квас? Любое бордо за пояс заткнет! Скажу тебе: блаженство, а не квас! Хочешь квасу?

С тех пор Лев Сергеевич обедать к Соболевскому ни ногой.

Этот анекдот я слышал от матери. Шутка Соболевского

понравилась дяде Александру Сергеевичу, и он повторил ее впоследствии над братом, о чем Александр Сергеевич написал жене следующее:

«Я обедаю дома, никого не вижу, а принимаю только Соболевского. Третьего дня я сыграл славную шутку со Львом Сергеевичем. Соболевский, будто ненарочно, зовет его ко мне обедать. Лев Сергеевич является. Я перед ним извинился как перед гастрономом, что, не ожидая его, заказал себе только ботвинью да бифстекс. Лев Сергеевич тому и рад. Садимся за стол, подают славную ботвинью; Лев Сергеевич хлебает две тарелки, убирает осетрину; наконец, требует вина, ему отвечают: нет вина. Как нет? «Александр Сергеевич не приказал на стол подавать». И я объявляю, что я на диете и пью воду. Надобно видеть отчаяние и сардонический смех Льва Сергеевича, который уже, вероятно, ко мне обедать не явится. Во все время Соболевский подливал себе воду то в стакан, то в рюмку, то в длинный бокал и потчевал Льва Сергеевича, который чинился и отказывался»…

Приехав в отпуск, как сказано выше, в 1830 году, Лев Сергеевич проигрался где-то в карты. Александр же Сергеевич не мог немедленно его выручить из беды, и раздосадованный «Пушкин Лев» является вечером к моей матери, надутый и сердитый; впрочем, является вовсе не с целью призанять у нее денег – знал, что лишних там не водилось, – а размыкать свою «карманную невзгоду». Как на беду, дядя застает у моих родителей обычных гостей, в том числе и Соболевского. Соболевский, встретив Льва Сергеевича с добродушно-иронической улыбкой, тут же смекнул об отсутствии денежного присутствия в кармане друга, сообразил, что может горю помочь, но промучил дядю Льва до самого ужина, забавляясь его постною наружностью. Рассказать о своем горе сестре Льву Сергеевичу при гостях было неловко; пускаться же с ними в свойственные ему любезные разговоры дядя, при печальных обстоятельствах, никак не мог.

Подали ужин. Лев Сергеевич садится за стол рядом с Соболевским и, не нарушая молчания, не уклоняется, однако, от угощения, предлагаемого ему и другом-соседом, и гостеприимным хозяином – моим отцом.

После ужина Соболевский встает из-за стола и с комическою важностью возглашает громогласно экспромт:

Лев Сергеич на суарэ [94]
Был любезен, как тюлень:
Выпил чарку Сен-Перэ

И бутылку Сен-Жюльен, —

и, отозвав дядю в сторону, спрашивает по секрету:

– Пушкин! сколько тебе надо?

– Помилуй, Сергей, что ты?

– Да я тебя насквозь знаю, меня не проведешь; выйдем вместе, завернешь ко мне, и дело в шляпе.

Лев Сергеевич тут же, при публике, бросился в объятия друга, развеселился, разлюбезничался, а Соболевский:

Ну, еще-ка Сен-Перэ,
Ну, еще-ка Сен-Жюльен!

– Идет! – радостно подтвердил дядя и тут же последовал дружескому совету.

На другой день долг Льва Сергеевича был, таким образом, уплачен.

Много помню слышанных от моих родителей подобных поступков Соболевского, – поступков, исполненных благородства и деликатной, дружеской предупредительности. Оба мои дяди, мать и отец, оценив этого человека, как следует, полюбили его от души; впрочем, и он показал им, что того достоин, а люди одинакового с бессмертным поэтом закала – Дельвиг, Баратынский, Плетнев, Жуковский, который вполне сочувствовал снедавшей Соболевского скорби о происхождении, кн. Одоевский, кн. Вяземский и другие, – считали Сергея Александровича самым преданным другом.

Но не так встретили Соболевского, при вступлении в «свет», прочие посетители салонов, куда Сергей Александрович, по собственным своим соображениям, должен был явиться. Встретили его там враждебно, с предвзятыми взглядами, двусмысленными, оскорбительными улыбками и намеками. Соболевский дал сначала поведенным на него словесным атакам молодецкий отпор, а там, в свою очередь, повел вперед победоносное войско и смял врагов следующими силами: острым, как бритва, языком, самыми злыми экспромтами да ядовитыми каламбурами, так что после пяти-шести генеральных сражений неприятель обратился в бегство, титул «My1ord qu'importe» послужил Соболевскому вполне заслуженным трофеем, а меткие экспромты и каламбуры отправились немедленно гулять по всему Петербургу, к немалому удовольствию Александра Сергеевича, искренно поздравившего победителя с успехом.

В числе потерпевших поражение оказался и главный соперник Сергея Александровича по ратоборству языком – Филипп Филиппович Вигель, не выдержавший убийственного

огня эпиграммы, о которой я уже говорил во второй и четвертой части хроники. Вигель возненавидел Соболевского так, что избегал уже всякой с ним встречи.

Короче, Соболевский одержал победу блистательную: его стали бояться.

– Перед тобой трусят, Сергей, – заметил ему дядя Александр.

– Что и требовалось доказать, как выражаются геометры, – отвечал Пушкину Соболевский.

Теплое расположение моего дяди к Сергею Александровичу усматривается и из переписки нашего поэта с Соболевским.

О путешествии моего дяди с Соболевским в 1833 году из Петербурга в Москву, – откуда Александр Сергеевич отправился уже один в Оренбургский край за материалами для «Истории Пугачевского бунта», – расскажу при изложении событий того периода времени. Теперь же, не отступая от хронологического порядка, обращусь к попытке Соболевского жениться, кажется, на княжне Трубецкой. Ольга Сергеевна называла фамилию, которую я позабыл, а чего не помню, того не помню; привожу беседу Сергея Александровича с моею матерью по этому поводу, происходившую вскоре после известного читателям вечера, когда он выручил дядю Льва из финансовых затруднений.

– Скажу вам по секрету, – начал разговор Соболевский, – что милейший «я» выкинуть фокус-покус a la Кальостро задумал.

– Что такое?

– Экие вы недогадливые! Коли я говорю a 1a Кальостро, значит, разумею сделать то, что для меня, Соболевского, всего труднее. Даю вам пять минут отгадать.

– Никак не могу.

– Не можете? Так я вам для облегчения задам сначала шараду: Mon premier est Sot (мой первый слог глуп).

Mon second est beau (мой второй слог красив). Mon troisieme est laid (мой третий слог дурен). Ce qui fait mon entier («что» составляет мое целое). Ольга Сергеевна, смеясь, повторяет: Sot, beau, laid ce qui.

– Ну, теперь то же самое повторите пять раз скороговоркой: Sot-beau-laid-ce-qui, и что выйдет? Нут-ка!

– Soboleski (Соболевский) без буквы в, – рассмеялась опять Ольга Сергеевна.

– Поэтическая вольность, – расхохотался Сергей Александрович. – Значит, можете разгадать и первую загадку. Что всего труднее для Sot-beau-laid-ce-qui? Карман теперь у него исправен, с неприятелями тоже расправился, а друзьями хоть пруд пруди! Чего же главного недостает после этого?..

– Неужели? – сообразила Ольга Сергеевна. – Теперь или

никогда, – сказал уже серьезно Сергей Александрович. – То-то подшучу над Александром; он мне пророчит умереть бобылем (que je mourrai celibataire), а как выйдет шиворот-навыворот, что тогда-то он запоет? Только до поры до времени держите перед ним все, что вам ни скажу, под спудом.

– Да кто же она?

– Хотите и это знать? Извольте: la princesse Annette. [95]

– Что вы, что вы? Она за вас, думаете, пойдет?

– А почему бы и не так?

– Ни за что не пойдет, бьюсь об заклад: в вас она не влюблена, как вы в нее, я давно замечаю и то и другое; ее старики люди с предрассудками, а «монд» [96] , с которым воюете, их же науськает против вас.

– Ну, все это бабушка еще надвое сказала, – утешал сам себя Соболевский. – Главное, объяснюсь на днях с самой княжной без всяких сватов и свах, что было бы хуже, а что выйдет – на днях узнаете от меня самого, – заверну и скажу. Только, пожалуйста, опять-таки братцам вашим ни полслова…

Будучи всегда господином своих чувств, Соболевский прикинулся очень веселым, попросил Ольгу Сергеевну показать ему альбом, взял перо, нацарапал в нем:

Пишу тебе в альбом и аз,
Сестра и друг поэта [97] Ольга,
Хотя мой стих и не алмаз,
А просто мишура и фольга, —

отпустил еще несколько острот и в заключение раскланялся, объявив: «Vous aurez bientot de mes nouvelles» (скоро получите обо мне известия).

Не проходит двух дней после посещения, и опять является Соболевский к Ольге Сергеевне, радостный, сияющий, как безоблачное майское утро.

Ольга Сергеевна за него тоже обрадовалась.

– Вижу, что могу вас от души поздравить, «Калибан» (она так же, как и ее брат, иногда потчевала Соболевского по дружбе этим прозвищем).

– Как хотите, – отвечал Соболевский, улыбаясь во весь рот.

– Ну (любимое междометие Ольги Сергеевны), счастливый и радостный, светлый жених, рассказывайте, что и как? Что ваша невеста?

– Невеста? – спрашивает Соболевский, продолжая улыбаться, – отказала, и, правда, очень учтиво, а все-таки рекомендовала мне убираться к черту…

Можно себе представить удивление Ольги Сергеевны: по

физиономии гостя она рассчитывала услышать совсем не то.

– А я думала… вы такой веселый…

– А то как же? Плакать прикажете да заставлять прачку возиться с моими носовыми платками? Плакать мне, ей-Богу, некогда, а прачке и без того задаю работы много… Бог ты мой, Бог… – как говорит ваш братец, – вот забавно! А и вы отвечайте-ка на вопрос: Александру Сергеевичу ничего не пробалтывались?

– С какой стати?

– То-то. Вот и отлично. Сам узнает; хорошо, что не побился с ним об заклад не умереть бобылем. А с моей воображаемой невесты я тоже взял слово молчать о моем предложении. Но шутки в сторону. Как сказал, так и будет, разве посватаюсь на том свете на какой-нибудь гурии. А теперь, – заключил по своему обыкновению Соболевский, – ступай домой, милейший «я»: тебе больше тут делать нечего…

Получив отказ от княжны, о которой выразился: «Если не она, так никто не будет моей женой», – Соболевский, действительно, сдержал слово, данное самому себе: не только никогда после того не сватался, но, как я слышал, не был знаком даже ни с какими сколько-нибудь романическими приключениями.

По убеждению моей матери, для Соболевского, как он там ни притворялся, отказ princesse Annette был одним из самых полновесных ударов судьбы, но по железной силе своей воли он и этот удар вынес твердо. Оплакивая в душе одиночество и бессемейную жизнь, Соболевский, странный человек, выражал угнетавшую его скорбь юмористическими выходками. Так, например, купив и обучив пару огромнейших сенбернардских псов, Сергей Александрович заставлял их раскланиваться с гостями, причем приговаривал: «Рекомендую вам моих, с позволенья сказать, детей: вот мой сын – Антон Сергеич, а вот и дочка – Авдотья Сергевна»; иногда же прибавлял полусерьезно: «Других детей никогда и не будет».

После неудачного похода по супружеской части Соболевский в первые зимние месяцы 1830 года посещал великосветские салоны по-прежнему, если еще не чаще. Неблагоприятный исход затеянного предложения не мог долго оставаться для Александра Сергеевича тайной, и Соболевский сам, изложив суть дела своему другу, сказал:

– Ты прав, Пушкин: мне брачных свеч не зажигать, остался в дураках, и, как узнал намедни, в «бомонде» уже затрезвонили, чешут языки, а чтобы загородить глотку, кому следует, нарочно буду ходить в бомонд, по правилу: «где строят против тебя, Соболевский, скандал, туда-то и являйся».

Расчет оказался верным: Сергей Александрович своими

личными появлениями прекратил дальнейшие о нем толки. Эпиграммы Соболевского были тогда в полном ходу, а при виде его сардонической улыбки и представительной фигуры великосветские сплетники прикусили языки.

Пушкин искренно сочувствовал разочарованию Соболевского, а в разговоре о его неудаче с моей матерью высказал свои взгляды в следующих словах:

– Жаль Сергея, и тем более, что причину неудачи он именно приписывает втайне своему происхождению; но он слишком горд, чтобы делиться даже со мной подобными мыслями. Малейший, не говорю нравственный толчок, но нечаянный, по-видимому, двусмысленный на него взгляд вызывает в Сергее ужасные страдания, которые он так артистически прячет под маскою Момуса [98] . Слава Богу, по крайней мере, выручило еще то, что его мать не бросила, а судьба наделила состоянием и редким умом, иначе был бы он, как и все прочие, несчастие которых я изобразил в моей песне очень, очень давно – «Под вечер осенью ненастной». – Помнишь?

Дадут покров тебе чужие
И скажут: ты для нас чужой!
Ты спросишь: где мои родные?
И не найдешь семьи родной!
Несчастный! будешь грустной думой
Томиться меж других детей
И до конца с душой угрюмой
Взирать на ласки матерей.
Повсюду странник одинокий,
Всегда судьбу свою кляня,
Услышишь ты упрек жестокий…
Прости, прости тогда меня.

– А что касается княжны, наклеившей Сергею нос, то я вижу его печаль, несмотря на маску; а потому со всей осторожностью вобью ему в голову, что не он первый, не он последний, и что княжна всякому арбуз поднесет, и никого не любит, точь-в-точь моя «дева». Стихи на мою деву ты не можешь помнить, набросал у Инзова; но нарочно сегодня списал и несу Соболевскому как бы невзначай для большего утешения; уверен, что Сергей запоет, как наш старый друг детства, эмигрант Кашар, своей возлюбленной, которая тоже от него отвернулась:

Vous ne daignez m’aimer?
Eh bien! ne m’aimez pas!

J'aurai bien du chagrin,
Mais je n'en mourrai pas.
(Вы не изволите любить меня?
Ну, что ж! не любите!
Я очень огорчен,
Но я от этого не умру.)

– Послушай же, что подношу Соболевскому, – и дядя прочел:

Я говорил тебе: страшися девы милой!
Я знал: она сердца влечет невольной силой.
Неосторожный друг, я знал: нельзя при ней
Иную замечать, иных искать очей.
Надежду потеряв, забыв измены сладость,
Пылает близ нее задумчивая младость,
Любимцы счастия, наперсники судьбы,
Смиренно ей несут влюбленные мольбы,
Но дева гордая их чувства ненавидит
И, очи опустив, не внемлет и не видит.

Постоянные посетители моих родителей, Дельвиг, Глинка, Плетнев – друзья того же Соболевского, – узнав о случившемся «пассаже», не дали ему и почувствовать, что все и им известно; не говорю уже о моем отце, который, вовсе не интересуясь поэтическими приключениями, избирал тогда предметом разговоров с Соболевским свой конек: исторические исследования и филологические прения, а вести беседы и на эту тему Соболевский был мастер: он первый посоветовал отцу постараться во что бы ни стало получить место консула в Греции, чем отец мой и воспользовался, как я уже говорил во второй части «хроники».

Глава XIX

Вскоре мать моя была очень обрадована приездом из Москвы своей давнишней подруги, жены поэта Евгения Абрамовича Баратынского, Настасьи Львовны, рожденной Энгельгардт; в задушевной беседе моя мать рассказала Настасье Львовне о натянутых отношениях Надежды Осиповны к моему отцу. Баратынская взялась рискнуть дипломатическим шагом и пригласила Александра Сергеевича поехать к Надежде Осиповне вместе. Оба явились к бабке на другой же день, и Настасья Львовна, расхвалив ей как нельзя более Николая Ивановича, выставила нелепость не принимать зятя, не посещать по вечерам дома своей дочери, куда собираются и оба ее сына и прочие знакомые Надежды Осиповны, а следовательно, огорчать эту дочь совершено напрасно.

Надежда Осиповна выслушала Баратынскую не прерывая, а дядя, как всегда бывало, стал грызть себе ногти, нетерпеливо ожидая, что из разговора выйдет.

– Avez vous fni? (Вы кончили?) – спрашивает бабка.

– Je n'ai rien a ajouter de plus. (Не имею ничего прибавить.)

– Et moi, je n'ai plus rien a vous repondre. Changeons de conversation. (И мне тоже нечего отвечать. Переменим разговор.)

Дипломатическая миссия тем и кончилась.

– Ведь я говорил, – сказал, уходя, Александр Сергеевич, – что с моей tres chere mere [99] толковать о ее зяте не стоит.

С грустью передала Настасья Львовна моей матери результат визита.

– Если Надежда Осиповна и меня не послушала, то едва ли другого послушает. Остается одно: послать к ней моего мужа (Евгений Абрамович приехал также из Москвы с женою в Петербург на некоторое время).

Сказано – сделано. Чрез несколько дней приходит к неумолимой бабке Евгений Абрамович.

Приступив к беседе, что называется, «с царя Гороха», Баратынский перешел к христианским правилам о любви к ближнему и всепрощении, а затем высказал необходимость семейной гармонии вообще.

– Знаю, куда метите, но в цель не попадете, – догадалась Надежда Осиповна. – Нельзя ли выбрать для разговора тему поинтереснее?

Таким образом и Евгений Абрамович вышел от Надежды Осиповны с тем, с чем пришел.

Супруги Баратынские, эти два, как выразилась моя мать,

исполненные поэзии меланхолические образа, души один в другом не чаяли; тихий, спокойный семейный их очаг не омрачался никогда и тенью каких-либо взаимных пререканий, а дело выходило очень просто: при отсутствии материальных лишений и забот о насущном хлебе жизнь служила им обширным полем для всестороннего духовного развития и – как сказал Пушкин – чувств добрых. Возвышенный взгляд одного из супругов на земное бытие, воплощенный и в его поэтических творениях, дополнялся таким же взглядом другого, и оба они видели в домашнем очаге единственную свою отраду, единственное счастье.

– Как жаль, Евгений, что я не красавица, – сказала Настасья Львовна мужу в присутствии дяди Александра и моей матери, когда Баратынский похвалил наружность встреченной им какой-то дамы. Случилось это именно в описываемое мною время.

– Ты для меня лучше всех красавиц! – отвечал громче обыкновенного Баратынский, целуя руку жены.

В этом простом ответе, как говорила мне мать, зазвучала такая высокая струна, в нем сказалось столько неподдельного прямого чувства, что и Ольга Сергеевна, и Александр Сергеевич тронуты были до слез, а мать обратилась к дяде с пожеланием:

– Дай Бог тебе, Александр, быть таким мужем и найти такую жену… О незабвенной памяти Настасье Львовне Баратынской, заменившей мне отсутствовавшую мать, буду говорить в свое время.

Итак, зимою 1830 года дядя Александр чаще всего встречал в маленькой гостиной сестры своей, кроме Соболевского, и двух милых его сердцу друзей-сотоварищей по музе, которые гораздо прежде, нежели наложить на себя узы Гименея, послужили Пушкину предметом следующей пародии, на размер одной из баллад Жуковского, если не ошибаюсь, «Аббадонны»:

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили немного,
В лавочку были должны, дома обедали редко.
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком,
в панталонах трикотовых

тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели),
Шли и твердили шутя: какое в россиянах чувство… [100]

В конце января, к большому удовольствию Александра Сергеевича, состоялась в нашем доме встреча его еще с одним давнишним приятелем – экс-гетингенским студентом, а впоследствии царскосельским гусаром, Петром Павловичем Кавериным, удалые шалости которого, подобно шалостям воспетого поэтом-партизаном Денисом Давыдовым «забияки Бурцева», были известны тогдашним военным кружкам. Не чуждый поэтического, отчасти и музыкального таланта, веселый проказник, добряк, душа нараспашку, на войне же беззаветно храбрый воин, Каверин был очень любим товарищами, а Пушкин, всегда легко поддававшийся в юности безотчетным симпатиям, полюбил этого, как Ольга Сергеевна выражалась, кутилу-мученика еще в 1817 году, когда воспел свое сочувствие к его характеру и взгляду на жизнь:

Забудь, любезный мой Каверин,
Минутной резвости нескромные стихи:
Люблю я первый, будь уверен,
Твои счастливые грехи.
Все чередой идет определенной,
Всему пора, всему свой миг:
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.
Пока живется нам – живи,
Гуляй в мое воспоминанье,
Молись и Вакху, и любви,
И черни презирай ревнивое роптанье:
Она не ведает, что дружно можно жить
С Киферой, с Портиком, и с книгой, и с бокалом,
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

К Каверину же относится и следующее четверостишие дяди:

В нем пунша и войны кипит
всегдашний жар,
На марсовых полях он грозный
был воитель,
Друзьям он верный друг,
красавицам мучитель,
И всюду он гусар.

С моим отцом Петр Павлович Каверин сошелся еще в 1820 году на холостой пирушке офицеров лейб-гвардии Конно-Егерского полка, у эскадронного их командира, моего дяди Павла Ивановича Павлищева. Любили Петра Павловича и конные егеря. Приехав же в Петербург в январе 1830 года – или из отпуска, или в отпуск – сказать не могу, Каверин стал ходить к моему отцу почти ежедневно, и к этому же времени относится следующая забавная, но довольно дерзкая шутка Петра Павловича, рассказанная мне матерью и случившаяся в ее гостиной:

Одна из подруг Ольги Сергеевны, фамилии не назову, рыжеволосая, перевалившая за четвертый десяток девица, неравнодушная к Каверину, пристала к нему после обеда с неотвязчивой просьбой написать ей тут же на память какие-нибудь стихи.

Каверин, питавший к просительнице не особенно нежные чувства, спрашивает бумагу и располагается исполнить желание, а нетерпеливая девица становится к нему таким образом, что заслоняет ему свет.

Каверин пишет:
Сижу я в компаньи,
Никого не вижу,
Только вижу деву рыжу,
И ту ненавижу.

Написав комплимент, Петр Павлович сам спохватился и заблагорассудил поправиться так:

– Это я вам, но все-таки не про вас написал, а теперь напишу и вам и о вас.

Затем, поцеловав у обиженной руку, набросал ей тут же какую-то любезность.

– Шалун вы, и больше ничего, – отозвалась подруга Ольги Сергеевны. – Правда, я рыжая, но что меня ненавидите – не верю. Вы никого ненавидеть не можете, а меня право не за что.

Каверин рассыпался в извинениях, и мировая были заключена.

Дядя, – как я уже сказал, – подготовлял тогда статьи в

«Литературную газету», совещаясь о них и с редактором ее Дельвигом, и с ее сотрудником Баратынским, меткою эпиграммою которого Пушкин, между прочим, подкрепил свою статью «о неблаговидности нападок на дворянство», против журналистов, которые попрекают прочих литературных деятелей дворянским происхождением.

Другую заметку о романе «Юрий Милославский» Загоскина, очень понравившемуся Пушкину, дядя прочел шутя Ольге Сергеевне, говоря, что повел в этой статье речь и о ней, разумея ее под мадам Сатрап.

– Хочу, однако, позолотить тебе пилюлю, Ольга, – весело после того обратился он к сестре. – Прочитал тебе рецензию, моя мадам Сатрап, а вот тебе и самая книжка.

И, вручив присланный ему автором романа экземпляр, Пушкин сказал сестре:

– Да будет эта прелесть твоей настольной книгой.

Пушкин был в восторге от «Юрия Милославского», считая его «одним из лучших русских романов», что и сообщил Михаилу Николаевичу в письме от 11 января того же 1830 года.

Говоря сестре о достижении Загоскиным намеченной цели – окончания продолжительного романа (de longue hale-ine), – дядя высказал ей по-французски свои мысли, и как она мне передавала, приблизительно в следующих словах:

«Je felicite Загоскин de coeur et d'ame: son but est atteint. Mais en est-il content? Croyez moi que chacun de nous – poetes ou romanciers-c'est bien egal, – apres avoir fni son ouvrage, devient fort triste, quand il euvoie un ten-dre «adieu» aux pesonnages, quoique crees par son imagination, mais avec les-quels il s'est identife. Ainsi je me suis senti bien mal a mon aise, quand je me separais de mon «Руслан», de mon «Aleko», meme de mon «Нулин». Quand a mon «Онегин», auquel je suis en train de tirer aussi ma reverence – d'autant plus. Ou bien peut etre c'est notre travail par lui meme que nous regrettons? Je n'en sais rien. Mais ecoutez ce que j'ai ecrit, il y a quelques jours la dessus».

(Поздравляю Загоскина от сердца и души; его цель достигнута, но доволен ли он этим? Верь мне: всякий из нас, поэтов или романтиков, все равно, с окончанием своего произведения становится очень печальным, посылая свое нежное «прости» лицам, хотя и созданным воображением, но с которыми он сроднился. Так и я почувствовал себя очень скверно, разлучаясь с моими «Русланом», «Алеко», даже «Графом Нулиным». Что касается «Евгения Онегина», – ему тоже отвешиваю поклон – и того хуже. А может быть, нам становится жаль труда самого по себе? Ничего не знаю; но выслушай, что

написал на днях по этому случаю.)
И дядя прочел сестре наизусть:

Миг вожделенный настал. Окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою,
как поденщик ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?

Пушкин, к тому времени окончив и отделав шестую, приступал к восьмой главе «Онегина», но до мая того же года писал немного. Из числа же написанного показал Ольге Сергеевне стансы митрополиту Филарету, по случаю отповеди сего последнего на элегию «Дар напрасный, дар случайный». Эти стансы, в которых Пушкин, выражая свою признательность московскому иерарху за высказанное поэту увещание, сознается в заблуждениях, оканчиваются прелестным четверостишием:

Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.

Ольга Сергеевна, прочитав эти стансы, заметила брату:

– Поздравляю тебя от души, и дай Бог, чтобы ты чаще проникался такими христианскими чувствами; тогда и сам с собою будешь ладить, и к людям сделаешься снисходительнее, да еще скажу лучше, коль скоро перестанешь задавать желчи работу злыми эпиграммами (последняя твоя эпиграмма на Булгарина и повторение твоей юношеской насмешки на добрейшую Е. Н. П – ву презлые, воля твоя, выходки) – то и будешь себя чувствовать лучше. Вспомни-ка, что я тебе толковала? Эпиграммами и насмешками друзей себе не наживешь, а станешь в противуречие к твоей исповеди перед Филаретом, который, сознаешь, смиряет поэта буйные мечты силой кроткой и любовной.

– Стихи на Булгарина, правда, я написал недавно, а сатиру на поэтессу П., гренадера в юбке, очень давно.

– Стало быть, пора их забыть, а не повторять, да еще при ней, когда она вчера ко мне зашла. Благо глуха и не расслышала, как ты процедил эту песню на нее сквозь зубы и поставил меня в неловкое положение. Поневоле я должна была ей налгать, когда она меня спросила, чему смеюсь.

Александр Сергеевич сам тут рассмеялся и повторил с пафосом эпиграмму:

Зачем кричишь ты, что ты дева
На каждом девственном стихе?

О! вижу я, певица Эва,
Хлопочешь ты о женихе…

С наступлением февраля 1830 года душевное настроение дяди Александра, помимо приближающейся весны, которую, как известно, он терпеть не мог, изменилось к лучшему: Пушкин сделался веселее и добрее.

Глава XX

О милый гость, святое «прежде»,
Зачем в мою теснишься грудь?
Могу ль сказать «ж и в и» надежде?
Скажу ль тому, что было, «будь»?
Могу ль узреть во блеске новом
Мечты увядшей красоту?
Могу ль опять одеть покровом
Знакомой жизни наготу?..

В. А. Жуковский

Предлагая вниманию читателей продолжение моей «Семейной хроники», считаю необходимым заявить еще раз, в разъяснение могущих возникнуть сомнений относительно достоверности сообщаемых мною фактов или бесед, что изложение их основано или на повествованиях моих родителей – повествованиях, занесенных мною, с их же слов, в тетради личных моих долголетних воспоминаний, или же на хранящихся у меня письмах деда и бабки – Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных, наконец, на письмах отца и матери моих – Николая Ивановича и Ольги Сергеевны Павлищевых.

От себя лично я не прибавляю ни одного слова, в особенности там, где говорится о моем дяде, Александре Сергеевиче. Таким образом, на все возражения, которые могут появиться на то или другое место в моей «Хронике», заблаговременно отвечаю: «Слышал от моих родителей или родственников или прочитал в имеющихся у меня письмах».

Приступая к последовательному изложению событий в семействах Пушкиных и Павлищевых, привожу дословно рассказ моей матери о нравственном состоянии дяди Александра в начале 1830 года, в котором, весною, он сделался женихом, а летом и осенью проявил в полном блеске поэтический гений.

При этом считаю необходимым оговориться.

Покойная моя мать Ольга Сергеевна употребляла в беседах со мною главным образом французский язык, а потому, прибегая, для удобства читателей, к русскому переводу многих мест воспоминаний, не могу ручаться за вполне точную передачу характера подлинных выражений.

«1830 год, – говорила мать, – решил судьбу Александра;

я предчувствовала, что этот год послужит ему предвестником к семейному очагу (j'avais le pressentiment que l'année 1830 lui servira d'avant-coureur de son foyer domestique). Еще задолго до того времени меланхолическое, беспокойное настроение брата, его раздражительность, недовольство всем окружавшим не раз побуждали меня высказывать ему, что не добро человеку единому быти, как говорится в Священном Писании, но брат всегда отвечал мне, что семейное счастие не его удел, что его ни одна женщина искренно не полюбит как мужа, а однажды выразил мне довольно странную, почти суеверную идею (une idee assez etrange et quasi superstitieuse): – Боюсь женитьбы, Ольга, более огня: ни мой прадед (Александр Петрович Пушкин [101]), ни дед (Лев Александрович) с своей первой женой [102] , ни прадед с материнской стороны – этот негр [103] – настоящий Отелло, – наконец, ни жена его гуляки-сына – добрейшая наша бабка Марья Алексеевна – счастливы не были. Женитьба обоих Ганнибалов повела к разводам, женитьба бедного дяди Василия Львовича [104] – к насмешкам, а брачные узы прадеда Пушкина и деда Льва [105] – к кровавой развязке. Видно, греческий Гименей и славянское «Ладо» не особенно долюбливают Пушкиных и Ганнибалов. За что же они меня-то полюбят? (Je crains le mariage autant que le feu; ni mon bisaieui Pouchkine, ni mon ai'eul avec sa premiere fernme, ni mon autre bisai'eul – negre et Othello dans toute l'acception du mot – fnalement, ni notre excellente grand'mere – femme de son mauvais sujet de fls, – etaient bien loin d'etre heureux. Le mariage des deux Hannibals n'aboutirent qu' a des divorces, les epousailles du pauvre Василий Львович – au ridicule, et a la fn des fns, les noeuds matrimoniaux du bisa'ieul Pouchkine et de son fls – aux denouements sanglants. Apparemment PHymenee des grecs et le «La-do» de nos ancetres slaves ne favorisent ni les Pouchkines, ni les Hannibals. Pourquoi done m'honoreraient ils de leur grace particuliere?)

На мой ответ, что доводы брата построены на песке, он заметил:

– Уступаю тебе, так и быть, наших стариков, но мало ли что и их ожидает?

(Je te cede nos vieux – ainsi soit-il, – mais on ne peut jurer de rien. Qui sait, ce qu' il les attend encore?)

– На старости-то лет? – Будь покоен, не поссорятся, и подавно (a plus forte raison) не разойдутся. Вот, что называется сказал, – и я рассмеялась.

– Да я не в том смысле, а вообще говорю о несчастиях…

– Которые могут случиться с женатыми и неженатыми, – перебила я, продолжая смеяться.

Брат на это грустно улыбнулся и хотел переменить разговор, но, продолжая беседу на затронутый вопрос, я высказалась ему приблизительно так:

– Тебе, Александр, в мае стукнет ровно тридцать лет, все твои сверстники переженились; остался холостым один Соболевский, да и то помимо воли, а что его за жизнь? Счастье не в богатстве, не во вкусных обедах и сигарах, не в бесцельных визитах, не во временных привязанностях, что и сам сознаешь в твоей элегии: «Не спрашивай, зачем унылой думой», говоря, что «от юности, от нег и сладострастья останется уныние одно»?..

– А время идет, – продолжала я. – Жалуешься давно на беспредметную, по твоему мнению, тоску, а по моему – на тоску одиночества. Не уничтожат ее ни образы, создаваемые твоим поэтическим воображением, не осязаемые, однако, тобою (les objets de votre imagination poetique, qui sont, du reste, impalpables pour vous), ни беседы с друзьями, которых посещаешь, чтобы разгонять тоску. Возвращаешься к себе в Демутову гостиницу – кто тебя встречает, кроме заспанных, бессердечных наемников, с кем обмениваешься живым словом, делишься впечатлениями? а Боже тебя сохрани – заболеешь, кто отнесется тогда сочувственно к твоим страданиям? (qui prendra a coeur tes soufrances?) Ужасно! (Mais c'est horrible!) Пример не далеко: почему на днях умер богач-холостяк В-ий? Потому, что никого при нем не было, кроме двух мошенников-лакеев. Рассчитывали они, когда умрет, завладеть всем, ни к доктору, ни в аптеку ноги не поставили, а барин, находясь в беспамятстве, не имел сил приказать им это сделать. Верь, Александр, истинным другом может быть одна лишь любящая жена, неразлучная с тобою, образованная, взгляды на жизнь которой не пойдут с твоими вразрез, а достоинства характера искупят недостатки твоего, и наоборот. Тогда сделаются невозможными взаимное недоверие, ревность, унизительные, можно сказать, подлые супружеские сцены, и будет вам обоим тепло на свете.

Брат на это возразил:

– Все это хорошо и прекрасно, но спутницу, которую рисуешь мне, найти мудрено, а вернее прогуливаться одному, чем с плохим провожатым. (Tout ceci est bel et bon, mais il me serait bien difcile de trouvir une compagne telle que tu me la dessines, et en tout cas il vaut mieux se pro-mener seul, que mal accompagne.)

Однако в душе брат со мной был совершенно согласен, что, месяца через три, и доказал на деле. О созревавшем тогда в голове его плане предложить решительно son coeur et sa fortune (свое сердце и свое счастье (*фр* .)) Наталье Николаевне Гончаровой брат мне, Бог знает почему, не проронил ни полслова,

а если бы поступил со мною иначе, то я, слышав о семействе Гончаровых много хорошего, обрадовалась бы от души. Между тем, вовсе ничего не предполагая, я уже, по инстинкту, стала подозревать, что Александр принял мои советы к сведению и руководству, когда очень скоро после того он явился не в пример веселее, на скуку не жаловался и, не ругая больше журнальных антагонистов, хохотал только над своей недавно написанной на одного из них эпиграммой, которую и прочитал мне два раза сряду:

Мальчишка Фебу гимн поднес:
Охота есть, да мало мозгу.
– А сколько лет ему? Вопрос.
– Пятнадцать. – Только-то? Эй, розгу!
За сим принес семинарист
Тетрадь лакейских диссертаций,
И Фебу вслух прочел Гораций,
Кусая губы, первый лист.
Отяжелев, как от дурмана,
Сердито Феб его прервал
И тотчас взрослого болвана
Поставить в палки приказал.

Через несколько дней после этой беседы я встретила Александра у моих стариков. Он шутил, смеялся, и прекрасное расположение духа не покидало брата до самого отъезда в марте в Москву, где и решился вопрос о его женитьбе.

И Сергей Львович, и Надежда Осиповна очень удивлялись веселости брата, но расспрашивать его, как что, почему – находили совсем не нужным; не добились бы толку, отлично зная, что брат считал своих родителей не особенно крепкими на язык, точно так же, как и Льва Сергеевича, почему никогда и не пускался с ними ни в какие интимные разговоры. Не говоря и даже не намекая брату о своих догадках, я их высказала сперва Соболевскому, а потом и Петру Александровичу Плетневу, в уверенности, что если Александр выберет себе наперсников, то непременно одного из этих двух господ; однако ошиблась в расчете и отъехала ни с чем: Соболевский, по своей привычке, отделался экспромтом:

Что помышляют ваши братья,
В моей башке не мог собрать я,

—

а Плетнев, улыбнувшись, прищурил глаз, и прищурил – как мне показалось – так многозначительно, что я к нему пристала с вопросами, не затевает ли Александр чего-нибудь особенного. Петр Александрович уклонился удовлетворить мое любопытство, и тоже отделался фразой: «Как же могу знать? Ваш брат мне ничего не говорил; он скорее сказал бы вам, зная вашу скромность, а если бы сообщил мне мимо вас задушевный секрет, то будьте уверены, я не выдал бы и вам вверенной тайны».

На поверку Петр Александрович был совершенно чужд «тайны», но мать сильно его подозревала, так как брат часто сообщал Плетневу многое, что лежало у него на сердце, вполне рассчитывая на неоднократно испытанную скромность преданного ему друга.

Мать никак не понимала, почему дядя, в беседе с нею осенью 1829 года, по возвращении в Петербург из турецкого похода, доказывал ей так энергически необходимость остаться холостым, а между тем скрыл от Ольги Сергеевны, как он заехал на перепутье в Москву и сделал чрез графа Ф.И. Толстого [106] – знакомого Гончаровых – первое предложение Наталье Николаевне, отклоненное тогда будущей его тещей. Поздравив же брата женихом при свидании с ним летом в Михайловском, Ольга Сергеевна попрекнула дядю следующим образом:

– Я, милый друг, ничуть не обижаюсь, что ты не видел надобности быть со мной вполне откровенным, но спрашиваю, что у тебя была за цель скрытничать перед мной, единственной твоей сестрой, и скрытничать до такой степени, что ты почти передо мною клялся оставаться холостяком. Это очень, очень дурно с твоей стороны.

– Но, Боже мой, – возразил дядя, – у меня были на то свои причины. Если я не разглашал кому-либо о моем предложении, значит, считал все это дело несостоявшимся; что же касается моего с тобой разговора, то и в нем не погрешил недостатком чистосердечия: я был как нельзя более уверен, что действительно супружеское счастие не для меня. (Mais, grand Dieu, j'avais mes rai sons. Si je n'ai pas duvulgue a qui que ce soit la nouvelle de ma premiere proposition, c'est que je consideerais toute cette afaire comme non avenue; et a ce qui concerne ma conversation avec vous d'autrefois, je ne manquais nullement de franchise, etant on ne peut plus persuade, qu'efectivemente le bonheur conjugal n'est pas mon fait.)

Ответ Пушкина сестре своей был искренен: он действительно ни по возвращении в Петербург осенью 1829 года, ни в начале 1830 года, не предполагал возобновить предложение вскоре; напротив того: говоря сестре, что желает посетить Китай при

отправлявшейся туда миссии, Пушкин ходатайствовал у Нессельроде определить его чиновником означенного посольства, а 7 января 1830 года писал Александру Христофоровичу Бенкендорфу между прочим следующее: «Генерал! явившись к вашему превосходительству и не застав вас дома, принимаю смелость, согласно вашему позволению, обратиться к вам с моею просьбою. Пока я не женат и не занят службою, я бы желал отправиться путешествовать во Францию или в Италию; в случае же, если на это не будет согласия, я бы просил милостивого дозволения посетить Китай вместе с миссией, которая туда едет»…

Я уже говорил раньше, что затеянная дядей поездка в край дальнего Востока осталась одним лишь pium desiderium (благими намерениями (*лат* .)).

Как бы то ни было, Пушкин – что предчувствовала Ольга Сергеевна – решил в феврале 1830 года положительно покончить с холостой жизнию, поехать в Москву и возобновить сделанное уже предложение; но свое намерение держал в самом строгом секрете и уехал из Петербурга в конце марта, никого не спрашивая; на требование же шефом жандармов [107] объяснения, почему Александр Сергеевич не просил отпуска у кого следует, Пушкин отвечал Бенкендорфу, «что с 1826 года, когда ему высочайше дозволено было жить в Москве, он каждую зиму проводил там, а осень в деревне, никогда не спрашивая предварительного разрешения и не получая никакого замечания, и что это отчасти было причиной и невольного проступка его – поездки в Эрзерум, – за которую он навлек на себя неудовольствие начальства».

За два или за три дня до отъезда Александр Сергеевич посетил дом моих родителей и, встретив там обычных гостей – Льва Сергеевича, Соболевского и Плетнева с супругой Степанидой Александровной [108] , не заикнулся о предпринимаемом путешествии, а разговаривал преимущественно с Плетневым, жалуясь на Бенкендорфа, задерживавшего разрешение к печати «Бориса Годунова», издание которого дядя возлагал на Петра Александровича. [109]

Дождавшись отъезда гостей, дядя сообщил Николаю Ивановичу и Ольге Сергеевне, что на днях собирается в Москву на очень короткое время по своим литературным делам, просил сестру не разглашать об этом, в особенности «старикам» – так называл он родителей, – на что – прибавил он – имеет свои причины.

Тут Ольга Сергеевна поставила брату вопрос, точно ли он едет по литературным делам?

Дядя рассердился:

– Если тебе не сообщаю, почему еду, – сказал он, – то или не хочу, или не могу. (Si je ne vous dis pas pourquoi je pars, c'ets que je ne le peux pas, ou bien je ne le veux pas.)

Уходя же, он просил моего отца, если тот встретит Булгарина, заявить, что последних статей и нападок «Северной пчелы» Александр Сергеевич ему не спустит [110] , а желание Булгарина насолить дяде в кабинете своего Мецената он не сегодня-завтра предупредит письмом того же Бенкендорфа. [111]

Исполнить просьбу дяди отцу моему не довелось: он с Булгариным не встретился. Но с ним встретилась Ольга Сергеевна, где именно – не помню. Булгарин, между прочим, весьма учтивый и обходительный кавалер, стал Ольге Сергеевне «ротитися и клятися», что не он зачинщик ссоры, а ее брат, который стал его, Булгарина, преследовать до такой степени, что он, Фаддей Бенедиктович, пролежал с горя последнее время в кровати, следовательно, Александр Сергеевич, сделав ни в чем не повинного человека больным, посягнул в некотором роде тем самым и на его земное бытие. Если же пострадавший от злых пушкинских эпиграмм и выступал печатно против их автора с критикой поэмы последнего, то отнюдь не как враг, а как «пурист», для которого правильность оборотов русского языка, ясное изложение мыслей – в стихах ли, в прозе ли – дело святое; мысль же задевать Пушкина не в качестве поэта, а в качестве человека Булгарин-де в христианской своей душе не питал, тем более не грозился ставить Пушкину баррикад у «бесценного своего благодетеля Александра Христофоровича Бенкендорфа».
Кстати: Булгарин, не чаявший души в Бенкендорфе, почувствовал впоследствии какую-то нежность к Леонтию Васильевичу Дубельту, которому сообщал все свои взгляды словесно и письменно, называя его «отцом и командиром». В 1853 году я видел у сына генерала Дубельта Михаила Леонтьевича, женившегося тогда на младшей дочери моего дяди поэта, Наталье Александровне, большой бюст Леонтия Васильевича, украшенный следующею надписью:

Быть может, он не всем угоден,
Ведь это общий наш удел,
Но честен, добр он, благороден,
Вот перечень его всех дел!
Ф. Булгарин

Ольга Сергеевна, впрочем, всегда отдавала Булгарину справедливость как очень ловкому журнальному деятелю.

Но возвращаюсь к событиям.

Итак, о намерении Пушкина уехать в Москву никто, кроме моих родителей, не знал, причем Ольга Сергеевна, от которой брат ее ничего до тех пор не скрывал, очень удивлялась, что он утаил от нее цель путешествия, между тем как мог убедиться из предшествовавших поездке разговоров с нею в искренности ее пожеланий семейного счастия.

Покойный издатель сочинений дяди П.В. Анненков в «Материалах для биографии Александра Сергеевича» сообщает рассказ и сделанное Пушкиным предложение семейству Натальи Николаевны, 21 апреля 1830 года, в самый день Пасхи, – рассказ вполне согласный и со словами Ольги Сергеевны.

Упоминая об этом событии, решившем дальнейшую судьбу поэта, Анненков говорит, что «Пушкин до предложения уже писал к своему семейству в Петербург, прося благословения, и что Сергей Львович отвечал сыну 16 апреля 1830 года письмом, выражавшим его живую радость». Затем ответ Сергея Львовича сообщается П.В. Анненковым в одном лишь французском тексте.

Очень жаль, что подлинное письмо дяди, – как говорила мне мать, – затеряно дедом, подобно многим другим посланиям Александра Сергеевича, а потому и не могло быть напечатано ни в одном из последующих изданий пушкинских сочинений.

Описывать радость Ольги Сергеевны, – дядя писал ей уже после своей помолвки в конце апреля, – считаю излишним. Моя мать видела в женитьбе брата на добрейшей Наталье Николаевне залог его счастия.

По рассказу Ольги Сергеевны, родители невесты – Николай Афанасьевич и Наталья Ивановна Гончаровы – дали всем своим детям прекрасное домашнее образование, а главное, воспитывали их в страхе Божием, причем держали трех дочерей непомерно строго, руководствуясь относительно их правилом: «В ваши лета не сметь суждение и м е т ь». Наталья Ивановна наблюдала тщательно, чтобы дочери, из которых Наталье Николаевне, родившейся в роковой день Бородинской битвы, минуло 26 августа 1829 года 17 лет, никогда не подавали и не возвышали голоса, не пускались с посетителями ни в какие серьезные рассуждения, а когда заговорят старшие – молчали бы и слушали, считая высказываемые этими старшими мнения непреложными истинами. Девицы Гончаровы должны были вставать едва ли не с восходом солнца, ложиться спать, даже если у родителей случались гости, не позже десяти часов вечера, являться всякое воскресенье непременно к обедне, а накануне больших или малых праздников слушать всенощную, если не в церкви, то в устроенной Натальей Ивановной у себя особой молельне, куда и приглашался отправлять богослужение священник местного

прихода. Чтение книг с мало-мальски романическим пошибом исключалось из воспитательной программы, а потому и удивляться нечего, что большая часть произведений будущего мужа Натальи Николаевны, сделавшихся в 1830 году достоянием всей России, оставалась для его суженой неизвестною.

Наталья Ивановна, отвечая уклончиво на первое предложение Пушкина и отделываясь обычными: «Наташа еще молода, подождем, да посмотрим», едва ли, в сущности, не рассчитывала на партию, более соответственную ее собственным видам; она едва ли желала связать судьбу 17-летней дочери с судьбою тридцатилетнего поэта, находившегося, – это она знала, – под тайным присмотром Бенкендорфа, и выдать дочь за человека, в глазах которого было, по ее мнению, мало чего «святого». Это последнее заключение Наталья Ивановна выводила из неоднократных разговоров с Александром Сергеевичем. Пушкин, далеко тогда не принадлежа к последователям философов минувшего века, не скрывал, однако, от будущей тещи несочувствие к ее фанатическим, так сказать, ультрамонтанским взглядам и религиозной нетерпимости.

Подобные разговоры между Александром Сергеевичем и Натальей Ивановной влекли часто за собою если не положительные размолвки, то довольно неприятный обмен слов, далеко не содействовавший их гармонии между собою.

Дядя, сообразив, что особенного содействия к успеху его намерений ждать от Натальи Ивановны нечего, и плохо надеясь на главное – а именно на искреннее согласие ее дочери сделаться его супругой, – вероятно, по этим именно причинам и держал в секрете от родных и друзей первое свое предложение, чем покойная моя мать и объясняла мне как молчание перед нею дяди, так и последние разговоры о женитьбе, часть которых я уже сообщил читателям.

В подкрепление всего рассказанного мною выше, со слов покойной Ольги Сергеевны, нахожу не лишним привести следующее место из письма дяди к своей будущей теще, вскоре после неудовлетворительного первого ответа Натальи Ивановны; в письме к теще Пушкин довольно тонко, между прочим, намекает и на то, что он не замедлил ее раскусить, говоря, что его счастию могут помешать посторонние влияния на ее дочь, в сочувствии которой Пушкин тогда очень сомневался.

Вот это место письма: «Привычка и продолжительное сближение одни могли бы доставить мне расположение вашей дочери. Я могу надеяться, что со временем она ко мне привяжется. Если она будет согласна отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство того, что сердце ее остается в

спокойном равнодушии. Но это спокойствие долго ли продлится среди обольщений, поклонений, соблазнов? Ей станут говорить, что лишь несчастная судьба помешала ей заключить другой союз, более соответственный, более блистательный, более достойный ее. Такие внушения, если бы даже они и не были искренни, ей наверно покажутся искренними. Не станет ли она раскаиваться? Не будет ли она смотреть на меня, как на помеху, как на обманщика и похитителя? Не почувствует ли она ко мне отвращения? Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее, но умереть, чтобы оставить ее блистательною вдовою, свободною выбрать завтра же другого мужа, – мысль эта – ад».

Далее честная и любящая душа поэта высказывается в следующих заключительных словах того же письма:

«Я ни за что на свете не допущу, чтобы жена моя терпела лишения, чтобы она не являлась там, где ей предназначено блистать, веселиться. Она вправе требовать этого. Чтобы сделать ей угодное, я готов пожертвовать всеми моими вкусами, страстями, всею моею жизнию, вполне свободною и прихотливою. Но, во всяком случае, не станет ли она роптать, коль скоро положение в свете не будет так блистательно, как ей подобает и как бы я желал?

Таковы мои отчасти опасения. Трепещу при мысли, что вы найдете их слишком уважительными…»

Несогласия между зятьями и тещами вообще, по убеждению русского народа, явление заурядное, – явление почти такое же, как вражда между мачехами и пасынками да падчерицами. Сложившиеся по этому предмету народные поговорки нашли себе оправдание и в отношениях Натальи Ивановны к Александру Сергеевичу.

Основываясь, опять-таки повторяю, на рассказе матери, привожу сказанную ей моим дядей фразу, когда он, будучи женихом, заезжал в конце мая на несколько дней в Михайловское, где поселилась месяца на три Ольга Сергеевна (Николай Иванович оставался в Петербурге):

– Je vous avoue, Olga, en toute franchise, quo je ne me trouve pas dans les bonnes graces de ma future belle-mere; tot ou tard elle me donnera du fl a retordre. (Признаюсь тебе, Ольга, со всей откровенностью, что будущая моя теща не благоволит ко мне; рано ли, поздно ли наделает мне хлопот.)

И действительно, дядя оказался если не пророком, то угадчиком: в первые месяцы после свадьбы, как говорила мне мать, Наталья Ивановна постоянно огорчала Александра Сергеевича, наговаривая на него молодой жене. Наговоры эти в конце концов вывели Пушкина окончательно из терпенья, и,

опасаясь их последствий, новобрачные сократили свое пребывание в Москве, в которой, однако, и без того засиделись довольно долго после свадьбы. Рассказав и тогда о своих неприятностях сестре, Пушкин напомнил ей вышеприведенную свою французскую фразу.

И это переданное моей матерью сведение о неудовольствиях между тещею и зятем я должен, для сомневающихся в правдивости моего рассказа, подкрепить выдержкою из следующего письма Пушкина к Наталье Ивановне: «Я был вынужден, – пишет он, – оставить Москву во избежание разных дрязг, которые в конце концов могли бы нарушить более чем одно мое спокойствие; меня изображали жене как человека ненавистного, жадного, презренного ростовщика; ей говорили: с вашей стороны глупо позволять мужу и т. д. Сознайтесь, что это значит проповедовать развод. Жена не может, сохраняя приличие, выслушивать, что ее муж – презренный человек, и обязанность моей жены – подчиняться тому, что я себе позволяю. Не женщине 18 лет управлять мужчиною 32 лет. Я представил доказательства терпения и деликатности, но, по-видимому, я напрасно трудился. Я люблю собственное спокойствие и сумею его обеспечить».

Жалуясь на свои отношения к будущей теще, дядя Александр говорил сестре в присутствии Николая Ивановича (на скромность его Пушкин вполне рассчитывал), что и в Москве нашлись «люди добрые», которые постарались заблаговременно изобразить его Наталье Ивановне в самом невыгодном свете, как опасного вольнодумца и самого развратного гуляку. Эти подпольные клеветы повели отчасти к первому уклончивому ответу Натальи Ивановны на предложение дяди летом 1829 года.

Догадываясь о причинах отказа, Пушкин счел его тяжкой обидой и на другой же день после неудачи уехал на Кавказ, несмотря на просьбы приятеля, Павла Воиновича Нащокина, погостить в Белокаменной подольше.

Приняв же второе предложение Пушкина, 21 апреля 1830 года, будущая теща в то же время не упускала из вида и прошлогодних толков, подкреплявшихся, по-видимому, спорными беседами с женихом.

Сообщив все это Ольге Сергеевне в Михайловском, брат ее выразился, что Наталья Ивановна часто принимала его далеко не радушно (elle me recevait bien souvent comme l’embleme de la fdeiite dans un jeu de quilles), заводила с ним ссоры ни за что ни про что (des querelles d’al-lemand) и под разными пустяшными предлогами отложила тогда свадьбу до сентября, затем, как известно, до февраля следующего года, а дед невесты, Афанасий Николаевич, бомбардировал Александра Сергеевича разными

скучнейшими поручениями по своим денежным делам и ходатайствам. [112]

Впрочем, Пушкин сообщил свои неприятности только моей матери и Петру Александровичу Плетневу, ни промолвив ни Сергею Львовичу, ни Надежде Осиповне. В конце же августа, будучи огорчаем образом действий Натальи Ивановны и сомневаясь в успехе, дядя Александр сообщает письменно невесте, Наталье Николаевне, следующие мысли:

«Если ваша мать решилась расторгнуть нашу свадьбу и вы согласны повиноваться ей, я подпишусь под всеми мотивами, какие ей будет угодно привести мне, даже и в том случае, если они будут настолько основательны, как сцена, сделанная ею мне вчера, и оскорбления, которыми ей угодно было меня осыпать. Может быть, она права – и я был неправ, думая одну минуту, что я был создан для счастия. Во всяком случае, вы совершенно свободны; что же до меня, то я даю вам честное слово принадлежать только вам или никогда не жениться».

Коснувшись переданных мне матерью сведений о размолвках Пушкина с будущей тещей, я поневоле отступил несколько от последовательного изложения, к которому и возвращаюсь.

Как посмотрела Надежда Осиповна на известие о помолвке сына – сказать не могу, так как ничего не слышал об этом от моей матери. Знаю только, что мой дед, получив от Александра Сергеевича окончательное письменное извещение о том, что он сделался женихом, был вне себя от радости и сию же минуту поскакал к дочери сообщить, под строжайшим, однако, секретом, отрадную весть и позвать ее к себе на семейный обед; но в то же время, опасаясь нахлобучек Надежды Осиповны, огорчил как нельзя более мою мать, обойдя приглашением Николая Ивановича. Кроме дочери, Сергей Львович пригласил находившегося тогда в Петербурге князя Петра Андреевича Вяземского, умолчав ему, однако, о причине экстренной трапезы; на обед явился и дядя Лев, сопровождаемый своим другом Соболевским. Оба они тоже еще ничего не знали.

В конце обеда торжествующий хозяин приказывает раскупорить вторую сверхштатную бутылку шампанского и, возвысив голос, читает письмо сына. Принимая поздравления и пожелания и обнимая гостей, нервный хозяин плакал и смеялся…

Глава XXI

Весною 1830 года положение моего отца было незавидным и в экономическом и в служебном отношении. Не получая из обещанных тестем средств ни копейки, он, кроме весьма ограниченного жалованья в качестве чиновника Иностранной коллегии, не имел никаких постоянных источников дохода; литературные труды не представляли ему верного обеспечения, несмотря на довольно значительный спрос переведенных им романов; окончены были также его командировки в следственную комиссию над польскими мятежниками и в архив Главного штаба для пересмотра документов по турецким войнам; затем впереди не предстояло никаких шансов выпутаться из финансовых невзгод, почему Соболевский и советовал ему хлопотать о должности консула в Греции, но, как я уже говорил в первых главах моей хроники, старания не увенчались успехом. Вместо ожидаемого, отец получил должность столоначальника по турецким делам в Азиатском департаменте, а затем должность заведующего библиотекой того же департамента.

Но он, не унывая, работал изо всех сил: продолжая сотрудничество в газете Дельвига, занимался переводами и, несмотря на все разочарования, подготовлялся к дипломатической деятельности, тщательно изучая языки – новогреческий, турецкий и персидский.

Мать моя опасалась, подобно мужу, денежных долгов хуже огня; а потому весной того же года решилась, без дальних околичностей, заявить Сергею Львовичу, что коль скоро он не может облегчить положение ее и зятя, то дозволил бы ей провести лето в Михайловском. Дед согласился, и в июне Ольга Сергеевна туда уехала. Отец же, оставаясь на городской квартире, отдал две комнаты внаймы одному из товарищей по службе.

Здоровье матери, во время пребывания ее в Михайловском, значительно поправилось, а общество ее соседей – Вульфов и Ганнибалов, было ей как нельзя более приятно.

К этому же времени относятся письма к ней деда и бабки из Петербурга, откуда они выехали в деревню позже. Привожу в переводе на русский язык те из них, в которых говорится главным образом о Пушкине.

В письме от 19 июля бабка сообщает: «Александра здесь еще нет, а госпожа Малиновская, приехавшая вчера из Москвы, сказала мне, что он очень озабочен; впрочем, его надо ожидать с минуты на минуту; он должен был отправиться после отъезда госпожи Гончаровой в Ростов. Лев едет завтра утром, и мы

провожаем его до Царского Села, где находится теперь и Алексей Федорович».

«Надеюсь, милая Ольга, – пишет между прочим 22 июля Надежда Осиповна, – что деревенский воздух тебе благоприятен, а твое здоровье восстановится совершенно. Александр наконец с нами. Приехал он в прошлую субботу – в тот самый день, в который я отправила на почту мое письмо к тебе. Проведя целый день вместе, мы простились со Львом. Наш храбрый капитан уехал в воскресенье; провожали мы его до Царского, возвратились сегодня ночью и начинаем уже готовиться к отъезду. С нетерпением ожидаю мгновения обнять тебя.

Свадьба не состоится раньше сентября: говорить об этом с Александром я почти не имела времени: у нас были за обедом гости, днем принуждена была выйти из дома с княгиней Трубецкой, а вечером Александр ушел к себе отдыхать. Он очарован своей Наташей и видит в ней божество. В октябре располагает приехать с нею в Петербург. Александр очень рад, что ты в деревне, надеясь, что это принесет тебе большую пользу, а Михайловский воздух рассеет черные мысли. Вообрази, он совершил летом сентиментальное путешествие в Захарово; отправился туда один, лишь бы увидеть место, где провел несколько годов своего детства. Рассказывал он об имении старика Гончарова, которое можно назвать великолепным. Гончаров предоставляет своей внучке Наталье Николаевне триста душ в Нижнем, а мать – двести душ в Яропольцах. Малиновские отзываются о семействе Гончаровых как нельзя лучше, а по их словам, Наталья Николаевна – ангел. Поручаю тебе передать обо всем этом Прасковье Александровне [113] , будучи убежденной в ее участии. Не пишу ей сегодня, в надежде скоро с ней увидеться. Прощай, милая Ольга, здесь мне тебя недостает, и приеду в Михайловское тебя увидеть. Трубецкие, Талызины кланяются, а Леон, уезжая, поручил мне очень нежно тебя обнять».

«Александр приехал вчера, – прибавляет к письму бабки Сергей Львович. – Нашел он меня на Невском проспекте, когда я сидел на скамейке, близ Публичной библиотеки. Он только что выходил тогда из кареты, думая отправиться ко мне пешком. Тут стали мы обниматься, размахивать руками, разговаривать и пошли потом рука об руку к нам. Мама была очень удивлена, застав его, когда воротилась домой. Леон уехал в воскресенье, что прочтешь или уже прочла в ее письме. Дай Бог, чтобы мой старший был счастлив с любезной спутницей, которая, не сомневаюсь, постарается доставить ему жизнь, чуждую всяких огорчений, ибо этот славный малый именно создан для того, чтобы его любили. Даю ему часть моего Болдина; тут он хочет

скоро ехать да хорошенько его осмотреть. Мое почтение Прасковье Александровне и всем девицам. Сердечно желаю увидеть их всех в Тригорском, говорю сущую правду».

«…Послезавтра мы наверное выезжаем (в Михайловское), – сообщает бабка от 25 июля, – и увидимся скоро, милая Ольга; но прежде отъезда было бы желательно получить письмо от Леона. Александр пробудет здесь недолго; тем не менее, до отъезда в Болдино, он хочет сделать нам визит в Михайловском дня на два. Свадьба состоится в сентябре; думаю возвратиться в Петербург пораньше, чтобы отправиться потом в Москву, потому что нам будут предстоять разные хлопоты. Вот все, что скажу тебе сегодня: следуем за этим письмом. Александр был у Герминии [114] , а вчера даже был в ее ложе. Простилась я с Трубецкими, которые поручают себя твоей памяти, точно так же, как и Дельвиги. Твой брат тебя обнимает. Спокойна ли ты? Имеешь ли все, что тебе нужно? Впрочем, все это сами увидим, и ставлю тебе, следовательно, праздный вопрос, так как это письмо последнее перед нашей встречей».

Как видно из этих писем, брат поэта, Лев Сергеевич, по истечении срока своего отпуска выехал из Петербурга обратно на Кавказ – к месту расположения Нижегородского драгунского полка – на другой же день после возвращения дяди Александра и провел с ним не более суток. Путь дяди Льва лежал через Москву, почему Александр Сергеевич, расставаясь с ним в Царском, вручил «храброму капитану» следующее письмо от 20 июля для передачи Наталье Николаевне: «Имею честь вам представить моего брата, которого вы находите таким хорошеньким; независимо от того, что он мне брат, но при всем том умоляю вас принять его благосклонно. Мое путешествие было до смерти скучное. Никита Андреевич купил мне бричку, которая сломалась на первой станции – я починил ее булавками; на второй та же история, и так далее. Наконец, я нагнал в нескольких верстах от Новгорода вашего Всеволожского: у него сломалось колесо. Мы окончили путешествие вместе, толкуя много о картинах князя Г. Петербург мне кажется уже довольно скучным, и я рассчитываю сократить мое пребывание здесь, насколько могу. Завтра начнутся мои визиты вашим родным…» и проч.

Когда именно Пушкин заезжал в Михайловское – в последних ли числах июля, или же в первых числах августа, – сказать не могу. Кажется, впрочем, первое вернее, так как Пушкин уже 10 августа выехал из Петербурга в Москву.

Встретясь в Михайловском с сестрой и вторично с родителями, Александр Сергеевич, как я упомянул выше, рассказал по секрету сестре своей обо всем с ним случившемся.

Затем сколько дней он пробыл в Ганнибаловской вотчине – тоже наверно не знаю.

Между тем Сергей Львович получил частным путем из Москвы известие о внезапной болезни своего брата и задушевного также друга – Василия Львовича. Дед не придавал этому известию особенного значения, а Надежда Осиповна, по-прежнему, не упускала удобного случая подтрунивать над некоторыми странностями, присущими характеру деверя. Одну лишь Ольгу Сергеевну посетило однажды предчувствие, что болезнь ее дяди не простая, – предчувствие, выразившееся в следующем ее – как она называла – пророческом видении, или сне.

Сон моей матери был такого рода: ей пригрезилось, будто бы Василий Львович появился перед нею в костюме адепта одной из находившихся прежде в Москве лож «вольных каменщиков» (членом которой он в действительности состоял в начале двадцатых годов нынешнего века), одетый в белую мантию с вышитыми масонскими символическими изображениями. Василий Львович – вернее, его призрак – держал в правой руке зажженный светильник, а в левой – человеческий череп.

– Ольга, – сказал призрак, – я пришел тебе объявить большую радость. Меня ожидает в среду, двадцатого августа, невыразимое счастие. Посмотри на белую мантию: знак награды за мою беспорочную жизнь; посмотри на зажженный в правой руке светильник – знак, что всегда следую свету разума; посмотри и на этот череп – знак, что помню общий конец и разрушение плоти. – На вопрос же племянницы, какое ожидает его счастие, призрак, исчезая, ответил: «ни болезни, ни печали», и ответил, как ей показалось особенно громко, отчего она проснулась и долго не могла опомниться под влиянием противуположных чувств: скорби, страха и радости.

Не прошло трех недель после описанного сновидения, как Василий Львович Пушкин отошел в вечность, именно в среду 20 августа 1830 года.

Глава XXII

По возвращении из Михайловского Александр Сергеевич пробыл в Петербурге очень короткое время. Он отправился в Болдино и на пути своем посетил Москву, где и был свидетелем кончины горячо его любившего дяди поэта Василия Львовича Пушкина, «Нестора Арзамаса» [115] , который, будучи первым руководителем своих племянников, имел на них, подобно бабушке Марье Алексеевне Ганнибал, самое благотворное влияние и определил Александра Сергеевича в лицей, куда привез его из Москвы.

Тебе, о Нестор Арзамаса,
В боях воспитанный поэт,
Опасный для певцов сосед
На страшной высоте Парнаса,
Защитник вкуса, грозный Вот!
Тебе, мой дядя, в новый год
Веселья прежнего желанье
И слабый сердца перевод —
В стихах и прозою посланье.

Василий Львович скончался еще не в очень преклонных летах; он переступил только четырьмя месяцами пятидесятилетний с годом возраст, так как родился 27 апреля 1779 года.

Александр Сергеевич застал дядю на смертном одре, накануне кончины. Страдалец лежал в забытьи, но, как сообщал дядя в письме Плетневу от 9 сентября того же года, «узнал его, погоревал, потом, помолчав, сказал: «как скучны статьи Катенина» [116] и более ни слова.

При произнесенных умиравшим словах, – говорит в своих воспоминаниях свидетель последних дней Василия Львовича, приехавший тогда из Петербурга князь Вяземский, – Александр Сергеевич вышел из комнаты, чтобы «дать своему дяде умереть исторически; Пушкин, – прибавляет Вяземский, – был, однако же, очень тронут всем этим зрелищем и во все время вел себя как нельзя приличнее».

Достоверность заявления старинного друга Василия Львовича подтверждается отчасти и вышеозначенным письмом Александра Сергеевича Плетневу, в котором он, приводя слова умиравшего, говорит: «Вот что значит умереть честным воином на пути» le cri de guerre a la bouche (с бранным кликом).

Дядя Александр искренно оплакивал невозвратимую для него потерю родственника – первого наставника и друга, – причем, опасаясь, что роковое известие может подействовать на Сергея Львовича Бог знает как, написал о случившемся секретно в Тригорское Прасковье Александровне Осиповой, с просьбою подготовить как отца, так и Ольгу Сергеевну исподволь, и в то же время отнюдь не намекать об этом Надежде Осиповне, так как она могла бы проболтаться. Прасковья Александровна выполнила возложенное на нее поручение как нельзя дипломатичнее, на что дядя Александр и выразил ей признательность в сентябре из Болдина в следующих строках:

«Я очень доволен, что мой отец, благодаря вам, благополучно перенес известие о смерти Василия Львовича. Признаюсь, я очень боялся за его здоровье и его расслабленные нервы».

Пушкин, немедленно по кончине своего дяди, которому и закрыл глаза, в присутствии сестры покойного Елизаветы Львовны Сонцовой, мужа ее Матвея Михайловича и их дочерей девиц Ольги и Екатерины, принял на себя все распоряжения относительно похорон.

Вся, что называется, Москва, в которой Василий Пушкин стяжал по своему христианскому добродушию и подвигам благотворительности общую популярность, сопровождала прах его к месту вечного упокоения. Отдать Василию Львовичу последний долг явились депутации от всех местных учебных заведений и литературные деятели всех направлений, как-то: Погодин, Полевые, Дмитриев, Языков, Шаликов, а во время отпевания в церкви Никиты Мученика служивший протоиерей, говоря в прочувствованной проповеди о христианских добродетелях усопшего, указал и на подъятые им труды на пользу отечественного слова.

Опровержением попавшейся мне под руку немецкой статьи, напечатанной в современном лейпцигском издании «Die Petersburger Gesellschaft» («Петербургское общество» (*нем.*)) за 1880 год, будто бы «дядя Пушкина Василий Львович скончался в качестве дряхлого старика, с произведением Беранже в руках» (Der Oheim Puschkine Wassili Lwowitch starb als Greiss mit dem Beranger in den Handen), служит хранящееся у меня французское письмо его племянницы, Ольги Матвеевны Сонцовой, к моей матери. Извлекаю из него в переводе следующие строки: «Только сегодня, милая кузина, могу тебе писать. Нет уже на земле нашего ангела! Смерть его меня поразила до такой степени, что я сама тяжело занемогла; кроме того, не решалась первая сообщить тебе весть о жестоком ударе, поразившем всех нас, и Александр, по моему мнению, прекрасно поступил, что поберег Сергея

Львовича, передав ему печальную новость через других, с соблюдением всевозможных предосторожностей.

Покойный расстался с здешним миром как истый христианин. Будучи прикован к смертному одру, дядя не переставал взывать к божественной благости: он просил читать себе Священное Писание, и ни одна мирская мысль его не посещала. А потому в утешительных словах Евангелия он почерпал всю свою безропотность, которая не изменяла дяде до последнего издыхания. Дядю соборовали, и он не подвергся ужасным мучениям агонии»…

«Бедный Василий Львович Пушкин, – пишет, между прочим, из Остафьева от 25 августа князь Вяземский, – скончался 20-го числа в начале третьего часа пополудни. Я приехал к нему часов в одиннадцать. Смерть уже была на вытянутом лице. Однако узнал меня, протянул уже холодную руку и на вопрос Анны Николаевны [117] , рад ли он меня видеть (с приезда моего из Петербурга я не видал его), отвечал довольно внятно: «Очень рад». После этого раза два хотел что-то сказать, но уже звуков не было. На лице его ничего не выражалось, кроме изнеможения. Испустил он дух спокойно и безболезненно, во время чтения молитвы при соборовании маслом. Обряда не кончили: помазали только два раза. Накануне он был уже совсем изнемогающий»…

Характеризируя моего деда Василья Львовича, князь Вяземский говорит, «что черты младенческого его простосердечия могут составить любопытную главу в истории сердца человеческого: они придавали что-то смешное личности его, но были очень милы».

Страсть же автора «Опасного соседа» прочитывать встречному стихи собственного изделия, а также и незлобивость кроткой души его начертал довольно удачно задушевный его приятель и собрат по литературному искусству И.И. Дмитриев в следующих стихах шуточной своей поэмы «Путешествие Василия Львовича Пушкина в Париж и Лондон» (стихи говорятся от имени героя этой баллады, т. е. В.Л. Пушкина):

Я, например, люблю, конечно,
Читать мои куплеты вечно,
Хоть слушай, хоть не слушай их…
Люблю и странным я нарядом,
Лишь был бы в моде, щеголять,
Но словом, мыслью, даже взглядом,
Хочу ль кого я оскорблять?

Глава XXIII

Бывало, бывало,
Как сердце мечтало,
Как сердце страдало,
И как замирало,
И как оживало…
Но сколько не стало
Того, что бывало!..
Так сердце пленяло,
Так мир оживляло,
Так светло сияло,
Бывало, бывало…

Мятлев

Моя мать, как я уже говорил, предчувствовала кончину Василия Львовича, а потому не особенно удивилась роковому известию, сообщенному ей Прасковьей Александровной Осиповой, которой и отвечала, что она таинственным образом была уже подготовлена к постигшему ее тяжкому удару.

Об усопшем мать говорила мне следующее: «Дядя мой, Василий, был, могу сказать, ангелом-миротворцем между моими родителями, искренним другом моим и моих братьев, готовым для нас всем пожертвовать, и если бы он, силою судьбы, не был разлучен с нами в те именно минуты, когда его благодетельное слово могло послужить нам спасительным предостережением, то многое было бы этим самым словом предупреждено и устранено, а главное, он сумел бы доказать Надежде Осиповне всю несправедливость ее поступков с Николаем Ивановичем и тем самым избавить меня от нравственных страданий, которые я так долго и так безвинно переносила».

До начала октября мать оставалась в Михайловском. Отец мой не выезжал из Петербурга. Будучи назначен начальником библиотеки Азиатского департамента, он имел тогда полную возможность изучать греческий и восточные языки, все еще в надежде получить консульское место в Афинах, или Константинополе, или же, по крайней мере, в Тегеране; дальнейшее пребывание его в Петербурге становилось невозможным, при ограниченном жалованье и отсутствии всякой материальной поддержки со стороны Сергея Львовича, а сотрудничество в «Литературной газете» барона Дельвига и переводы иностранных романов если и устраняли до некоторой

степени его денежные затруднения, но не представляли собою ничего прочного.

В конце концов, физическая натура отца, хотя и довольно крепкая, не выдержала: работая без устали по ночам, он в половине сентября заболел серьезно. Тут-то явились к нему на выручку барон Дельвиг и Петр Александрович Плетнев, неоднократно доказывавшие ему на деле свое особенное расположение. Дельвиг привел к нему доктора-специалиста и снабдил отца заблаговременно значительным гонораром за подготовленные и предположенные журнальные статьи, а Петр Александрович, приняв также к сердцу физические страдания отца, который, не желая тревожить жену, не писал ей о своей болезни ни полслова, счел необходимым, тайно от больного, уведомить по почте от себя Ольгу Сергеевну обо всем подробно, вследствие чего она выехала из Михайловского немедленно и, возвратясь к мужу, окружила больного самыми нежными заботами.

Месяца через два отец поправился настолько, что мог приняться за труды с прежней энергией.

Плетнев, будучи семью годами старше дяди Александра – он родился 10 августа 1792 года, – любил Пушкина всей силой своей возвышенной души.

– Такие друзья, – говаривала мне моя мать, – рождаются веками. Едва ли кто любил моего брата в такой степени, как Плетнев, что и доказывал, можно сказать, беспрестанно; за то и брат платил Петру Александровичу такими же теплыми чувствами, делясь с ним задушевными тайнами наравне со мною, даже больше. Любя Александра, Плетнев был также искренно расположен к брату моему Льву и ко мне, показывал теплое свое сочувствие Николаю Ивановичу, а Дельвиг, в особенности Баратынский, Жуковский, князь Вяземский и Карамзин, видели в Плетневе образец всего высокого».

По словам матери, Плетнев был богат друзьями (il etait riche en amis); благочестивый христианин, примерный муж, отец, уважаемый всеми воспитатель и наставник юношества, он не знал, в течение всей своей жизни, не только ни одного врага, но и ни одного недоброжелателя. Петр Александрович безусловно ни о ком не отзывался резко и, будучи снисходительным к человеческим слабостям, всегда умел открывать в каждом хорошие стороны.

Однажды моя мать заметила Плетневу, что он, по всей вероятности, ради шутки изобразил себя в одном из своих стихотворений мрачным мизантропом, так как никогда общества не избегал, а, будучи приятным собеседником, слишком даже

любил человечество. Эти стихи мать знала наизусть, никогда не могла вспоминать о них без веселой улыбки и выразила автору, что мысли, им изложенные, вовсе не «Плетневские», а скорее «кюхельбекерские». Плетнев на замечание Ольги Сергеевны сам рассмеялся.

Привожу, кстати, помянутые стихи, напечатанные в подаренном Ольге Сергеевне Дельвигом альманахе его «Северные цветы» за 1826 год:

Я мрачен, дик, людей бегу,
Хотел бы иногда их видеть;
Но я не должен, не могу:
Боюсь друзей возненавидеть.
Не смею никого обнять,
На чьей-нибудь забыться груди;
Мне тяжело воспоминать,
Мне страшно думать: это люди…

Говоря о Петре Александровиче Плетневе, не могу не сказать о нем несколько слов из моих личных воспоминаний.

Петра Александровича я имел счастие встретить в первый раз в 1849 году у моей тетки, вдовы поэта, Натальи Николаевны, – тогда уже Ланской, – на даче Строганова, близ Черной речки; будучи отвезен в Петербург отцом, который меня определил в закрытое учебное заведение, я провел в доме тетки все лето. В то время, как известно, происходила венгерская кампания, почему второй муж Натальи Николаевны, генерал-адъютант Петр Петрович Ланской, выступил в поход из Петербурга в западные губернии с вверенным его командованию лейб-гвардии Конным полком, а тетка, оказавшая мне приют, поселилась на Строгановой даче с детьми от первого и второго брака и с незамужней своей сестрой Александрой Николаевной Гончаровой. [118]

Хотя я был весьма обласкан Натальей Николаевной, но отсутствие родителей, тоска о месте рождения, где я провел все детство, подействовали на мой характер: я подвергся ностальгии – в полном смысле слова ностальгии, которая промучила меня затем не один год.

При всяком удобном случае я удалялся в окружающий дачу небольшой садик мечтать о покинутом мною месте родины, воображать себе знакомые мне иные сады, иные дачи, дома, улицы, иную реку, причем нередко давал волю самым горьким слезам.

В одну из таких тяжелых минут, когда я сидел на скамейке

под деревом и мучительно рыдал, закрыв лицо руками, меня потрепали по плечу и спросили доходившим до души, симпатичным, тихим голосом:

– О чем плачешь, бедное дитя?

Таковы были первые услышанные мною слова от приехавшего посетить тетку Петра Александровича Плетнева, в то время ректора Петербургского университета.

Я взглянул на его добрейшее лицо, бросился в объятия незнакомцу, и… пуще разревелся.

Петр Александрович сел рядом со мною на скамейку, выпытал от меня всю мою краткую биографию и, узнав, что я сын Ольги Сергеевны, удвоил утешения и отрадные мне ласки.

Плетнев остался у тетки обедать, а потом попросил у нее разрешения похитить на несколько часов четырнадцатилетнего меланхолика, чтобы разогнать его тоску на своей даче и возвратить мою личность назад под надежным, как он выразился, конвоем.

Плетнев нанимал тогда летом уже более двадцати лет одну и ту же дачу Кушелева, за Лесным институтом, у так называемой Беклешовки, в деревянном, довольно невзрачном по наружности, доме; этой даче он оставался верен, как помню, до 1855 года включительно.

Навсегда останется у меня в памяти проведенный у Петра Александровича вечер и оказанный мне радушный прием его второй супругой Александрой Васильевной.

С Плетневым, его супругой и дочерью от первого брака, вышедшую замуж за г. Лакиера, встречался я затем нередко в 1850 и 1851 годах в доме Настасьи Львовны Баратынской, а после переезда моей матери на жительство в Петербург поступил, в 1852 году, в число студентов здешнего университета под начало незабвенного мне человека. С 1852 года до самого своего отъезда за границу Плетнев виделся очень часто с моею матерью, в особенности же в течение летнего времени с 1853 по 1855 год, когда Ольга Сергеевна проживала тоже на дачах Лесного института.

Плетнев был, по отношению к моему дяде, с 1822 года до конца жизни поэта самым близким лицом и, повторяю, самым искренним другом. Принимая деятельное участие в издании бессмертных творений Пушкина, Плетнев подвергся вследствие этого тайному надзору (что видно, между прочим, из напечатанного в книге Я.К. Грота письма Дибича к петербургскому генерал-губернатору П.В. Голенищеву-Куту-зову от 23 апреля 1826 года), взял на себя посредничество в деле снятия с нашего поэта опалы, издал в 1826 году мелкие

стихотворения Пушкина, в 1827 году – «Евгения Онегина», в 1829 году немало содействовал разрешению появления в свет «Бориса Годунова» и всегда неусыпно заботился об улучшении материальных средств нашего поэта. Дядя же сообщал Плетневу свои планы, и в задушевных с ним разговорах, и в чистосердечных письмах извещал его о ходе своих поэтических занятий, не утаивая от этого преданного друга постигавшие поэта неприятности, а насколько ценил дружбу и высокую личность Плетнева, можно как нельзя лучше убедиться из следующих красноречивых строк посвящения дяди Петру Александровичу в 1828 году четвертой и пятой главы «Евгения Онегина»:

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты…

После чрезвычайно жаркого лета 1830 года появилась страшная гостья – холера, которая шла с берегов Каспия в двух направлениях, а именно: с одной стороны – чрез приволжские губернии на Москву, а с другой – по Тереку и Кубани – в землю донских казаков, Новороссийский край, Подольскую губернию и Бессарабскую область. Появилась, наконец, она в Москве, и всякий, кто располагал какими-либо средствами, бежал оттуда. В числе спасавшихся в деревню оказались и сестра деда Сергея Львовича, Елизавета Львовна Сонцова, с мужем и общими дочерьми, приезжавшие в Москву по случаю предсмертной болезни Василия Львовича. Незадолго до вторичного отъезда их в свою отчину – село Коровино (Зарайского уезда Рязанской губернии), Елизавета Львовна писала племяннице, Ольге Сергеевне, об угрожающем Москве бедствии следующее: «В Москве, на прошлой и на этой неделе, было очень много внезапных заболеваний холерой: умирают скоропостижно в ужасных судорогах. Из Москвы кто может – бежит. Наш добрейший (notre excellent) Голицын [119] , который поручил мне очень тебе кланяться, я его видела в прошлый понедельник, употребляет все меры (il se met en quatre). Заводятся больницы, будут устроены заставы. Приезжающие подвергнутся двухнедельному карантину; сообщаться, как от многих слышала, с подмосковными губерниями можно будет только чрез Коломну, Богородск и еще через два или три места – какие – не спросила.

Скажу лучше: письма будут прокалывать и окуривать, а мосты скоро совсем снимут. Вообрази, что на днях пьяные мужики приколотили чуть не до смерти двух (другие говорят пять) докторов. Слышала еще, что на прошлой неделе полупьяный дьячок собрал, будто бы, на улице каких-то фабричных, и кричал: «Не лечитесь у немцев лекарей. Они-то самая болезнь и есть». Дьячка арестовали, но нашлись и другие подобные ему люди: народ застращивают вторым пришествием, а за эти россказни с дурачков еще деньги берут. Дай Бог завтра же нам выбраться, не то не выпустят».

Письмо это Ольга Сергеевна сообщила деду и бабке, которые стали сильно беспокоиться об Александре Сергеевиче, так как из письма Елизаветы Львовны не знали, виделась ли она с ним и здоров ли он. Дядя же на их письма и в Москву и в Болдино не отвечал ни строчки. Конец тревоге положил Петр Александрович Плетнев: он написал Ольге Сергеевне, известив ее, что получил от Пушкина письмо из Болдино, куда Александр Сергеевич приехал из Москвы здравым и невредимым. В письме к Плетневу Пушкин подсмеивается над холерой следующим образом: «Около меня «колера морбус». Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что забежит он в Болдино да всех нас перекусает, того и гляди, что к дяде Василию отправлюсь, а ты и пиши мою биографию».

В подобном же шуточном тоне Александр Сергеевич писал впоследствии из Болдина барону Дельвигу, посылая ему стихи для «Северных цветов». «…Посылаю тебе, барон, – пишет дядя, – вассальскую мою подать, именуемую «цветочною» по той причине, что платится она в ноябре, в самую пору цветов. Доношу тебе, моему владельцу, что нынешняя осень была детородна, и что коли твой смиренный вассал не околеет от сарацинского падежа, холерой именуемого и занесенного к нам крестовыми воинами, т. е. бурлаками, то в замке твоем – «Литературной газете» – песни трубадуров не умолкнут круглый год».

Письмо это Дельвигу из Болдина от 4 ноября 1830 года оказалось последним: через два месяца и десять дней Антона Антоновича не стало.

Неудовольствие же свое по случаю холеры, расстроившей его планы свидания с невестой, дядя высказывает в письмах к ней:

«…В окрестностях у нас cholera morbus (очень миленькая персона), и она может удержать меня дней двадцать лишних…»

«…Будь проклят тот час, когда я решился оставить вас и пуститься в эту прелестную страну грязи, чумы и пожаров – мы только и видим это…»

«…Наша свадьба, по-видимому, все убегает от меня, и эта чума с ее карантинами – разве это не самая дрянная шутка, какую

судьба могла придумать? Мой ангел, только одна ваша любовь препятствует мне повеситься на воротах моего печального замка (на этих воротах, скажу в скобках, мой дед некогда повесил француза, un outchitel, аббата, Николь, которым он был недоволен…»

«…Мы окружены карантинами, но эпидемия еще не проникла сюда. Болдино имеет вид острова, окруженного скалами. Ни соседа, ни книги.

Погода ужасная. Я провожу мое время в том, что мараю бумагу и злюсь…»

«…Передо мной теперь географическая карта; я смотрю, как бы дать крюку и приехать к вам через Кяхту или через Архангельск. Дело в том, что для друга семь верст – не крюк; а ехать прямо в Москву значит семь верст киселя есть (да еще какого? московского!). Вот, поистине плохие шутки. Je ris jaune [120] , как говорят пуасардки…»

Желая выехать из Болдина, дядя за два дня до предполагаемой, но несостоявшейся поездки жаловался и Прасковье Александровне Осиповой, говоря, что «по случаю проклятой холеры он не может добраться до Москвы, как желает, так как его оцепляют со всех сторон карантины, и Бог знает сколько месяцев употребит на проезд 500 верст, которые, в обыкновенное время, проезжал в сорок восемь часов».

Нашествие холеры, расстроившее поездку Пушкина и приковавшее его к Болдину до декабря, дало ему возможность проявить в полном блеске свой гений и подарить русскую литературу и общество многими замечательными произведениями.

– Брат Александр, – заметила мне однажды мать, – будучи суеверным, не лишен был и мнительности, а потому, в сущности, совсем не легко относился к эпидемии, вызвавшей самые строгие правительственные меры. Напротив того, он обращал на нее серьезное внимание, стараясь избегать излишеств в пище, о чем и говорил мне при свидании в следующем году.

Здесь будет кстати сделать, со слов моей матери, небольшой комментарий к «Летописи села Горохина», написанной Пушкиным также во время его невольного заключения в Болдине.

При свидании с сестрою, по возвращении своем в Петербург, Александр Сергеевич сказал ей, что помещенное в «Летописи села Горохина» стихотворение мифического лица Архипа Лысого идет как нельзя лучше к беспечности и непрактичности в сельском хозяйстве Сергея Львовича. Вот эти стихи:

Ко боярскому двору

Аким староста идет.
Бирки в пазухи несет,
Боярину подает.
А боярин смотрит,
Ничего не смыслит.
«Ах ты, староста Аким!
Обокрал бояр кругом,
Село по миру пустил,
Старостиху подарил»…

На вопрос матери, почему дядя не хотел подписать своего настоящего имени под прелестными повестями «Станционный смотритель», «Метель» и «Гробовщик», а приписал их небывалому «Белкину», Пушкин отвечал, что он так поступил, не желая подвергаться лаянью газетных шавок, что подтверждается и в одном из писем его к Плетневу. Наконец, относительно сочиненной Пушкиным в Болдине же «Родословной» Ольга Сергеевна заметила брату, что он напрасно потратил столько поэзии, так как вызвавшая ее ничтожная статья редактора «Северной пчелы», напечатанная в угоду личному недоброжелателю Пушкина (графу Уварову), не стоит торжественной выставки галереи предков, а «Родословная» вооружит только против дяди семейства М – х, Р – х, С – х, К – х и других лиц, родичей которых Александр Сергеевич затронул.

Предсказание Ольги Сергеевны сбылось, и, как впоследствии выразился князь Петр Андреевич Вяземский, «распространение этих стихов («Родословной») вооружило против Пушкина многих озлобленных врагов, и более всего вооружило против поэта, незадолго до его кончины, целую массу влиятельных семейств в Петербурге».

Задерживаемый обстоятельствами в деревне, Пушкин два раза пытался выехать оттуда, но принужден был, вследствие принятых против распространения эпидемии мер, всякий раз возвращаться назад; в ноябре же был задержан в Платовском карантине, почему приехал в Москву не раньше первых чисел декабря.

Глава XXIV

Осенью того же 1830 года отец мой, по выздоровлении, вновь принялся за служебные занятия и литературные труды, стараясь выйти, во что бы ни стало, из стеснительного материального положения. Надежды его на скорое получение консульского места в Греции не осуществились, вследствие неблаговоления начальника Азиатского департамента Родофиникина, о чем я уже говорил в первых главах моей хроники. Не осуществилось и намерение отца получить подобное же место в Северо-Американских Штатах, и он продолжал биться как рыба об лед.

17 (29) ноября 1830 года вспыхнуло польское восстание, начавшееся, как известно, избиением многих русских в Варшаве. Подробные сведения о кровавых событиях этого дня дошли до Петербурга не скоро, за недостатком удобных средств сообщения. Мои родители ничего еще не знали, когда их неожиданно, поздно вечером, посетил большой приятель отца, Марков, товарищ по службе и музыкальному искусству – гитарист. Явился Марков очень встревоженный и показал полученное от знакомого письмо, извещавшее о насильственной смерти общего их друга, генерала Жандра.

Отец и мать, знавшие очень хорошо покойного Жандра, были поражены и его смертию, и всем происходившим в Варшаве.

Прочитав письмо знакомого, Марков сказал, что, по всей вероятности, мятежи придется подавить силою, а затем завести в Царстве Польском совершенно другой административный порядок, следовательно, потребуются уже не польские, а наши русские правительственные деятели.

– Вот где бы тебе послужить недурно, Николай Иванович, – заключил Марков.

Эти слова Маркова отец принял к сведению и воспользовался его дружеским советом.

1831 год решил участь и дяди моего, и отца: Александр Сергеевич, в феврале, связал судьбу с избранной им спутницей недолговременного, но дорогого – для каждого русского – земного бытия, а Николай Иванович, в том же феврале, выехал на новую для него деятельность, в Привислянский край, где и остался, сверх ожидания, на целых сорок лет.

И для моего дяди, и для моих родителей 1831 год начался как нельзя печальнее: 14 января общий друг их, барон Антон Антонович Дельвиг, перешел в вечность, вследствие сильной простуды. Болезнь в скором времени приняла такой оборот, что не осталось никакого сомнения в злополучном ее исходе.

Последнее время Антона Антоновича волновали неприятности с цензурою, обратившею особенное внимание на его «Литературную газету», после появления статьи Александра Сергеевича «О выходках против литературной аристократии»; в особенности же неприятно подействовал на Дельвига сделанный ему строгий выговор за четверостишие Деляви́ня «на памятник жертвам июльских дней» – четверостишие, о котором Пушкин в письме к Плетневу, еще до кончины Дельвига, отозвался, как о сущей безделице, называя ее «конфектным билетцем».

Полагают, что эти неприятности и были, отчасти, причиной болезни, но, по уверению моего отца, Дельвиг обладал крепкими нервами, а перед болезнью, последовавшей, как я сказал выше, от простуды, он виделся очень часто с моими родителями, всегда был весел и шутил по-прежнему.

Как бы ни было, болезнь Антона Антоновича пошла быстрыми шагами; отец ежедневно заезжал осведомляться о больном, и сведения оказывались самыми неутешительными, о чем он и сообщал Ольге Сергеевне, исподволь подготовляя ее к более нежели прискорбному для нее и ее брата событию.

Угасший поэт был только годом старше Александра Сергеевича и почти годом моложе Ольги Сергеевны, так как родился в 1798 году – в праздник Преображения.

О кончине Дельвига, в среду 14-го числа, мать узнала на другой день, в четверг, от своего мужа. Отец, возвращаясь домой накануне из театра, зашел к 11 часам вечера по пути на квартиру больного и вызвал прислугу с целию узнать о положении страдальца. Оказалось, что за два или за три часа перед приходом моего отца Дельвиг уже был бездыханен.

Придя домой, отец не решился на ночь тревожить жену горестным известием. Затем подробности о несчастии сообщил Ольге Сергеевне в четверг же и пользовавший ее доктор.

Кончина Антона Антоновича огорчила мою мать до глубины души, а отец, сотрудник покойного, лишился в лице Дельвига большого своего приятеля. Ольга Сергеевна, не желая быть первым вестником горя, ничего не написала брату, который вовсе не знал о болезни друга и еще за неделю перед смертью Антона Антоновича выражал удивление в письме Плетневу в шуточном тоне, почему Дельвиг не поместил ни одной строчки от себя в «Северных цветах» на наступивший год.

О кончине Дельвига сообщил Александру Сергеевичу Плетнев; дядя отвечал ему, 21 января, прочувствованным письмом, говоря, что смерть Дельвига первая им оплаканная, и никто на свете не был ему ближе покойного, который из всех

связей детства один остался на виду. «Без него мы точно осиротели; считай по пальцам, сколько нас? ты, я, Баратынский – вот и все», – заключает в том же письме Пушкин.

Дядя затем поручил Плетневу вручить вдове 4000 рублей из долга покойному Сергея Львовича.

Ольга Сергеевна, присутствовавшая на похоронах Дельвига, навещала вдову его ежедневно. Софья Михайловна, в одну из печальных бесед с моей матерью, говорила, что со времени случившегося, за год до смерти мужа, странного приключения в доме Дмитриева (см. главу V «Семейной хроники») она постоянно томилась относительно мужа недобрыми предчувствиями.

После смерти Дельвига обнаружилась непонятная пропажа ценных бумаг на весьма значительную сумму. [121]

Дядя Александр, чтивший память друга, а потому сочувствовавший всем, кто был к нему близок, порешил, посоветовавшись с П.А. Плетневым, взять на себя в пользу родных умершего издание «Северных цветов», что и исполнил. Последняя книжка альманаха, изданного дядей, вышла в 1832 году.

Мать моя рассказывала, что брат ее Александр и Дельвиг питали один к другому не только искреннюю дружбу и уважение, но и какую-то особенную прелестную детскую нежность. Так, например, при встрече целовали друг другу руки, о чем говорили мне и покойные: лицейский их товарищ Сергей Дмитриевич Комовский и Анна Петровна Виноградская (бывшая Керн), которая приводит это и в своих воспоминаниях, напечатанных в «Библиотеке для чтения» за 1850 год.

Глава XXV

Я упомянул выше, что отец мой принял к сведению совет Маркова испытать счастие служебной карьеры в Царстве Польском, где не сегодня завтра потребуются не одни военные, но и другие русские силы по всем отраслям административной деятельности. К тому же отцу не был чужд и местный язык: он выучился говорить, читать и писать по-польски из любознательности еще в 1820 году в Тульчине, состоя на службе при главнокомандовавшем второй армией – своем крестном отце, фельдмаршале П.Х. Витгенштейне, а в 1828 году воспользовался случаем применить познания к делу, во время командировки Министерством иностранных дел в учрежденную при Сенате следственную комиссию, где занимался переводами французских и польских бумаг на русский язык.

Между тем, поход против польских мятежников был объявлен в январе 1831 года, а по случаю вспыхнувшего в Привислянском крае мятежа Высочайше было учреждено Временное правление Царства Польского, под председательством действительного тайного советника Энгеля, хорошего знакомого, даже давнишнего приятеля деда Сергея Львовича, а назначаемым в состав нового учреждения чиновникам присваивалось весьма приличное содержание.

Мать моя, узнав об этом у стариков Пушкиных, посоветовала мужу воспользоваться удобным случаем и просить Сергея Львовича замолвить о себе доброе слово Энгелю. Старик Пушкин хотя и не оказывал дочери и зятю никакой материальной помощи, но должен был постигнуть в конце концов, что проживаться Николаю Ивановичу в столице совершенно невозможно при ничтожном жалованье и непрочной литературной работе. К тому же эта последняя статья дохода с кончиной барона Дельвига почти иссякла, а в перспективе оставались долги, пугавшие моих родителей гораздо больше приближавшейся холеры.

Сергей Львович рассудил и взвесил, что если посодействует зятю в получении места с обеспечивающим его будущность постоянным и более значительным вознаграждением, то совершенно успокоит совесть относительно дочери, в пользу которой не выговорил у Александра Сергеевича, при подарке ему Болдина, ни гроша дохода. Поэтому дед, зайдя к моей матери, выслушал очень благосклонно просьбу Николая Ивановича похлопотать у Энгеля, и мало того: предложил на другой же день заехать за отцом и вместе с ним отправиться ко вновь назначенному председателю.

Свидание состоялось; Энгель, подробно осведомившись у отца о его прохождении службы и занятиях, тотчас же изъявил готовность удовлетворить желание Николая Ивановича и не замедлил снестись с Азиатским департаментом о прикомандировании коллежского асессора Павлищева к новому учреждению.

Официальное назначение отца на новую должность состоялось 24 февраля, а 5 марта он покинул Северную Пальмиру. Ольга же Сергеевна осталась в Петербурге до окончательного водворения мужа в Варшаве.

Александр Сергеевич, который тогда только что обвенчался и к которому я вскоре возвращусь, предложил сестре сдать квартиру и приехать к нему в Москву провести с ним и с его молодой женой наступающую весну, а потом возвратиться с ними в Петербург вместе. Ольга Сергеевна отклонила предложение брата, считая совершенно излишним присутствие на квартире новобрачных третьего лица.

Не склонилась она и на просьбы «стариков» переселиться к ним.

Глава XXVI

18 февраля состоялась, наконец, после долгих проволочек, свадьба дяди Александра в Москве, и именно в церкви Старого Вознесения, на Никитской.

– Родился я в Вознесение, женился у Вознесения и уверен, что мне суждено умереть в праздник Вознесения, – говорил он неоднократно моей матери.

Подтверждением истины этих слов служат напечатанные П.В. Анненковым следующие строки: «Важнейшие события его (Пушкина) жизни, по собственному его признанию, все совпадали с днем Вознесения. Незадолго до своей смерти он задумчиво рассказывал об этом одному из своих друзей и передал ему твердое свое намерение выстроить со временем в селе Михайловском церковь во имя Вознесения Господня. Упоминая о таинственной связи всей своей жизни с этим великим днем духовного торжества, он прибавил: «Ты понимаешь, что все это произошло недаром и не может быть делом одного случая».

Александр Сергеевич венчался, как сказано, 18-го числа, в день, который считал неблагополучным, что и вспомнил, когда запели «Исайя ликуй» (см. главу III «Семейной хроники»). Кроме того, мать мне рассказывала, как ее брат, во время обряда, неприятно был поражен, когда его обручальное кольцо упало неожиданно на ковер, и когда из свидетелей первый устал, как ему поспешили сообщить после церемонии, не шафер невесты, а его шафер, передавший венец следующему по очереди. Александр Сергеевич счел и эти два обстоятельства недобрыми предвещаниями и произнес, выходя из церкви: tous les mauvais augures! [122]

Сообщаемое я слышал не от одной моей матери. О случае с кольцом и шафером говорили мне и посаженый отец дяди, князь Петр Андреевич Вяземский, и супруга его, Вера Феодоровна, хотя и не присутствовавшая тогда на свадьбе, и, наконец, посаженая мать, тогда графиня Елизавета Петровна Потемкина (вышедшая вторично замуж за сенатора Ипполита Ивановича Подчаского).

Иконофором при обряде был малолетний сын князя Вяземского, живой свидетель происходившего, многоуважаемый князь Павел Петрович, а родитель его и другое близкое по чувствам к Александру Сергеевичу лицо, Павел Воинович Нащокин, уехав прежде новобрачных, встретили Пушкиных с образом на новой квартире молодой четы.

Наталья Николаевна очаровала всех простотою обращения, приветливостью и ровным характером, не говоря уже о редкой

наружной красоте. В Петербурге, куда новобрачные прибыли весной, все отнеслись к ней сочувственно, а воспетая слепцом поэтом И.И. Козловым графиня Фикельмон [123] , встретившая новобрачных в Царском Селе, описывает их в письме от 25 мая князю Петру Андреевичу Вяземскому следующим образом:

«Жена Пушкина – прекрасное создание, но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастия. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем: у Пушкина видны все порывы страстей, у жены – вся меланхолия отречения от себя».

По словам моей матери, графиня Фикельмон далека была от всякого сочувствия к Пушкину, что доказала как нельзя лучше в последний год его жизни, о чем и скажу в своем месте.

Пушкин, за месяц до отъезда с женой из Москвы, просил П.А. Плетнева приискать ему дачу в Царском Селе, куда и положил переселиться после возвращения в Петербург и свидания с родными.

В первых числах мая Александр Сергеевич приехал и на другой день явился с супругой к своей, как он выражался, «старшей».

Свидание между братом и сестрой было, как мне рассказала мать, самое трогательное; брат в подробности сообщил ей все с ним случившееся в течение отсутствия, во время которого он писал Ольге Сергеевне не более трех или четырех раз, и то лишь несколько строк. Мать, попрекнув его молчанием, заметила, что ревнует его сильно к Плетневу.

– Если писал Плетневу, – отвечал дядя, – значит, писал вместе с этим и тебе; ведь знаю, что Плетнев посещал тебя часто и все рассказывал. Зачем же писать мне было два раза одно и то же? К тому же Плетнев мой первый друг, от которого ничего не скрываю; он занимается и моими делами.

Тут дядя объявил сестре, что он остановился по-прежнему в Демутовой гостинице, но, не теряя времени, переезжает на днях в Царское, где будут жить и «старики»; Александр Сергеевич убеждал сестру к нему переехать, к его просьбам присоединилась и Наталья Николаевна, но Ольга Сергеевна отвечала, что решительно не хочет их стеснять.

Отъезд молодых в Царское состоялся 25 мая. Сергей Львович и Надежда Осиповна хотели в июне перебраться туда же, а мать осталась в городе.

Между тем материальные средства Ольги Сергеевны находились в состоянии весьма незавидном, что можно видеть из ее письма к мужу. Перевожу его по-русски:

«Мне очень прискорбно, любезный и милый Николай, что

тебе приходится ждать, как пишешь, еще целых четыре месяца содержания, какое тебе обещались. Я в тонких. К счастию, брат Александр меня выручил, сам предложил, тотчас после приезда, свою помощь; я было отказалась, думая получить кое-что от продажи твоих романов и, согласно обещанию отца, две тысячи пятьсот рублей; но, вообрази, оба твои романа переводные «Патриции» и «Богемская девичья война» нейдут вовсе, а нейдут, кажется, потому, что Булгарин, в пику Сомову, который расхвалил эти романы в другой газете, не сказал о них в своей ничего; печатание же на твой счет другого твоего перевода романа Манцони «I promessi sposi» [124] , ничего не принесло, кроме заявлений от твоего переписчика, наборщика, разных претензий, и вместо дохода плачу им деньги. Избавь меня ради Бога от хлопот; в них ничего не смыслю. А Сергею Львовичу плут его управляющий догадался доложить, т. е. выдумать, будто бы не может выслать 4000 рублей оброка, которые будто бы получил и которые у него на другой день украли! Сергея Львовича можно и пожалуй уверить, что и пузыри – фонари (on peut lui faire croire que des vessies sont des lanternes); а он обещался именно дать мне 2500 рублей из этих же денег…

Александр, – продолжает Ольга Сергеевна, – в особенности же моя невестка, с которой я совершенно подружилась, убедительно меня просят переехать к ним. Но как же могу на это согласиться? Стеснять их, во-первых, отнюдь не хочу; во-вторых, образ их жизни совсем противуположен моему: Александр будет и в Царском посещать большой свет, а она, как я заметила, очень любит изысканные туалеты. Меня же большой свет не прельщает, а рядиться в мои годы уже не пристало. А тут поневоле, если перееду к ним, должна буду выезжать вместе с братом и невесткой, причем и одеваться не хуже ее. Говорю откровенно, могу ли я это делать при твоем ограниченном жалованье и твоих, правда очень почтенных, литературных трудах, но которые, кроме изъяна, с тех пор как Дельвиг на том свете, не приносят ни гроша?»

Нравственное состояние Ольги Сергеевны тоже было очень печально.

«Не получая известия, томлюсь и беспокоюсь: жив ли ты? – пишет она по-французски, – не убит ли?., все может статься. Недобрый гений вдохновил тебя променять спокойный семейный очаг на проклятую Польшу. От души ее ненавижу. Как же могу быть спокойной? Приглашаешь меня приехать. Но куда же? Из Гродно, вероятно, вас ушлют в другое место, а там в третье и десятое. На поездку надо денег и денег, а откуда мне их взять, чтобы одной поехать тебя отыскивать в неприязненном крае, где

свирепствует и холера, хотя в глазах моих это, положим, ничего не значит. Но главное, меня родители отсюда не выпустят амазонкой на польскую войну; слишком от них завишу; зимой собираются в Москву да настаивают, чтобы и я туда же с ними поехала, коль скоро польская война затянется. То ли бы дело, если бы ты потерпел немного и выжидал место консула? Переселились бы в лучший климат. А теперь? Бог знает, увижу ли тебя? Застрянешь в дурацкой Польше (avec votre sotte de Pologne!!). Да жив ли ты? откликнись ради Бога.

Вчера из Царского приехал ко мне Александр. Говорит, что мои мысли о тебе пустяки и что ты пороху не нюхаешь. Но этим меня не утешил. Мои старики тоже скоро уедут отсюда. Оба были у меня на днях вечером, но удовольствия не доставили: хотелось быть одной, а мать была так весела и так подшучивала над моим одиночеством, что у меня раздиралось сердце и я не могла удержаться от слез. Заходит ma tres chere mere (моя драгоценная матушка (фр.)) ко мне часто; вчера провела весь вечер и играла в вист, когда, сверх ожидания, пожаловали и Марков, и Плетнев, и Аничков; все трое тебе кланяются. Вдова Дельвига – она переехала на новую квартиру – в отчаянии. Иду сейчас к ней, а завтра меня навестит Александр; приехал вчера по делам из Царского, куда меня хочет увезти на целых три дня. Так пристал, что не знаю, как отделаться…

Брат Леон, как говорит Александр, желал остаться на Кавказе драться с горцами, но Хитрово во что бы то ни стало хочет, чтобы подрался с поляками. Вероятно, с ним встретишься…»

Между тем отец мой, отправившийся на театр военных действий в августе, вступил с нашими победоносными войсками в Варшаву.

Прежде чем обратиться к изложению быта моей матери и ее родных в 1831 году, считаю более для себя удобным привести предварительную заметку моего отца, касающуюся пребывания его в том же году в Варшаве, а затем сказать несколько слов о находившемся на театре военных действий дяде Льве Сергеевиче Пушкине и приятеле его Сиянове.

«Въезжая в Варшаву, – пишет отец, – я прямо направился к книжной лавке и тут же накупил книг для пополнения моей небольшой библиотеки, которую оставил в Петербурге. При выборе книг обращал я внимание на край, куда судьба призывала меня на долгое время. Случай же захотел, чтобы мне отвели квартиру у Кох – го, старого воеводы-кастеляна, которому, не знаю почему, я очень понравился и который потом снабжал меня историческими книгами, рассказывая красно про старину Польши, как свидетель трех ее разделов. Это разбудило во мне

страсть к истории, заснувшую с того времени, как я предался музыке и литературе. Захотелось знать, чего не знал; но желание это должно было подчиниться требованиям службы, когда, с окончательным открытием Временного правления, я туда явился.

Председатель Ф.И. Энгель почтил меня доверенностью принимать и докладывать просьбы, поступавшие к нему сотнями от поляков, просьбы и дельные, и вздорные, как бывает в такое смутное время. Я принимал просьбы, расспрашивал просителей, нужнейшее отмечал карандашом на самой просьбе и докладывал, исполняя немедленно его приказания. Все это я делал один с помощью писца: теперь занимается этим целое отделение чиновников. Кроме того, на дому поправлял перевод с польского на русский журналов Временного правления, поминаю об этом как о предмете полулитературном и в последствиях своих для меня важном. Перемарывая почти до слова жалкий перевод Б – го, я вырабатывал, даже создавал язык, который мало-помалу усвоили себе позднейшие переводчики журнала, а изложение бюджета мне стоило большого труда.

Это последнее занятие имело влияние на ход моей службы. Поправляя Б – го, я неосторожно однажды пошутил насчет его работы: оказалось, что я поправлял не Б – го, а самого Пр – го, директора канцелярии. Пр – ий надулся и, как после я узнал, нажаловался на меня, потому что председатель привязался однажды к слову соткновение, употребленному в бумаге вместо столкновение, и дал мне чувствовать с некоторую важностью, «что и я могу ошибиться». Обнаружилось взаимное охлаждение; вдобавок я занемог. В таком положении представилось мне вдруг, чрез посредство Валериана Федоровича Ширкова, с которым я жил на одной квартире, предложение перейти к генерал-интенданту для занятий по иностранной переписке, производившейся с нашими консулами прусским и австрийским по предмету продовольственных припасов, из коих одни из Пруссии доставлены были поздно, когда в них уже надобность минула, а другие из Австрии доставлены не сполна и увлекли комиссионера под суд. Личное, дружеское ко мне расположение генерал-интенданта Погодина, блестящие обещания, а с другой стороны неприятные отношения с начальством Временного правления, наконец, приманка новизны (тогда двадцатидевятилетнему молодому человеку), очень еще привлекательной, решили мой выбор: я простился с администрациею края, на поприще которой полагал быть полезнее других, и, согласно моей записке, поданной главнокомандующему действующею армиею, откомандирован в интендантство для сношений на иностранных языках.

Удаление мое от Временного правления, кажется, не понравилось председателю, судя по тому, что он исходатайствовал награды всем, кроме меня.

Сейчас же после моего перевода мне поручили временно управлять канцеляриею генерал-интенданта. Хотя я и сидел с утра до вечера за бумагами, иногда самого неприятного содержания, но нет худа без добра: управляя канцелярией, я стал изучать одну из важнейших частей военной науки – способы и тайны продовольствия армии; познакомился при этом с краем и с того же времени начал подготовлять материалы для статистики Польши…»

С дядей Львом Сергеевичем отец мой встретился в Варшаве, вскоре после вступления туда наших войск. Прибыв с Кавказа на театр военных действий в свите Паскевича, «Пушкин Лев», по своему обыкновению, явил чудеса храбрости, особенно на приступе Варшавы, 26 августа.

Счастие и здесь ему улыбнулось: какая-то невидимая рука его хранила. Находясь среди самого жестокого огня и отчаянно работая саблей, дядя остался невредим; одна лишь лошадь под ним была убита.

Лев Сергеевич очень обрадовался встрече с зятем и явился к нему на следующий же день с своим приятелем Сияновым.

П.Г. Сиянов – воин и поэт – служил еще во время Отечественной войны в сформированном тогда Мамоновым полку «бессмертных гусар». Особенно сблизившись со Львом Сергеевичем во время персидского похода, он, подобно своему приятелю, не прочь был кутнуть, но, как оба они выражались, «gardant toujours le calme du comme il faut». [125]

– Знаете ли, любезнейший друг, Лев Сергеевич, какая между нами разница? – спросил он Пушкина.

– Не знаю.

– А вот какая. Хотя мы оба, Боже сохрани, никогда во время пирушек не выходим из границ приличия, – а выпить можем на славу, – но шампанское прекращаю тогда, когда начинаю рассказывать собутыльникам о французской кампании, а вы перестаете пить ром, когда поведете рассказ о персидской.

Лев Сергеевич и Сиянов решили поселиться на одной квартире с Николаем Ивановичем. Квартира эта состояла из двух просторных комнат; одну занимал отец, вместе с приятелем и сотрудником композитора Глинки Валерианом Федоровичем Ширковым, а другая пустовала.

Сделав это отступление, я в следующей главе вернусь к рассказу о случившемся в тот же период времени, с июня по сентябрь 1831 года, с моей матерью, Александром Сергеевичем и

их родителями.

Глава XXVII

…Знакомы мне и радость и печаль,
И дней моих уже лампада догорает,
Но часто прежнего мне жаль:
О нем в раздумии душа моя мечтает…

Мятлев

Лето 1831 года моя мать оставалась большею частию в Петербурге, не имея возможности следовать за своим мужем; провела она все это время в постоянных беспокойствах и душевных волнениях. Не зная с точностью местопребывания Николая Ивановича и получая от него известия крайне неисправно, вследствие военных обстоятельств, Ольга Сергеевна предавалась самым черным мыслям и писала отцу наугад в Минск, Брест, Белосток, Пултуск, Плоцк, смотря по доходившим до нее слухам о движениях армии.

К душевным беспокойствам Ольги Сергеевны присоединялись и вещественные заботы, при совершенной неизвестности, что будет дальше.

Дед и бабка наняли в половине июня дачу в Павловске, поблизости к Александру Сергеевичу, переехавшему с молодой женой в Царское; в деревню же порешили летом 1831 года не заглядывать и держаться вдали от разных забот о сельском хозяйстве, на которое Сергей Львович, что называется, тогда и рукой махнул.

Привожу за это время несколько выдержек из подлинных французских писем, насколько они касаются быта моей матери и ее родных.

«Никогда мне так не было грустно, как в настоящую минуту, – пишет Ольга Сергеевна мужу в конце мая, – воображаю тебя среди неустранимых опасностей, в крае враждебном, зараженном холерой, представляя тебя то больным, то убитым злодеями-мятежниками. Не поверишь, в каком я отчаянии, что ты уехал в Польшу, а как нарочно – через неделю после твоего отъезда в этот глупейший край – открылась вакансия консула в Смирне. Вакансию предложили твоему же бывшему товарищу в Азиатском департаменте Габбе; но, по болезни жены, которая не могла за ним следовать, он отказался и подыскал взамен себя

другого сослуживца. Очень, очень жаль. Служил бы ты не в Польше, рискуя жизнью, а жил бы со мной неразлучно в прекрасном климате, при весьма порядочном, можно сказать, завидном всякому жалованье, а теперь, Бог весть, какая будущность нас ожидает.

Александр в Царском; не знаю, куда уедут дражайшие [126] родители. Ничего не решили: в деревню или в Павловск.

Брат Александр занимает прелестную дачу в Царском. Что хочешь, того просишь; прогостила я у новобрачных три дня, а новобрачные, кажется, друг другом очень довольны. Моя невестка (Наталья Николаевна) очаровательна во всех отношениях (ma belle coeur est charmante sous tous les rapports). О ее наружности скажу, что она из таких красавиц, каких встретишь редко не только в России, но и в Европе, и Александр совершенно прав, называя ее Мадонной; в самом деле: греческий, вполне правильный профиль, рост, гораздо выше среднего, стройный стан, при некоторой худощавости, безукоризненные черты лица – все это, привлекая общее внимание, придает внешности его жены какое-то величие, а главное, она предоброе дитя (tout a fait bonne enfant) и, кажется, далеко не глупа (bien loin d'etre sotte). Правда, еще застенчива, но и этот милый порок с летами пройдет. Дай Боже, чтобы она сделала брата счастливым и успокоила бы его. Между тем он и она – две противоположности, – Вулкан и Венера, Кирик и Улита. Ей недоступны ни беспокойства, ни гнев, а брат иногда становится капризен, как беременная женщина, и ворчлив, как шестидесятилетний старец (mon frere devient quelquefois capricieux comme une femme enceinte, et grognon comme un barbon de soixante ans), что, впрочем, ему, при тех неприятностях, какими его беспрестанно угощают «добрые люди», извинительно. Надеюсь, жена будет его утешением, если не ангелом-хранителем…»

«…Холера появилась в Петербурге, – сообщает моя мать Николаю Ивановичу от 18 июня, – и сделала нам визит из Нарвы, где очень напроказила. Холеры я хотя нимало не боюсь, но должна выехать отсюда и поселиться на некоторое время в Царском у брата. Меня к этому принуждают и он, и дражайшие. Все они вообразили, что мне в Петербурге холеры не миновать. Мама вчера пристала с криками, папа со слезами, а тут и брат приехал ко мне из Царского родителям на подмогу: Александр стал меня бранить, зачем не переезжаю к нему с «дражайшими» немедленно спасаться от болезни; укорял он меня в упрямстве – не понимая, что в полчаса нельзя мне уложить вещи, рассчитаться с кем следует, да сделать все необходимые распоряжения по оставляемому хозяйству. Насилу доказала брату, что мне раньше

трех дней переехать к нему невозможно. – «Если через три дня не увижу тебя у меня в Царском, то сам заеду за тобой да увезу к себе насильно; вот мои последние слова»…

Что же мне делать? Приходится уступить, чтобы успокоить и брата, и дражайших. Собираюсь и укладываюсь, но этим уступки мои кончатся, и я из Царского далее ни шагу. Ни за что на свете не поеду с «дражайшими» в Михайловское, если паче чаянья им вздумается туда явиться; иначе не выпустят»…

«…Я еще в Петербурге, – пишет Ольга Сергеевна моему отцу от 23 июня. – Родители, испугавшись холеры, уложились на скорую руку и бежали к Александру в Царское без оглядки на другой же день после того, как меня посетили с братом, т. е. в прошлый четверг (когда тебе писала), – 18 июня. Подражать им физически – в быстроте передвижения – и нравственно – в их трусости – никак не могла, а по уговору с Александром располагала непременно выехать отсюда в субботу, 20 июня; но в пятницу – 19-го – мне сказали, что город окружен каким-то кордоном, а в Пулкове устроили карантин, где останавливают проезжих далеко не на сутки да окуривают удушливым хлором, что страшнее, по-моему, всякой холеры. У нас же в городе от холеры – хочу тебя попугать так же, как и меня пугаешь Польшей, – большая смертность; развозят по кладбищам в сутки более 250 человек, а в доме, в котором ты меня оставил, сию минуту скончался жилец верхнего этажа, старик Рост; за полчаса до смерти он был весел и отобедал с большим аппетитом; вчера тоже внезапно отправилась на тот свет прислуга нижних жильцов – молодая, здоровая девушка, – за четверть часа перед смертью стиравшая белье. Значит, Александр был прав, советуя бежать, но что же делать?., опоздала. Народ в отчаянии, а фабричные и мастеровые бесчинствуют на улице; страшно мне из дома выходить, но и в бедных людей грешно бросать камень; они отчасти не виноваты: полиция никуда не годится, забирает в лазареты пьяных, принимая их за больных; а доктора – беспримерные невежды (qui sont d'une ignorance sans exemple), – понимающие в болезни и лекарствах еще меньше, нежели мы с тобой, душат этих несчастных пьяных такими микстурами, от которых бесхолерные превращаются в холерных. Не можешь себе представить, что тут за содом! Легковерием народа пользуются мерзавцы, рассказывая ему ужасы разного рода; волосы становятся дыбом…

…С часу на час ждут Государя [127] , как слышала сегодня от моего кузена, графа Константина Николаевича Толстого, и твоего товарища Бухольца. Оба они только что ушли. Что будет дальше – неизвестно.

…Ходят вот еще какие слухи, но насколько верны, сказать не могу: будто бы на днях обнаружили гнусный заговор и посадили в Петропавловскую крепость пятьсот человек, подкупленных врагами России. Говорят, эти чудовища (ces monstres) действовали насчет холеры, которая не совершила и четвертой части приписываемых ей опустошений.

Как бы ни было, я в ужасном положении, не будучи уверена в завтрашнем дне, а отсюда теперь двинуться к Александру не могу. Разве решусь на риск.

Все разъехались заблаговременно, кто мог. Жуковский в Царском, Плетнев в Ораниенбауме, Марков выехал в Кронштадт, Нодены в Ревель, а вдова Дельвиг в Москву…»

Ольга Сергеевна действительно решилась ехать в Царское на риск и вынуждена была возвратиться назад. Александр Сергеевич, называя попытку сестры в своем письме к Прасковье Александровне «шалостью», остался этой попыткой очень недоволен, вследствие чего и черкнул сестре довольно резкое послание. О случившемся моя мать рассказывает Николаю Ивановичу от 7 июля следующим образом:

«…Путешествие мое в Царское совершенно не удалось. Желая избегнуть карантина, я решилась сделать крюк и приехала на место благополучно, хотя и поздно вечером, но позвонила по ошибке не к брату, у которого остановились отец и мать до переезда их в Павловское, а к его соседке – нашей доброй старушке Архаровой. Вообразив, что это не я, а сама петербургская холера в моем образе пожаловала к ней в гости, Архарова закричала от испуга, указала мне дачу Пушкиных и криком своим произвела суматоху всеобщую. Я к дражайшим; мать, в особенности же отец, – Александр и жена его были в гостях, – перепугались еще хуже Архаровой; не холера, а страх заразителен, и вот не прошло получаса, как меня отвозят с «триумфом» в карете, в сопровождении госпожи полиции, и отвозят будто бы для того, чтобы выдержать карантин, но на поверку моим глазам представился не карантин, а кордон, откуда мне, без дальних разговоров, указали обратную дорогу в северную столицу. Александр, узнав о моем походе, тоже встревожился и на меня рассердился жестоким образом. Написал он мне такое дерзкое и неумное письмо, что готова быть погребенной заживо, если только оно когда-либо дойдет до потомства, а, судя по стараниям брата мне его отправить, кажется, Бог меня прости, он на это и рассчитывал. Между прочим, брат меня очень энергически укоряет в том, что я не исполнила его приказания (?) ехать к нему в Царское заблаговременно, до холеры, когда за мной заезжал. А письмо

кончает фразой: «черт знает, ч т о т а к о е», которую написал огромными буквами…»

Впрочем, гнев дяди Александра на сестру был весьма непродолжителен. Он очень хотел ее видеть, однако под условием, чтобы она выдержала карантин, что и доказывается следующей его французской припиской к письму Сергея Львовича от 12 июля: «Милая Ольга! Сию минуту получил записку от Жуковского. Он сообщает, что выхлопотал для тебя позволение у князя Волконского приехать к нам, выдержав предварительно карантин в Каменке, – единственный, остающийся в Царском Селе, во всей же империи карантины сняты. Посылаю тебе письмо Жуковского в подлиннике, которое он мне писал, и тебе остается только пойти к Булгакову. Булгаков вручит тебе билет Волконского. Да приведет тебя Бог к нам; скоро соединимся и будем в состоянии гулять везде, где нам угодно. Прости за резкость прошедшего письма и не сердись».

Не желая подчиняться стеснительным формальностям, Ольга Сергеевна рассудила, помимо полученного разрешения, посетить брата в Царском и родителей в Павловске не иначе, как при более удобных обстоятельствах, что и исполнила в половине августа.

О своем пребывании у брата она пишет Николаю Ивановичу от 19 августа следующее:

«Александр в восторге: прогуливаясь с Наташей в Царскосельском парке, он встретил императора и императрицу. Их величества остановились, чтобы говорить с ними, а государыня заявила моей невестке, что очень рада с ней познакомиться, и сказала ей много других милостивых и ласковых слов. И вот Наташа волей-неволей должна явиться ко двору. Она очень застенчива, а потому в отчаянии; зато Александр на седьмом небе и, когда воротился домой, не знал от радости, куда девать свою особу, приговаривая: «Сестра! Теперь не только я, как поэт, знаменитость, но и Наташа будет знаменитостью; чем же она хуже хваленых красавиц: Фикельмонши, графини Мусиной-Пушкиной, – Пушкиной не простой, – да Зубовой?»

Брат, конечно, порешил после этого бывать с женой в большом свете и принимать у себя высшее общество, которое меня ничуть не забавляет, а мои друзья поэтому не могут быть их друзьями.

Брат очень обрадован и другою милостью, – продолжает Ольга Сергеевна. – Ему удались хлопоты у Бенкендорфа – позволить ему описывать подвиги Петра Первого, Екатерины II и заниматься для этого в архивах, на что Александр получил разрешение. Кстати о Бенкендорфе: намедни, гуляя с братом, я

встретила этого господина. Наружность его очень мало привлекательна, а улыбка какая-то кисло-сладкая: точно лимон укусил, как выражается брат Леон.

Александр, точно так же как я, очень скверного мнения о Польше: называет он ее краем сумасшедших; надеется, что мятежников скоро усмирят, но советует мне пока туда ноги не ставить, даже в том случае, если бы ты и более года сюда не являлся. «В твои лета, Ольга, – говорит он мне, – нелегко тебе расстаться с местом, где провела пору цветущей молодости и приобрела незаменимых друзей; не говорю уже о твоих естественных друзьях. Пусть твой муж рисует тебе сколько ему угодно счастие проживать в Польше, вдали от родины; не верь заманчивым картинам, сам не знает, что говорит. Уехать на время из Петербурга, где климат, правда, никуда не годится, – другое дело, но расстаться с Россией навсегда – не допускаю и повторяю правило Вольтера: «le mieux est l'ennemi du bien». [128]

Дай Бог, – продолжает Ольга Сергеевна, – чтобы кампания с «польскими шутами» кончилась скорее; затем в Польше пробудешь недолго, так как правление Энгеля временное: он воротится и может тебя в Петербурге как-нибудь пристроить.

Александру я говорила, что до сих пор не могу получить от комиссариата высланные мне тобою деньги еще в апреле. Брат хочет на это жаловаться власть имущим (aux autcrites) и, войдя в мое положение, снабдил меня средствами на целый месяц, но пока я останусь у него, т. е. еще недельку, он запретил мне их трогать, а об отце сказал: «На дражайшего не рассчитывай: никогда не получишь, что должна получить от него: оброк пропал, а Михайловское родители рискуют видеть проданным с аукциона; отец не может выплатить казне процентов и сидит теперь без копейки (il n'a pas le sou vaillant). Постараюсь как можно скорее выручить его из этой беды, когда напечатаю мои повести [129] , но теперь не могу этого сделать из назначенного мне государем жалованья, а мои «г о д у н о в с к и е» деньги на исходе».

Александр и я очень тебя просим написать, где стоит Финляндский драгунский полк, куда поступил наш храбрый Лев. Если поблизости от тебя, то постарайся его увидеть. Брат и я очень о нем беспокоимся, я же особенно.

…Два последние твои письма дошли до меня распечатанными, и я вчера рассказала об этом Александру, в присутствии Жуковского и Россети. Все нашли любопытство почтамтских чиновников неприличным, а брат заметил: «Да разве в патриотическом образе мыслей и безукоризненной службе Николая Ивановича царю и отечеству можно сомневаться?» – и

тут же применил к усердному почтамтскому чиновнику поговорку: «Заставь дурака Богу молиться – лоб расшибет».

Сегодня Александр подарил мне вышедший недавно роман Виктора Гюго «Notre Dame de Paris». Об этой книге мне трубили с таким рвением везде, куда бы ни заходила, что отбили у меня охоту не только прочесть, но и взглянуть даже на нее. Брат сказал, что подносит мне новое творение Гюго именно, чтобы меня подразнить и разбесить.

…На днях я была в Павловске, у дражайших. Просят меня помочь отыскать для них как можно скорее городскую квартиру, и завтра мама уезжает со мною для этого в Петербург; проживет у меня с неделю, может быть и больше, пока не отыщем…

…Переслала ли я тебе оду Александра «Клеветникам России»? [130] Можешь себе вообразить, какой она здесь производит эффект, а Жуковский от нее в восторге. Постарайся-ка распространить ее в дурацкой твоей Польше (dans votre sotte de Pologne). Александр говорит, что он хотел заклеймить не столько «безмозглых» мятежников, сколько иностранных недоброжелателей наших. Толкуют они о России всякий вздор и в газетах, и во французской Палате депутатов, а в Лондоне какой-то шляхтич сочинил преглупую записку с тем, чтобы о ней болтали в парламенте. Брат мне об этом рассказывал [131] , и непременно хочет отыскать между истыми русскими патриотами такого знатока французской поэзии, который мог бы перевести «Клеветникам России»; иначе дальше России обличение это не пойдет, что и будет даром потраченной для господ иностранцев риторикой (et cela sera une rhetorique en pure perte pour messieurs les etrangers)».

Известие о взятии штурмом Варшавы так обрадовало дядю, как уверяла Ольга Сергеевна, что он прослезился от взволновавших его чувств, которые и не замедлил выразить в своей знаменитой «Бородинской годовщине», не уступившей по силе и достоинству предшествовавшей ей оде. Оба стихотворения тогда же были напечатаны отдельной книжкой вместе с «Русской славой» Василия Андреевича Жуковского, одой, начинающейся словами:

Святая Русь, славян могучий род,
Сколь велика, сильна твоя держава?

Об этом Ольга Сергеевна пишет отцу из Петербурга 10 сентября 1831 года, между прочим:

«Варшава взята, стреляют из пушек, город залит иллюминацией. Назначено благодарственное молебствие и

торжественный парад в высочайшем присутствии. Стихи Александра и Жуковского на взятие Варшавы приводят всех в восторг необычайный. Говорят, очень понравились государю; их читают везде, разучивают наизусть; нашлось много охотников переводить их и по-французски, и по-немецки (было бы забавно перевести по-польски) и коверкать их самым жестоким образом. В числе таких переводчиков или исказителей (au nombre de ces auteurs ou estropieurs) нашелся, к своему несчастию, бывший мой почитатель (mon ex-adorateur) Бакунин; говорю «к своему несчастию», так как не щадил ни сил, ни трудов, стряпая наше русское кушанье на французский лад; даже похудел бедняга, но из его стряпни вышел такой соус, который и в рот не возьмешь. Пришел ко мне и стал читать. Я должна была волей-неволей отпустить ему дипломатический комплимент; Бакунин обрадовался, да и пригрозил дать попробовать свой соус Александру, но я отсоветовала, сообразив, что брат может этому труженику намылить голову по-своему. Явился и немецкий исказитель «Бородинской годовщины», какой-то учитель (Schulmeister). Этот уж из рук вон: перевод вчетверо хуже бакунинского.

Брат вручил мне свои стихи, писанные собственной рукой, с тем чтобы я переслала их через тебя бедняге Александру Языкову, Преображенскому капитану, ради утешения: но Языков, как должно быть тебе известно, так страдает от тяжкой раны, полученной при взятии неприятельской батареи, что ему не до стихов; посылаю на всякий случай. Передай ему их да отпиши Александру Сергеевичу, как ты его нашел? Другой экземпляр Александр хочет послать своему приятелю Саломирскому; этот тоже, говорят, сильно ранен; рассказывали даже, что ему оторвало челюсть, но слух, к счастию, оказался неверным.

Показала я брату присланные тобою патриотические солдатские песни Ширкова и Сиянова на знаменитый штурм; стихи, не в обиду будь этим храбрым двум воинам сказано, незавидны. Брат прочел, рассмеялся и сказал: «Изящного тут мало, но все же стихи остроумны, а главное, в «них русский дух и Русью пахнет», кто во что горазд». Посылает он этим пиитам сердечный поклон и очень рад, что Лев остановился вместе с Сияновым у тебя. Не вдохновился ли и он музой своего приятеля?

Кстати или некстати: Александр приехал ко мне вчера, в среду, из Царского; должен был явиться в Иностранную коллегию, куда поступает на службу; весел как медный грош, забавлял меня остротами, уморительно передразнивал Архарову, Ноденов, причем не забыл представить и «дражайшего» [132] . Рассмешил он меня и фразой, пущенной по адресу твоей возлюбленной

«Северной пчелы», из которой ровно ничего хорошенько узнать нельзя – ни о дальнейшем ходе военных действий, ни о том, когда последует возвращение гвардии, ни о Модлине, ни о Замостье и проч., не говорю уже о политике иностранной. «Ради Бога, – сказал Александр, – читай что-нибудь подельнее «Северной пчелы»: эта драгоценная газета сделалась глупее тридцати шести пустых горшков». Наконец, брат стал немножко и надо мной подсмеиваться, когда я ему сказала, что очень беспокоилась о тебе последнее время, воображая тебя убитым. Александр на это покатился со смеху и отвечал: «Твой муж не в строю, а в чиновничьем полку Энгеля: не штыком, а пером работает, и верь мне, он обожает тебя гораздо больше, нежели Дон-Кихот обожал Дульцинею. Рыцарь печального образа ломал копье в честь своей дамы, между тем как Николай Иванович, заботясь о твоем спокойствии и будущности, этого не сделает; твое предположение, будто бы твой рыцарь пошел добровольцем на штурм, – не от мира сего».

Прочитав это нравоучение и продолжая смеяться, Александр довольно сильно ущипнул меня за щеку и проговорил: «Recevez cette caresse fraternelle! Vous n'etes qu'une (Примите эту ласку как братскую. Вы всего лишь (*фр.*)) Маремьяна старица, что обо всем на свете печалится». Но братская ласка – лаской, а его просьба, при прощании, отыскивать ему так же, как для родителей, квартиру – мне совсем не по нутру. Найдешь – не понравится, и на меня же посетует: хочет непременно поселиться если не на Английской набережной, то поблизости. Впрочем, переедет не раньше половины октября.

Смеется Александр и над тобой, в особенности же над твоим другом, бароном Бухольцом, потому что вы оба «Орест и Пилад», как он выражается, сами не знаете, что делаете.

Александр говорит справедливо. Зная мою городскую квартиру, ты пишешь мне письма на имя твоего «Пилада», а «Пилад», не осведомясь, где живу, занимается их отправкой в Царское к Александру. Брат же, пересылавший мне твои письма неаккуратно, – а два письма не переслал вовсе, – сказал вчера в оправдание: «Не отправлял тебе писем твоего мужа из-за моего доброго сердца: я их пожалел и хотел, чтобы они у меня отдохнули; не то устали бы бедняжки от длинного путешествия».

Как видишь, расположение духа Александра великолепно. Он как нельзя более обрадован и успехами в большом свете своей жены, и успехами на Руси второй, как он выразился, своей жены – музы, и оказанными ему царскими милостями, а, наконец, – сказал мне по секрету, – осчастливлен надеждой назвать себя будущей весной (1832 года) отцом семейства: Наташа, как он

полагает, беременна. [133]

Зато папа и мама в отчаянии; впрочем, сами кругом виноваты, что дела запутали. В практической жизни оба совершенные дети – и мало того: избалованные дети: не могут ни с чем справиться и только кричат «вынь да положь!». Отыскала им квартиру у Синего моста, но переедут из Павловска тоже не раньше октября. Я же, все тебя поджидая и узнав, что Энгель метит на место Закревского, рассчитываю, что и ты не застрянешь в Польше; поэтому и не трогаюсь из дома Дмитриева, где все тебя мне напоминает, и ни за что не соглашаюсь ни на какие просьбы брата Александра переехать к нему; у него уже и без того гостит одна из его свояченицы; ожидает еще другую и без того заводит, значит, целый гарем; выходит смешно: il sera le coq du village [134] , а еще пристегнет и меня… этого только недоставало. Я ему высказала мои мысли в шуточном тоне и высказала так забавно, что брат расхохотался; отвечал мне на шутку шуткой: зная, что и ты, милый Николай, иногда не прочь посмеяться, понимаешь невинные шутки, а потому на него не обидишься, брат попросил меня тебе написать, что сравнивает меня с неутешной Пенелопой, ожидающей в Итаку (в дом Дмитриева) своего Улиса (тебя), который после взятия Трои (Варшавы) совершит в Итаку окольный или, лучше сказать, школьный путь (il prendra le chemin de l'ecole), а лавируя теперь между Сциллой (председателем Временного правления Энгелем) да Харибдой (интендантом Погодиным) [135] , попадет в лапы на год к Цирцее какой-нибудь, а на семь лет к Калипсо – тоже какой-нибудь; но тут сравнение брату не удалось (Ici la cornparaison lui a fait defaut)».

Хлопоты Ольги Сергеевны отыскать для дяди городскую квартиру по его вкусу не увенчались, как она и предвидела, успехом. Нанятая квартира ему не понравилась, и он после своего приезда из Царского не остался в ней и на неделю; нашел другую, как пишет мать от 2 ноября Николаю Ивановичу, за 2500 рублей годовой платы, по Галерной улице, в доме Брискорна. Старики же остались выбором квартиры для них Ольги Сергеевны у Синего моста очень довольны.

Веселое настроение не покинуло Пушкина с его возвращением из Царского – настроение, которое его там вдохновило, как дядя сообщил Ольге Сергеевне, написать смешную сказку «О попе осиновом лбе [136] и работнике его Балде».

При свидании с сестрой, после приезда, первые слова дяди были:

– Поздравь меня, Оля! У меня еще гора с плеч свалилась: Онегина, Онегина я кончил: понимаешь, Онегина! Правда, жаль

было разлучиться с таким хорошим десятилетним знакомым [137] , «mais pas de bonne compagnie qu'on ne quitte» (но нет такой хорошей компании, которую не покидают (*фр* .)), по французской пословице: остается залить вечную горькую разлуку шампанским, – прибавил весело Пушкин, обращаясь к сидевшим у Ольги Сергеевны Мятлеву и своему лицейскому товарищу Комовскому, – право, не худо…

Последние три месяца 1831 года Ольга Сергеевна ограничивалась небольшим кружком своих подруг – Трубецких, Анны Петровны Керн, Голицыных, Талызиных, г-жи Вейдемейер и девиц Шевич, – с которыми отводила душу. Из этого дружеского кружка выбыла вдова поэта Дельвига: она еще в июне, следовательно пять месяцев спустя после кончины мужа, обвенчалась с братом другого поэта, Сергеем Абрамовичем Баратынским, но свадьбу объявила только в октябре и выехала в Москву.

Посещая и принимая своих подруг, исполняя поручения родителей, наблюдая за сбытом литературных трудов отсутствовавшего Николая Ивановича, моя мать посвящала остальное время любимому своему занятию – акварельным портретам и, следуя совету брата, продолжала свои «воспоминания» на французском языке (mes souvenirs), в которых излагала весьма интересно, в историческом порядке, происшествия, случившиеся как в доме ее родителей, так и в домах родственных ей семейств – Ганнибаловых, Ржевских, Бутурлиных, Овцыных и т. д., причем характеризовала действовавших лиц, можно сказать, неподражаемо. Вскоре после сказанного мною выше свидания с братом она прочитала ему несколько глав, написанных ею во время его отсутствия.

Дядя Александр, никогда не скрывавший перед сестрою то, что чувствовал, и никогда не льстивший ни своим, ни чужим, выслушав эти главы с особенным вниманием, бросился ее обнимать и сказал:

– Ты ли это писала? Да это образец искусства! (Mais e'est un chef d'oeuvre!) Ради Бога, пиши, пиши и пиши! Глава твоя о семействе Овцыных стоит целой поэмы, а нашего предка Юрия Ржевского рад бы сам так прелестно нарисовать в стихах, как ты нарисовала его в прозе. Вижу в этих главах и конец моей недоделанной повести о нашем прадеде Абраме Петровиче [138] и конец моего последнего отрывка [139] ! Жаль только, и как нельзя более жаль, что пишешь не по-русски, моя бесценная мадам Кампан, – заключил дядя, потчуя сестру данным ей прозвищем.

Ольга Сергеевна отвечала брату, что если ее воспоминания

действительно кажутся ему сюжетом, достойным поэмы, то пусть он этим сюжетом и воспользуется, причем поставила, однако, брату условием не называть действующих лиц по фамилиям, если задумает написать поэму в стихах. Если же захочет перевести эти главы на русский язык и изложить их прозою, переделав их но своему усмотрению, – дело другое.

Дядя отвечал, что на днях он возьмет у сестры те главы, которые послужили бы дополнением напечатанных им отрывков, касающихся биографии предков Ганнибалов, но, будучи в восторге от прочитанного, умоляет «мадам Кампан» прочесть последние главы тем слушателям, которых он приведет к ней на другой же день.

Ольга Сергеевна согласилась на предложение брата, и, действительно, на другой день явились к ней с Александром Сергеевичем друг его Плетнев, приехавший из Москвы князь Вяземский, Соболевский, Илличевский и еще кое-кто. Господа эти заняли места за круглым столом, почему Ольга Сергеевна и начала чтение шуткой: – Pretez attenion chevaliers de la table ronde! (Внимание, рыцари круглого стола! (*фр.*))

Мастерским чтением и интересом изложенного моя мать доставила слушателям большое удовольствие.

Александр Сергеевич затем взял воспоминания для просмотра и через несколько времени возвратил их сестре, говоря, что извлек из них все, что ему может пригодиться.

Но намерение Пушкина облечь написанное сестрой в поэтическую форму не осуществилось, при других принятых им на себя работах. Затем, о злополучной судьбе «воспоминаний» покойной моей матери я уже вкратце сообщал в первой главе настоящей «Семейной хроники», но возвращусь к этому предмету при изложении последующих событий.

Глава XXVIII

Дядя Александр, вращаясь в большом петербургском свете, пытался неоднократно втянуть туда и сестру, уверяя ее, что ей еще не подобает по летам превратиться в отшельницу, а знакомство с аристократическими салонами ей необходимо. По мнению Александра Сергеевича, сестра его, «познакомясь с влиятельными при дворе дамами и другими особами, расположит их сейчас же, – при умении говорить, – в свою пользу, а потом, даже очень скоро, вытащит, при их помощи, Николая Ивановича, который получит место в Петербурге уже не с таким несчастным жалованьем, каким пользуется, и не пропадет, а скорее в камер-юнкеры попадет».

Ольга Сергеевна, не разделяя мнения брата, нередко сердила его – Пушкин не особенно жаловал противоречий, высказываемых ему без обиняков, – когда заявляла дяде, что посещения, а следовательно волей-неволей и прием на скромной квартире великосветских барынь, поведут лишь и к убытку материальному, т. е. к опростанью и без того тощего ее кармана, и к убытку нравственному, весьма тяжелому сознанию, что эти госпожи и господа сочтут себя вправе давать ей чувствовать разницу между ее домашней обстановкой и той, к которой они привыкли. Заискиванья же ее, Николая Ивановича ради, – которые едва ли могут повести к предполагаемой цели, – она считает делом несовместным с ее достоинством и даже прямо для себя оскорбительным.

– Я сам горд, – отвечал моей матери однажды Александр Сергеевич на ее доводы, – но, как вижу, ты меня и в этом милом качестве перещеголяла: ты уже не горда, а высокомерна (tu n'es pas seulement fere, mais altiere). Впрочем, делай, как знаешь, но мой совет – непременно являться изредка туда, куда, по-моему, должны ходить люди, не обиженные судьбою своим происхождением…

– Но куда не должны ходить люди, обиженные карманом, – докончила Ольга Сергеевна.

Дядя не сдался и, повторяя, что дает ей советы из желания всевозможного добра и благополучия, склонил сестру познакомиться, хоть из любви к нему и через него же, с двумя-тремя великосветскими семействами, у которых бывать с ним и Натальей Николаевной изредка, и весьма обрадовался одержанной над сестрой победой, выраженной ею в словах: «Для тебя, так и быть».

Ольга Сергеевна исполнила то, что брат считал для нее

необходимым, а именно сопровождала его с женою – весьма, впрочем, нечасто – в петербургский м о н д.

О посещении одного из великосветских собраний Ольга Сергеевна, между прочим, писала мужу 15 ноября 1831 года:

«Вчера я была с братом и его женой на рауте у графини Р – й. Сама не рада: кроме сплетен high-life'a [140] ничего путного оттуда не вынесла. Ничего еще, если бы от пустых разговоров поглупела на несколько часов: на другой же день дурь бы прошла, но одна из слышанных мною сплетен меня взбудоражила. На рауте очутился какой-то прискакавший из Варшавы польский камергер, знакомый брату. Узнав от Nathalie, что я ее невестка, он брякнул ей затем по секрету: «Муж вашей belle soeur [141] имел с Энгелем большую ссору, из-за какого-то дела по службе, наговорил ему резкостей и принужден возвратиться в Петербург разжалованным, т. е. без места, а место его предлагают вашему брату Гончарову». Сообщив такую «прелестную» новость, «пан вельможный» счел долгом отвесить belle soeur'e [142] низкий поклон a la Louis treize [143] и поздравить ее с назначением братца на твое место, а невестка, по своей рассеянности (par etour-derie) – свойственной, впрочем, ее молодости, – препроводила мне секрет «вельможного» целиком (d'un bout a l'autre) вместо того, чтобы спросить прежде брата письмом, точно ли так. Разумеется, я пустила всю эту штуку (j'ai lance toute cette piece) Александру. Он пожурил Наташу за несоблюдение секрета и утешил меня тем, что хотя у тебя и могли быть недоразумения по службе и щекотливые объяснения, но делать из-за этого тебе сцену начальнику, которого уважаешь и ценишь, на это ты слишком умен и благовоспитан, а Гончаров, если бы и предложили ему место какое-нибудь, не молчал бы. Все-таки Александр не мог меня успокоить; всю ночь не смыкала глаз и только сегодня рассудила, что рассказ «вельможного» неловко придуманная сплетня. От службы тебя не отставят, а скорее – как сострил мне брат – сделают тебя если не консулом или вице-губернатором, то по крайней мере частным, а на худой конец соляным приставом. Не явись я вчера в большой свет да сиди себе дома на здоровье, провела бы вечер в тысячу раз приятнее.

Говоря о большом свете, – заканчивает письмо Ольга Сергеевна, – скажу тебе, что большой свет также не был избавлен от холеры, и Александр очень ошибался, когда уверял, что порядочных (?), по его мнению, людей холера не тронет: моя подруга и кузина Окунева, – ее я видала за несколько дней перед смертью, – рассталась с недолговременной жизнью в ужасных мучениях; в таких же мучениях закончил тоже от холеры короткий жизненный путь барон Корф, родственник и зять (cousin

et beau frere) Модеста, саперный полковник. Пригласили меня на похороны, откуда вынесла самое тяжелое впечатление: в церкви, во время отпевания тела, с Модестом (Андреевичем) случился припадок, как у самой слабонервной женщины: рыдал, хохотал и лишился, наконец, сознания! Можешь себе представить суматоху! Его вынесли из церкви без чувств. Жена покойного в отчаянии. Ожидаю маму и Александра с женой поехать с ними к Корфам вместе. Попотчевала холера (le cholera a rehale) и твоего приятеля Маркова: насилу поправился, но ты бы его не узнал. Ругает не столько холеру, сколько докторов, а доктор Р., уморивший пьяных, принимая их за больных, сам на тот свет отправился, в качестве уже настоящего холерного. Булгарин напечатал в «Северной пчеле» в память этого господина трогательный панегирик, как о спасителе человечества, которое, однако, после смерти Р. почувствует себя гораздо лучше, – как все предсказывают, кроме Булгарина».

Услышанная Ольгой Сергеевной от своей невестки новость о небывалой ссоре Николая Ивановича с Энгелем и о замене моего отца шурином Александра Сергеевича не имела ни малейшего основания: никакой ссоры с Энгелем не было, отставки же подавно.

Напротив того: Энгель, оценивший службу моего отца, остался очень недоволен окончательным его прикомандированием в 1832 году к генерал-интенданту действующей армии Погодину. Считать же громкой ссорой отнюдь было нельзя случайное охлаждение Энгеля к Николаю Ивановичу, вызванное жалобой директора канцелярии Пр – го на отца за насмешливый его отзыв о чиновничьей музе этого последнего деятеля.

Как бы ни было, Надежда Осиповна, воспользовавшись дошедшей до нее – из того же источника – сплетней насчет зятя, стала с злорадством попрекать дочь браком с человеком неугомонным, не изучившим якобы азбуки уживаться с людьми, а когда нелепость пущенной сплетни была опровергнута недели через две ответом Николая Ивановича жене, в котором отец извещал, что он действительно хочет приехать в Петербург весною, но единственно с целию увезти в Варшаву Ольгу Сергеевну, – бабка выразила дочери уже чистосердечно, что отставка Николая Ивановича пришлась бы ей гораздо больше по вкусу, чем разлука с Ольгой Сергеевной.

Мать виделась часто с дедом и бабкой, выслушивая их бесконечные сетования на плутни управляющих, в силу чего в родительской кассе царила пустота. Ольга Сергеевна, сама ожидавшая от своего отца помощи, согласно его обещанию, могла

изъявлять родителям только соболезнование, а дядя Александр, выручая их по мере сил и выплатив только что долг храброго воина Льва, – кутнувшего, во славу русского оружия, порядком в покоренной Варшаве, – не мог, в конце концов, сделаться для стариков и брата неиссякаемым источником карманных благ. Доходы Александра Сергеевича оказались значительно меньше расходов, при частых выездах в свет с Натальей Николаевной и неизбежных от этого последствий, а именно далеко не дешевых приемов у себя дорогих гостей. По словам моей матери, – опять-таки говорю не от себя, – Александр Сергеевич ей жаловался, что у него постоянные недохватки и перехватки, и хотя надеется получать за стих даже по червонцу, заработать «Евгением Онегиным» и «Повестями Белкина» немало, а доходы от издания задуманной дядей ежедневной газеты, при назначенных ему 5000 рублях жалованья за «ничего неделанье в Иностранной коллегии», совсем не безделица, но все это впереди, и было бы хорошо, если бы «свет» не ставил его в стеснительные рамки. Сестра советовала ему уменьшить путешествия по великосветским салонам и, взяв месяца на два отпуск, предпринять, экономии ради, другое путешествие летом в деревню, пребывание в которой – вдали от светской суеты – может обогатить не только его, но и отечество новыми его творениями; но Александр Сергеевич заметил, что такая поездка невозможна, когда он именно должен вместе с женою стоять ближе к солнцу.

Заключаю описание семейных происшествий 1831 года выдержками из письма Ольги Сергеевны к моему отцу в конце декабря, относительно своего брата:

«Александр, – сообщает мать, – ускакал в Москву еще перед Николиным днем и, по своему обыкновению, совершенно нечаянно – sans tambour ni trompette (втихомолку, тайком (*фр* .)); предупредил только Наташу, объявив, что ему необходимо видеться с Нащокиным и совсем не по делам поэтическим, а по делам гораздо более существенным – прозаическим. Задумал он издавать и газету в свою пользу, и «Северные цветы» в пользу семейства нашего покойного приятеля [144] , – лучше сказать его братьев, – и в архивах копаться не хуже тебя, но какие именно у него дела денежные, по которым улепетнул отсюда, – узнать от него не могла, а жену не спрашиваю. Ждут брата, однако, весьма скоро назад. Очень часто вижусь с его женой; то я захожу к ней, то она ко мне заходит, но наши свидания всегда случаются среди белого дня. Заставать ее по вечерам и думать нечего: ее забрасывают приглашениями то на бал, то на раут. Там от нее все в восторге, и прозвали ее Психеею, с легкой руки госпожи

Фикельмон, которая не терпит, однако, моего брата – один Бог знает почему»…

Глава XXIX

Дядя Александр возвратился из Москвы к новому году.

Этот новый (1832) год Ольга Сергеевна встретила в последний раз в кругу родных – в доме моего деда и бабки – с братом и его женой.

«Никогда еще мне не было так грустно, как в прошлую пятницу, 1 января, – пишет она отцу (во вторник 5 января), – когда обедала с братом и Наташей у стариков. Папа и мама хотя и не совсем передо мною правы, но все же любят меня по-своему; меня томили недобрые предчувствия, что в день нового года обедаю у них последний раз. Александр и Наташа оставались у них – как и я – весь вечер. Родные, когда я заговорила им о вероятной разлуке, и слышать не хотят, чтобы я променяла Петербург на Варшаву, а Соболевский, который тоже был там (он едет скоро за границу и будет у тебя в твоем возлюбленном городе), уверял меня, что твое пребывание в Польше временное, и, если только искренно захочешь, можешь возвратиться в Иностранную коллегию, тем более, что тебя еще не вычеркнули из списка ее чиновников, точно так же, как и еще двух или трех господ, отправившихся с Энгелем. Соболевский прав, и послушай меня: брось чужой тебе край и возвращайся на твою родину, святую Русь, ко мне. Чем тебе опротивела наша – хоть и бедненькая, но все же миленькая – квартира в доме Дмитриева? Чем тебе стали немилы твои лицейские товарищи, твои добрые петербургские сослуживцы-друзья, которые тебя так любят и так жалеют о твоем отсутствии? С кем, не говоря уже обо мне, обменяешься по душе родным русским словом? Брат Леон пишет Александру, что он ни за что не останется в Варшаве: война давно кончена, и ему там ровно нечего делать, и Ширков и Сиянов тоже уедут. С кем же останешься из близких тебе? В твоей варшавской службе счастия не вижу, и вот мой совет:

брат Александр еще в ноябре поступил в службу с прекрасным жалованьем туда, где и ты еще считаешься, – в Иностранную коллегию, – заниматься в архиве историческими работами; эти работы и ты любишь. Хотя Александр и моложе тебя чинами, но известен всей России; слово его веско, и он будет очень рад случаю тебя толкнуть вперед (de te pousser aussi en avant) как своего зятя, выхлопочет тебе такое же занятие себе в помощь и пристроит тебя, уверяю, в коллегию; сделать это брату будет тем легче, что ты в коллегию не вновь должен определиться, а только возвратиться. Выхлопочет Александр тебе и занятия по литературе; не одни же недоброжелатели

журналисты его окружают, а твое перо многим уже известно. Обо всем этом он, при Соболевском, мне намекал, следовательно, и пишу тебе en connaissance de cause (со знанием дела (*фр* .))».

Предположениям матери не суждено было, однако, осуществиться. Отец не изъявил Ольге Сергеевне, за которой решил приехать, желания вновь поселиться в Петербурге. Возобновить службу в Иностранной коллегии он не находил целесообразным, полагая, что не может на этом поприще принести столько пользы, сколько своей русскою деятельностью в крае, заинтересовавшем его во всех отношениях.

«Временное правление Царства Польского, – сообщает Николай Иванович своей матери, Луизе Матвеевне, от 12 марта 1832 года, – закрыто; но еще до закрытия Бог мне послал благодетеля в генерал-интенданте армии Погодине. По его ходатайству фельдмаршал прикомандировал меня к нему для иностранной корреспонденции. Жалованья получаю 2500 руб. в год по грузинскому, как объявил мне Погодин, положению, с оставлением по Министерству иностранных дел. Правда, с выступлением большей части войск из Царства Польского, ибо в сентябре останется один только второй пехотный корпус, главный штаб армии должен сократиться, а со временем и вовсе уничтожиться, но я уже обеспечен жалованьем, и мне не трудно будет поступить в штат наместника или военного губернатора.

В мае отправлюсь в Киев по делам службы, оттуда в Петербург на два дня за женою и в конце июня ворочусь с нею в Варшаву. Грустно ей будет расставаться с родиной, но жребий брошен. Проклинает Варшаву, хочет, чтоб я опять попал в Петербург, куда меня и калачом не заманишь. Драка с поляками для меня гораздо любопытнее, чем междоусобная брань с тещей. Может быть, и совсем Петербург меня не увидит, а с женою встречусь в Киеве. Все зависит от ее здоровья и успеха, с каким она устроит дела. Словом, я предполагаю, а Бог расположит».

Глава XXX

Подробное изложение деятельности покойного отца после 1837 года, года, сразившего дядю, составляет особый отдел моих воспоминаний, не вошедший в состав настоящей «Семейной хроники» и который я имею в виду напечатать особо. Здесь же, прежде нежели говорить о дальнейших семейных событиях в последовательном порядке, считаю для себя удобнее сказать несколько слов о деятельности моего отца за период времени с 1832 по 1834 год, когда я появился на свет Божий.

Не прошло и трех месяцев со времени прикомандирования отца к генерал-интенданту действующей армии Погодину для сношений на иностранных языках с нашими консулами, как Николай Иванович был назначен в состав учрежденного тогда (в 1832 году) комитета для проверки счетов тайного советника Пейкера по ликвидации с Пруссией относительно доставки в русскую армию продовольственных припасов в течение польской кампании. Кампания эта доставила Николаю Ивановичу и денежную награду в размере годового жалованья двух тысяч пятисот рублей ассигнациями, и знак военного достоинства (Virtuti militari) третьей степени, а талантливое исполнение возложенных на него трудов в названном комитете обратило на себя особенное внимание светлейшего, вследствие чего, не достигнув и тридцатилетнего возраста, бывший питомец Царскосельского лицейского пансиона получил лестное назначение управлять, в чине коллежского асессора, канцелярией генерал-интенданта действующей армии.

Пользуясь не только расположением, но и дружбой сего последнего, Николай Иванович, не имевший от него секретов, в одной из нередких с ним откровенных бесед показал ему и предпринятый им труд по составлению статистики Царства Польского. Погодин, рассмотрев работу, нашел ее делом громадной важности, что и доказал вскоре на деле.

В 1833 году открылась вакансия помощника статс-секретаря Государственного совета Царства Польского. Выбор Паскевича, пожелавшего заместить эту вакансию не иначе, как природным русским, но вместе с тем основательно изучившим край, пал на моего отца, именно во внимание к лестным о нем отзывам генерал-интенданта, который и высказал светлейшему, что управляющий его канцелярией «коллежский асессор Павлищев, обладая надлежащим запасом исторических и статистических сведений о вверенной его светлости стране, знакомый с ее прошедшим и настоящим, может занимать предлагаемую

должность с честию и пользою».

Потребовав к себе Николая Ивановича, Паскевич, как пишет отец, очень обласкал его и приказал ему вступить немедленно в исправление возлагаемых на него новых обязанностей.

Заняв, таким образом, новый важный пост, отец мой принялся за тщательное изучение польских законов, сделавшихся предметом его службы, и вскоре ему представился как нельзя более удобный случай применить познания к делу.

Действия Совета начались проектом нового закона о дворянстве для польской шляхты, и Николай Иванович составил проект названного закона, изданного впоследствии своим порядком. Этот проект послужил отцу первым докладом князю Варшавскому и вместе приступом к дальнейшим историко-юридическим трудам.

Отец взялся сперва за прошедшее и написал «Историческое обозрение прав и преимуществ польского дворянства», а потом обратился к настоящему и, узнав, что число шляхты чрезвычайно велико, подал Паскевичу записку, в которой представил светлейшему необходимость потребовать строгих доказательств на «шляхетство» по прежним законам. С первого чтения все важнейшее было обсуждено и решено фельдмаршалом; работать с наместником было, как выражается отец в сохранившихся у меня заметках, «наслаждением, которое, по его словам, бывало тем возвышеннее, чем больше наместник сосредоточивал внимание на предмете, а это для человека, озабоченного иногда вдруг несколькими делами равной важности, не всегда бывает возможно». Записка направила дело к законной цели. Хотя мой отец, в качестве помощника статс-секретаря, и не имел по-настоящему права докладывать дела Совета, однако докладывал, и не потому, что статс-секретарь был неспособен к делам, а по той именно причине, что этот сановник был поляк; взгляд же на дела нужен был чисто русский.

«Во всяком случае, – замечает Николай Иванович, – положение мое сделалось странным, щекотливым, неприятным. Удивляюсь, как я мог сохранить в нем счастливую середину, ибо я прямодушен и, следственно, неловок. Думаю, что прямодушие-то и спасало меня; чего лучше, как идти прямой дорогой, следуя поговорке моей родительницы, Луизы Матвеевны: «Der grade Weg ist der beste»? [145] Замечу ли что-нибудь неладное, пишу записку и иду к фельдмаршалу. Должен сказать и то, что князь понимал мое положение и был ко мне внимателен, а я старался угадывать его мысли, не стесняясь, однако, высказывать ему мои правдивые взгляды с откровенностию, чем и вызвал раз шутливую фразу Паскевича:

– Я тебя всегда уважаю (Паскевич тыкал только тех, к которым чувствовал особенное расположение), но за сегодняшнюю горькую правду терпеть не могу.

Приветливая улыбка противоречила его словам, и с изложенным мною в докладе мнением он совершенно в конце концов согласился».

Таким образом проходили через руки отца проекты нескольких законов, большею частию утверждаемые, и только весьма немногие не получили дальнейшего хода, впрочем, отнюдь не по вине Николая Ивановича, как, например, о знаке отличия беспорочной службы и о спорных делах управления (le contentieux de l'administration). Последний проект стоил отцу неимоверных трудов.

Любя всякое дело брать не с верхушки, а с корня, Николай Иванович изучил основательно французский Устав гражданского судопроизводства (Le code Napoleon) [146] и перечитал все томы Полного собрания законов, с целию изложить как следует на русском языке проект постановления о правительственном судопроизводстве. Фельдмаршал оценил этот труд по достоинству в административном отношении, а впоследствии близкий отцу знакомый (о котором я упоминал уже…), покойный член здешней Академии наук Петр Павлович Дубровский, автор польско-русского словаря, административного и судебного, нашел в переводе отцом проекта разрешение многих важных лексикографических вопросов.

Николай Иванович долго хранил у себя черновую своего перевода, как труд, о котором он вспоминал всегда с особенным удовольствием, и как памятник нового судебного русского языка. Показывал он мне черновую, но куда она делась, мне неизвестно; в подаренных мне отцом книгах и картонах с его рукописями я ее не нашел.

Кроме бесчисленных проектов по законодательной части через руки покойного отца проходили, в бытность его помощником статс-секретаря местного Государственного совета, и отчеты по управлению Царством Польским, и бюджеты края; обращал он на них особенное внимание как на драгоценные материалы для статистики Привислянской окраины.

Когда представили отца к утверждению в должности помощника статс-секретаря, Николай Иванович, все еще считая себя в гостях, на чужбине, просил об оставлении его числящимся по Министерству иностранных дел, но на это не последовало высочайшей воли. Тем не менее, министр статс-секретарь объявил всемилостивейшее соизволение на получение Павлищевым чинов, буде пожелает. Эту привилегию отец считал

для себя необходимой, будучи первым русским, очутившимся в польской службе, на которой не было тогда чинов. Данным отцу разрешением воспользовались впоследствии и другие русские чиновники.

Закончив краткий рассказ об административной деятельности моего отца по 1834 год, приступаю к изложению событий в семействе моей матери с 1832 года, в котором Ольга Сергеевна принуждена была расстаться с горячо любимым местом своей родины, стариками Пушкиными и братом.

Глава XXXI

«У нас зима жестокая, – пишет Ольга Сергеевна моему отцу от 22 февраля 1832 года из Петербурга, – а морозы бесконечные. Морозы, как сказал мне Александр, и в Псковской губернии, а ты сообщаешь, что стужа также и в Польше. После этого как же могу к тебе тронуться отсюда? Мое здоровье далеко не прежнее, и ни за что рисковать им не буду; в противном случае отец, мать и брат не только не постараются облегчить мне затруднения, т. е. сделать мне дорогу более удобной в материальном отношении, но, напротив того, рады будут связать мне руки и ноги, лишь бы со мной не разлучаться, а брат сказал, что с моей стороны, уже не говоря о разлуке, сущий вздор пускаться в дальнюю дорогу без верного попутчика, лишь в сопровождении готовых со мной ехать глупого долговязого камердинера Проньки да шутихи Прасковьи, о которых я же должна заботиться. И в самом деле, Александр рассудил здраво. С какой стати мне разъезжать в трескучие морозы по неприятельской, хотя и усмиренной чужой земле? Того гляди, придется плохо и мне, и Проньке, и Прасковье; к тому же польского языка совсем не знаю; они тоже его не знают.

Александр умоляет меня и не думать в этом году о Варшаве; рисует он мне мою будущность в Польше самыми черными красками, а на вопрос, чего боится, отвечал, что его томят какие-то скверные предчувствия и что если он со мною разлучится, то и его может постигнуть несчастие. Я сочла эту тираду плодом расстроенного воображения (j'ai traite cette tirade comme fruit de son imagination exaltee); как бы ни было, я брата успокоила, и мы порешили: о Варшаве мне в этом году и не думать, а в мае переселиться если не к нему на лето, то возобновить мою прежнюю девическую жизнь до поры до времени, т. е. отправиться с моими стариками в Михайловское, а квартиру сдать, потому что тратить на нее деньги мне не по силам. Польши же боюсь хуже огня. Брат Александр совершенно входит в мое положение и очень досадует на Сергея Львовича, который так запутал дела, что не мог сдержать обещания отдать мне должное: не получаю от отца с декабря ни полушки, довольствуясь высылаемою тобою частью из жалованья да процентами с ничтожной суммы, отданной нашему другу Лихардову. По крайней мере проценты верны и эта сумма находится в руках истинно преданного нам и аккуратного человека, горячо любящего всех нас. Он тоже удивляется твоему решению связать себя с Варшавой, говоря, что толку большого от этого тебе ожидать нечего…»

«…6 марта 1832 года. Вчера я показала или, лучше сказать,

передала твое письмо Александру, в котором опровергаешь подробно нелепую басню о твоей ссоре с Энгелем, раздутой до небывалых размеров. Александр был у меня сегодня и сказал, что прочел его Сергею Львовичу от доски до доски. Мой дражайший родитель, по-видимому, очень был рад и беспрестанно прерывал чтение брата словами: «Dieu, Dieu merci, que la volonte du ciel soit faite!» [147] Не напиши ты этого подробного письма Александру, то первому твоему письму дражайший бы и не поверил, доказательства были довольно в нем слабы, и сплетня пошла бы гулять по всем знакомым и, значит, по всему Петербургу, при помощи одной из твоих недоброжелательниц; не назову ее, сам знаешь. Впрочем, и кроме нее у тебя есть недоброжелательницы: ты, не в обиду будь тебе сказано, комплименты дамам говорить не мастер, а всегда ухитряешься с ними быть в размолвках, отпуская им резкости, если они в разговорах тебе противоречат…

Невестка моя Наташа сделается скоро матерью и будет, уверяю тебя, самой нежной и примерной матерью. Жаль только, что теперь не бережет здоровья. По ее словам, она принуждена чуть ли не всякий вечер являться на спектакли и вечера, значит, проводит бессонные ночи. Александр мечет против этого громы и молнии (Alexandre jette feu et famme), но, выбранившись хорошенько, всегда уступает ее убеждениям, что выезжать необходимо, и отправляется с женой вместе, зевая на балах во всю мочь (Il y bailie a gorge deploiee). Я советовала ему тоже плясать и танцами лечить скуку; припомнила брату, как он, бывало, любил быстрое движение, беганье и особенно живую пляску, свойственную нашей африканской крови; брат уверяет, что хотя ему и тяжело насиловать природу, но строго следовать ей в его лета и положение смешно. А какие же его лета? Вообразил себя стариком, вот и все. Правда, неприятностей у него бездна с этим сладчайшим Б. (avec ce doucereux de B.) [148] . Сладчайший готов, на словах, умереть за Россию, а на деле русских ненавидит, и выбрал моего брата, русского до конца ногтей (qui est russe jusqu'au bout des on gles), козлищем отпущения (en qualite de bouc emissaire). Б. послал ему неприятную рацею (une harangue bien desagreable) за то, что брат напечатал стихи не по его вкусу и вздумал читать ему нравоучения, которые под стать бывшим его гувернерам – французу Русле и немцу Гауеншильду. Александр отвечал Б. с достоинством, как подобает старинному русскому дворянину (comme un gentil-homme russe, et gentilhomme de vieille souche), и бесподобно сделал. Он умнее господина Б. во сто раз, а предан царю и отечеству более чем этот господин, в миллион раз. Наконец, у брата борода слишком густа, чтобы с ним поступали,

как со школьником (a la fn des fns mon frere a trop de barbe au menton pour etre ecolier). Знает, слава Богу, как писать и что писать.

Эта история очень возмутила брата, который мне признался, что его вырвало желчью. Очень, очень понимаю. (Je le comprends on ne peut mieux.)

А что брат Лев? И на него сплетни. Носятся слухи, будто бы он у вас в Варшаве напроказил по-своему (on pretend, qu'il a fait des siennes); хотя он ничего, Боже сохрани, против чести и нравственности не сделал, но, как говорят, поместил в последнее время столько денег в желудки своих товарищей по полку, нагружая оные устрицами и шампанским, что в конце концов должен был прибегнуть к долгу, довольно почтенному; остается узнать, кто этот долг заплатит. Надеюсь, что ты тут ни при чем (mais dernierement, a ce qu'on dit, il a mis tant d'argent dans les estomacs de ses camarades de regiment, en les bourrant d'huitres et de champagne, qu'a la fn des fns il a ete oblige de contracter une dette assez respectable. Reste a savoir, qui payera les pots casses; j'espere que vous n'y etes pour rien). Об этом долге разблаговестили Сергею Львовичу; он прослезился и запел свой романс: «Que la volonte du ciel soit faite» [149] , но умоляет меня спросить у тебя по секрету: правда ли это, и сколько Леон задолжал? Александру ничего еще не известно, но и он, вероятно, услышит от добрых людей означенную (la susmentionnee) новость. Если же Леон от тебя скрывает истину, то можешь проведать обо всем у его приятеля Алексея Николаевича Вульф. Он и Лев неразлучны, но Вульф и с тобой откровенен.

Им обоим очень кланяется (приказывает тебе передать этот поклон) Аннет Керн (Annette Kern). Она здесь и просидела у меня третьего дня весь вечер. Такая же веселая, как и была, и, как говорит Александр, по-прежнему так же добра, как хлеб, который едят (tout aussi bonne, comme du pain que Ton mange); поручила тебе передать Лельке беспутному, хотя и храброму капитану (quoi qu'au vaillant capitaine), что она бережет свой альбом как глаз, так как храбрый капитан нацарапал туда по-русски свои стихи в ее честь: «Как можно не сойти с ума» [150] , несмотря на то, что опасный соперник Леона, души, впрочем, в «капитане» не чающий (догадываешься, что этот соперник брат Александр), когда-то посмеялся над стихами Льва, сказав о поэзии Лельки: «Хочет меня перещеголять помимо пословицы: «куда конь с копытом мчится, туда рак с клешней тащится». А я-то и боюсь, что Леон, если рассказанные его подвиги (ses hauts faits) не сплетни, в самом деле с ума сошел».

Упоминая о поэтической выходке Льва Сергеевича, Анна

Петровна Керн замечает в своих записках, что она действительно показала дяде Александру эту выходку и он, прочитав ее, сказал обо Льве Сергеевиче: «Il a aussi beaucoup d'esprit». [151]

Не привожу буквально прочих писем моей матери за апрель, в которых она упоминает о деятельности дяди Александра с января 1832 года, считая совершенно излишним повторять давно уже известное всякому, кто изучал труды нашего поэта в хронологическом порядке. В моей же хронике, излагающей семейные события Пушкиных и Павлищевых, ограничиваюсь указанием, что Ольга Сергеевна в письмах к мужу за апрель говорит об усердном посещении братом архивов, как Инспекторского департамента, так и других правительственных учреждений, куда ему, по высочайшему повелению, был открыт беспрепятственный доступ для собрания материалов к историческим трудам; в то же время Пушкину разрешен был и осмотр библиотеки Вольтера.

Говорит Ольга Сергеевна также, что брат сообщил ей о его намерении написать подробную, вполне беспристрастную историю нашего северного Аннибала – Суворова, основываясь также и на иностранных источниках, и получил уже из московского архива официальные донесения знаменитого полководца о его действиях против французов в Италии и Швейцарии.

Кроме того, Ольга Сергеевна пишет, что Пушкин приступил тогда к фантастической драме «Русалка», задавшись мыслию перенести на русскую почву предание, избранное уже сюжетом многих иностранных романов и даже опер, как, например: «Le lac des fees» [152] Обера, «La dame du lac» [153] Буальдье и т. д. «Не выйдет ли это нечто в роде «Ундины» Василия Андреевича?» – заключает письмо Ольга Сергеевна.

Наконец, в письме от 28 апреля мать говорит о великодушии брата, издавшего в пользу братьев Дельвига альманах «Северные цветы», за который Александр Сергеевич получил тоже немало неприятностей. Сообщает она, между прочим, что ее брат задумал приступить к изданию и ежедневной политической газеты, причем не могу не упомянуть, что Ольга Сергеевна посмотрела на это предприятие весьма неблагоприятно. «Mon pauvre irere, – пишет она мужу, – veut se mettre en train de profaner son genie poetique, et de le profaner unique-ment pour subvenir a ses besoins materiels; mais, d'apres ce qu'il m'a raconte, en m' exposant sa position precaire, il ne saurait faire autrement. (Мой бедный брат готов осквернить свой поэтический гений, и осквернить его единственно для того, чтобы удовлетворить насущным материальным потребностям; но, судя по тому, что он мне

рассказывал, описывая свое ненадежное положение, Александр иначе и поступить не может.) Но куда ему с его высокой созерцательной идеальной душой окунуться в самую обыденную прозу, – продолжает Ольга Сергеевна, – возиться с будничным вздором, прочитывать всякий день полицейские известия, кто приехал, кто уехал, кто на улице невзначай разбил себе нос, кого потащили за уличные беспорядки в часть, сколько публики было в театрах, какая актриса или актер там восторгался, болтать всякий день о дожде и солнце (parler quotidienne-ment de la pluie et du beau temps), а что всего хуже, печатать да разбирать бесчисленные побасенки иностранных лгунов, претендующих на политические сведения, черт с ними! Гораздо лучше предоставить все эти пошлости Булгарину и Гречу».

Упоминая, что дядя Александр имеет в виду взять к себе в помощь, в качестве распорядителя по изданию газеты, Наркиза Ивановича Отрешкова, Ольга Сергеевна рассказывает мужу о проектируемом сотруднике, между прочим, следующий анекдот:

«Наркиз Иванович прекрасный молодой человек, так что для газеты лучше и не надо; аккуратный, честный, работящий, но увы! так безнадежно влюблен во французский язык, что коверкает его не меньше твоего пана Мицкевича, а следовательно, действует мне на нервы ужаснейшим образом. Поймешь меня, когда тебя спрошу: каково твоему музыкальному уху выносить фальшивые ноты? Слушая, однако, намедни Наркиза Ивановича, я не могла удержаться от смеха. Вообрази, соглашаясь в серьезном разговоре с моим мнением, он пожелал отпустить мне комплимент и сказать по-французски, что я умная женщина (que je suis une femme sage), да брякнул мне как раз наоборот и запел: «Madame, madame, vous etes une sage femme, une sage femme» (т. е. если перевести по-русски: «Сударыня, сударыня! вы бабка повивальная, повивальная»). Я, каюсь в согрешении, отвечала ему на родном, не на французском языке: «А кто вам рассказал, что я акушерка, Наркиз Иванович?» Будущий сотрудник растерялся и рассыпался в извинениях, но был настолько умен, что не обиделся».

Мысль моего дяди издавать ежедневную газету не осуществилась. Мать моя сказала: «И слава Богу», но Плетнев и Соболевский посетовали, а князь Петр Андреевич Вяземский выражает свое об этом соболезнование в своих воспоминаниях. «Журнал Пушкина, – пишет покойный князь, – не состоится по крайней мере на будущий год; жаль: литературная шайка грече-булгаринская остается в своей силе…»

Желание князя Вяземского об издании Пушкиным ежедневного печатного органа в столице заявлено, между прочим, и в следующих его строках к И.И. Дмитриеву: «Молодой или

будущий газетчик занят своею беременностью. Тяжелый подвиг, особенно при недостатке сотрудников. Пришлите что-нибудь новорожденному на зубок… благословите его на новое поприще…»

Говоря об этом, считаю не лишним заметить, что покойный князь Петр Андреевич Вяземский, во время своих частых посещений моей матери летом 1856 года, когда она, живя на даче Лесного института, была близкой его соседкой, высказал ей в одной из бесед, которой я был очевидным свидетелем, мысль, что перо Александра Сергеевича, если бы он управлял ежедневным печатным органом, не замедлило бы облагородить русскую повременную литературу, придав ей настоящий, а не фальшивый русский характер, так как главная газета «Северная пчела», следовательно, и другие журналы были монополией корчивших из себя русских поляка Булгарина, немца Греча [154] и исполняли концерты по камертону немца же Бенкендорфа да не совсем русского Дубельта, где же тут могло настоящей Русью пахнуть?..

Не приводя подробно сообщений моей матери за апрель 1832 года, извлекаю лишь одну выдержку из ее письма от 27-го числа, после того как Александр Сергеевич, в одном из разговоров с нею, выразил крайнее свое неудовольствие, что он слывет в большом свете «единственно» сочинителем, вследствие чего и обозвали его таковым, для отличия от прочих его однофамильцев: Мусиных-Пушкиных, Бобрищевых-Пушкиных и т. д.

«Брат опять сделался уже чересчур раздражительным, – пишет Ольга Сергеевна, – и принимает к сердцу такие безделицы, которые надо бы пропускать мимо ушей. Представь себе, до сих пор не может переварить (jusqu'a present il ne peut digerer) рассказ своего приятеля [155] , – который легко, может быть, и выдумал сплетню для красного словца, – будто бы при разъезде с какого-то бала, когда прислуга закричала: «Карета Пушкина готова», – некто из господ, ожидавших очереди, полюбопытствовал спросить: какого Пушкина? – и получил на этот вопрос от кого-то громкий ответ: «Сочинителя!».

Брат, – продолжает Ольга Сергеевна, – передал мне это великое происшествие с пеной у рта (l'écume a la bouche), говоря, что он не как сочинитель, а как столбовой русский дворянин посещает открытое для него, как и для всякого подобного ему дворянина, высшее общество и что отнюдь не желает служить предметом любопытства, в качестве курьезного зверя, господам зевакам (et ne se soucie d'aucune facon d'etre le point de mire, a l'instar d'une bete curieuse, a messieurs les badauds). К этому Александр прибавил, что, если бы в данном случае, да и во всех

других, называли для отличия от однофамильцев чиновника Иностранной коллегии Пушкиным – ему гораздо было бы приятнее. В Иностранной коллегии других Пушкиных нет».

Высказанную сестре досаду Пушкин излил, впрочем, тремя годами позже в своих «Египетских ночах», намекая, как догадываюсь, на приводимый Ольгой Сергеевной рассказ, когда говорит, что Чарского, имевшего несчастие писать и печатать стихи, знали в журналах поэтом, а в лакейских – сочинителем, и излагает затем следующие мысли, выстраданные им самим:

«Несмотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы, – пишет Александр Сергеевич, – эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям. Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеймен и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия. Возвратится ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: «Не привезли ли вы нам чего-нибудь новенького?» Задумается ли он о раслийском магазине и ждет уже элегии. Приедет ли он к человеку, почти с ним не знакомому, поговорить о важном деле, тот уже кличет своего сынка и заставляет читать стихи такого-то, и мальчишка угощает стихотворца его изуродованными стихами. А это еще цветы ремесла! Каковы же должны быть ягоды? Чарский признавался, что приветствия, запросы, альбомы и мальчишки так ему надоели, что поминутно он принужден был удерживаться от какой-нибудь грубости».

В дальнейших, следующих строках Пушкин очень удачно рисует собственный свой портрет, начиная с его отношений к свету до своей страсти к печеному картофелю включительно; картофель в печеном виде Ольга Сергеевна всегда приготовляла дяде Александру, когда он у нее засиживался долее обыкновенного:

«Чарский, – говорит дядя, – употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище. Он избегал общества своей братии литераторов и предпочитал им светских людей, даже самых пустых, но это не помогало ему. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы… В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с радостью и суеверием молодого москвича, в первый раз от роду приехавшего в Петербург. В кабинете его, убранном как дамская спальня, ничто не напоминало писателя: книги не валялись по столам и под столами; диван не был обрызган чернилами; не было того беспорядка, который обличает присутствие музы и отсутствие метлы и щетки. Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из

светских его друзей заставал его с пером в руках. Трудно поверить, до каких мелочей мог доходить человек, одаренный, впрочем, талантом и душою. Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом, хотя никак не мог отличить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне предпочитал печеный картофель всевозможным изобретениям французской кухни. Он вел жизнь самую рассеянную, торчал на всех балах, объедался на всех дипломатических обедах и был на всяком вечере так же неизбежим, как резановское мороженое. Однако ж он был поэт, и страсть его была неодолима. Когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение) [156] , Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что тогда только и знал истинное счастье. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь, и слыша поминутно славный вопрос: «Не написали ли вы чего-нибудь новенького?»…»

«Сегодня жду к себе мою милую и добрую невестку Наташу, – пишет Ольга Сергеевна мужу от 6 мая. – Она готовится сделаться очень скоро матерью, а пока не увижу моего будущего племянника или племянницу, не хочу и помышлять об отъезде не только в твою «дурацкую Польшу» – не в огорчение будь тебе сказано (n'en vous depiaise) – о чем можешь отложить всякое житейское попечение, но и куда бы ни было из Петербурга. Александр опять стал меня убеждать переселиться к нему после родов жены на все лето с тем, чтобы нянчиться с новым или новой Пушкиной – кого Бог ему пошлет, – но чем я могу быть полезной? и без меня публики у него будет довольно.

Наташа страдает ужасными головокружениями, но страдания переносит безропотно. Она, можно сказать, ангел терпения и кротости: от нее никто не слышит ни досадного слова, ни жалобы. Доктор запретил ей выезжать на вечера и в театр, но советовал гулять всякий день понемножку, будет хорошая погода, а Наташа у меня долго не засидится; Александр за нею приедет. Видя ее страдающую, он страдает не меньше, чем она, так что я ему сказала в шутку: «A vous voir, on dirait que ce n'est pas Наташа mais vous, qui subissez tous les martyrs de l'eniante-ment» (На вас посмотришь, скажешь, что не Наташа, а вы претерпеваете все муки родов (*фр* .)). Он поручил мне тебя известить, что твой приятель и товарищ по лицею Дурасов сделан на днях камер-юнкером. К этому Сашка шалун (а он шалун, когда захочет) прибавил, что и тебе туда же дорога, потому что Паскевич, когда с тобой объясняется, приходит от тебя в восторг и при верной оказии озолотит тебя, если не внутри, так снаружи; но, сказав,

что ты у Паскевича на хорошем счету (que tu es entres bonne odeur aupresde Паскевич), брат сообщил о тебе, увы! и четыре раза увы! (helas, et quatre fois helas!) новую сплетню: дело в том, что сюда пожаловал из Варшавы его знакомый, некто Литке, который ему побожился (qui lui a jure ses grands dieux), будто бы тебя снабжают жалованьем не в пять тысяч рублей ассигнациями, как ты писал, а в пять тысяч злотых (a raison de cinq mille пятиалтынный, chretiennement parlant (по пять тысяч пятиалтынных, говоря по-христиански (*фр* .)). Александр этому поверил, да и написал брату Льву, с тем, однако, чтобы «храбрый капитан» тебе не проболтался, правда ли это? Оказывается, вздор, о чем Лев и дал знать Александру – тоже от тебя по секрету. Между тем Сергей Львович, который было так обрадовался, когда я ему говорила о пяти тысячах рублях, рассчитывая поэтому, что могу обойтись без его помощи, впал – как говорил Александр – в отчаяние (est tombe de son haut), когда услышал от брата новость господина Литке о пяти тысячах злотых, и сейчас же развязал язык (il a dellie sa langue) перед матушкой, а она, само собою разумеется, объездила своих знакомых поделиться соображением, что если перееду к тебе в Варшаву, то познакомлюсь с одной лишь нетопленой комнатой да двумя-тремя стульями, совершенно ветхими. Александр говорит, что хотя сплетня и пошла гулять дальше, но он бы мне о том и не заикнулся, если бы не получил опровержение от брата (s'il n'aurait pas re?u un dementi de son frere la dessus).

Впрочем, во всяком случае, сделаешь мне большое удовольствие, если и ты письменно подтвердишь Александру неосновательность рассказа Литке, точно так же, как уже опровергнул и пущенные нелепые толки о твоей чудовищной размолвке с Энгелем. Александр хотя и считает тебя человеком рыцарски правдивым, но мало ли что могут ему натрубить, да и меня поставить в неловкое положение; могут подумать, что, рассказывая о твоих пяти тысячах, я хвастунья. К счастию, Александр догадался всю эту сплетню распутать».

19 мая 1832 года у Александра Сергеевича родилась дочь, названная при крещении Марией, в честь покойной бабки Пушкина – Марии Алексеевны Ганнибал. Ольга же Сергеевна, как видно из ее письма к моему отцу, отправленного из квартиры дяди Александра, склонясь на просьбу последнего, переехала к нему на короткий срок, за несколько дней до появления на свет новорожденной. В письме от 22 мая моя мать сообщает, что она вынуждена была объявить брату напрямик о неизбежности скорого своего отъезда в Варшаву, несмотря на ее отвращение, как она выражалась, к «дурацкой Польше», потому что жить на

два хозяйства было немыслимо. Поддержки же от Сергея Львовича ожидать не предстояло возможности, так как его казна перешла целиком в ящики воров-управляющих, которые, набив себе карманы золотом, благодушествуют и процветают безнаказанно на счет стариков. (Toute la fortune de mon рёге, grace a son inexperience, est passee dans les tiroirs de ses archivoleurs d'intendants, qui seuls rengorgent d'or et prosperent im-punement, au detriment de nos vieux.)

Дядя Александр – как мать, впрочем, и ожидала – восстал против ее предположения, говоря сестре, что, пока да что, он сам придет к сестре на помощь, съездит в Михайловское и не только прогонит оттуда мошенника приказчика, но отдаст его за воровство под суд, чем и спасет les tres chers parents [157] , которые и будут выдавать ей правильно проценты с причитавшейся матери моей суммы, а моему отцу нечего-де связывать себя с Варшавой; Варшава для русских не постоянное пребывание, но постоялый двор. Так дядя и выразился; в конце же концов настоял, чтобы Ольга Сергеевна провела лето у стариков, прибавив, что сам будет стараться перевести впоследствии из Варшавы сюда Николая Ивановича, если осенью суждено уже будет расстаться с сестрой.

На другой же день после этого разговора дядя Александр черкнул в Михайловское приказчику требование выслать на его имя немедленно – под страхом короткой, но самой беспощадной расправы, – часть следуемых Сергею Львовичу денег. Острастка подействовала: плут управляющий струсил и выслал если не все требуемое, то часть, которую дядя и вручил Сергею Львовичу – к большой радости последнего, – убедив при этом своего отца снабдить сестру известной цифрой, которая могла бы отдалить еще на четыре месяца ее отъезд в Варшаву.

«По милости моего доброго Александра, – пишет мать Николаю Ивановичу от 30 мая, – можешь мне из твоего жалованья за июнь и июль выслать меньше. Полученные от отца деньги пойдут и на уплату квартиры, и на стол, и на пару новых для меня скромненьких платьев. Кроме того, Александр принудил меня продать ему мебель, оценив ее гораздо выше того, что она стоит на самом деле. Сказал, что она ему будто бы необходима, а если ему и не продам, то этим его обижу. На эти полученные от него деньги я купила мебель подешевле, и в меньшем количестве, имея в виду переехать осенью к тебе; возьму купленную с собой. Теперь сижу у брата, и он мне объявил, чтобы я и не думала от него уехать раньше субботы. Невестка чувствует себя хорошо, а малютка у нее хоть куда; на кого будет больше похожа, нельзя сказать, но, кажется, скорее на отца, и выйдет такая же крикунья,

как и он, судя по тому, что голосит и теперь очень исправно».

Во второй половине июня старики Пушкины решили ехать в Михайловское на все лето и осень. Хозяйство их шло очень плохо; Александр же Сергеевич, заботясь о своем семействе, не мог заниматься постоянно их просвещением и сказал сестре: «Не могу сидеть над моим отцом с указкой. Он, слава Богу, совершеннолетний. Сам пускай ведается, как знает!»

Дела Сергея Львовича не только не улучшились, но произошло и нечто худшее: избалованные беспечным барином мужики порешили до будущего 1833 года не платить Сергею Львовичу оброка и подкрепили такое решение поджогом своих же четырнадцати хат и хлеба, с целью получить право на неплатеж (ils ont resolu, – пишет Ольга Сергеевна, – se trouvant au cabaret, d'incendier 14 maisons et de bruler le ble, dans l'es-poir d'avoir le droit a ne pas le faire). Сергей Львович прискакал с Надеждой Осиповной в Михайловское, велел «пейзанам» собраться у крыльца, затопал на них обеими ногами, предложил несколько вопросов, вроде следующего: «Когда же сделаетесь людьми, пьяные свиньи», и… тем дело кончилось.

«Пейзане» почесали покорные затылки, не внесли все-таки ни гроша, а мошенник управляющий остался княжить и володеть еще на четыре года, пока не был выгнан моим отцом, о чем речь впереди.

Ольга Сергеевна, выехав в половине июля из Петербурга в Михайловское к родителям, сдала милую ей квартирку в доме Дмитриева, и рассталась с нею – как она мне говорила, – заливаясь горькими слезами.

«Покидая мое разоренное гнездышко, – сообщала мне она, – я подчинилась ничем не одолимому чувству грусти. Предвидела я, что не только этот любимый мною уютный уголок исчезает для меня навеки, но и родной мне Петербург, к которому от души привязана, в котором родилась, росла, радовалась, страдала, – Петербург, где обитает все, что близко к сердцу, – долго, а может быть, никогда меня не увидит. Мне казалось, что комнаты, окна, двери, печки дома Дмитриева говорили мне: зачем и на что ты нас покидаешь?..»

Сопровождая своих родителей в деревню, Ольга Сергеевна простилась, скрепя сердце, с Александром Сергеевичем, но так как она ему ничего не говорила о принятом ею решении отправиться из Михайловского прямо в Варшаву, уверив, что сдала квартирку из экономии, а мебель берет с собой в деревню с тем, чтобы перевезти ее вновь на другую квартиру, которую непременно наймет в Петербурге осенью, то Александр Сергеевич на этот раз, несмотря на свой дар предчувствия, ей поверил, и

когда сестра, прощаясь с ним и с невесткой, не могла удержаться от рыданий, то очень удивился этому и спросил ее о причине ее отчаяния и грусти, которую объяснить себе не может, так как Михайловское не Бог знает как от него далеко, а если она уже так жалеет его и Наталью Николаевну, то ничто ей не мешает приезжать к ним из Михайловского, да и совсем к ним переселиться.

«Я должна была выдержать роль до конца, – говорила мне мать, – то есть не обмолвиться брату ни единым словом, что считаю предстоявшую с ним разлуку если не вечной, то очень и очень долговременной».

Привожу затем ее дальнейшие слова – насколько их помню. Мать рассказала мне об этой тяжелой для нее минуте приблизительно так:

«Александр очень обрадовался моему приходу и одобрил мой план ехать через несколько дней к родителям, говоря, что лучше ничего и придумать нельзя; мечтать же о поездке в Варшаву нечего, так как в этом нет никакого смысла. Советовал он мне продолжать в деревне писать мои воспоминания, заниматься живописью и не принимать к сердцу пустяков, помня, что смертные живут не два, а один только раз.

Невестка была особенно ласкова и родственна; опять показала мне новорожденную Машу. Тут-то волновавшие меня чувства победили рассудок: поцеловав и перекрестив малютку, я истерически зарыдала, чему брат очень удивился. Он проводил меня на следующий день до Подгорного Пулкова, не подозревая, что лишние его проводы для меня были и лишними, как говорит пословица, слезами. Но и тут о Варшаве я ему не заикнулась; однако, благословив его, я обняла Александра, мучительно рыдая. Никогда еще я так не скорбела при прежних с ним разлуках; казалось мне, теряю его безвозвратно. Если бы только могла предвидеть, что во время моего отсутствия созреет против него заговор мерзавцев, жаждавших его крови, то ни за что на свете не удалилась бы из России, а во что бы ни стало склонила Николая Ивановича бросить Варшаву и переехать ко мне в Петербург. При всем том в моем воображении рисовались картины мрачнее одна другой.

Прощаясь со мною, Александр сказал:

– Оленька! если так тебе грустно со мной расставаться, то, чтобы не было еще грустнее, советую тебе не оборачиваться назад, когда твой экипаж тронется, и на меня не смотреть вслед. Примета верная.

Но совету брата я не последовала и, когда двинулась моя карета, не вытерпела, чтобы не обернуться, и еще раз взглянула

на удалявшегося брата…»

Итак, с половины июля до половины октября Ольга Сергеевна провела последнее время своего пребывания на русской земле, с которой затем рассталась на довольно длинный период, у родителей в Михайловском, посещая вместе с ними в Тригорском своих подруг Вульфовых (брат их Алексей Николаевич служил в одном из полков, расположенных тоже в Варшаве) и лежавшие недалеко от Михайловского вотчины Ганнибаловых, Шушериных, Рокотовых и других знакомых, о которых я упоминал уже в прежних главах моей хроники.

Между тем отъезд моей матери в Варшаву к отцу, где он тогда окончательно устроился и приискал новую квартиру, сделался для Ольги Сергеевны неизбежным, и скрывать этот отъезд от стариков не было уже никакой возможности.

«На той неделе, – пишет она Николаю Ивановичу от 6 августа, – я объявила папа и мама о твоем намерении встретить меня осенью в Варшаве на нанятой уже с этой целью (dans ce but) тобой квартире, а также и о дальнейшей невозможности играть вовсе не присущую мне роль и девушки, и вдовушки, между тем как я ни то, ни другое. Можешь себе вообразить, какую я сцену вынесла после этого, и вынесла в мои-то лета! «Дражайший» из себя вышел, мама тоже, оба, не понимая никак, что я четыре года замужем, а в разлуке с мужем гораздо более года и что не могу же их забавлять моей особой до второго пришествия без развода с тобою, а развода совершенно не желаю, к чему, впрочем, кажется, и не предстоит ни малейшего повода. Я, по словам Александра, Пенелопа второго издания, а что касается до тебя, мой дорогой, – сердись или не сердись, для меня все равно, – ты, слава Богу, далеко не так обворожителен, чтобы записаться в новейшие Дон Жуаны, и даже если бы ты не уступал в красоте не только Дон Жуану, но и самому Нарциссу, то и тогда не сумел бы этим качеством воспользоваться как следует: вести с дамами интересные для них беседы никак не можешь, а желая отпустить дамам сколько-нибудь сносный комплимент, попотчуешь их такой – по невинности души твоей – дерзостью, вследствие которой они рады будут с тобой и не встречаться. Опасен, нечего говорить!

Все это я высказала дражайшим и истощила перед ними много доказательств необходимости переселения к тебе, помимо моего какого-то непонятного отвращения к Польше, где вдали от родных редко услышу и родное, русское слово. Моей речью я их, по-видимому, убедила: по крайней мере «мольеровских сцен» после этого уже не было: теперь отец ограничивается тем, что обливает меня слезами, а Вульфам, Рокотовым и Вениамину

Петровичу Ганнибалу проповедует мое упрямство. Лучше бы доказал иначе, что меня любит. Мать же, уверяя, будто бы ты слишком занят службой, чтобы обо мне думать, – а в Варшаве у тебя в свободные часы бездна, дескать, приятелей вполне меня заменяющих (каково?!), – твердит мне всякий Божий день, что она не может привыкнуть к моему намерению жить с тобою. Каково мне переносить все ее причитывания? Еще хорошо, что я упросила родителей ничего пока не писать брату Александру о моем решении; не то присоединился бы к ним и стал бы угощать меня тоже, правда, не изустными, но совершенно напрасными письменными сценами, для чего и рад был бы преодолеть свою лень на переписку, – переписку, которая подействовала бы как нельзя хуже на мои нервы. К счастию, нервы теперь у меня окрепли, а мой первобытный нрав опять взял преимущество. Я веселее и беззаботнее, чем всякая другая, которая очутилась бы на моем месте. Что делать? Стараюсь рассеяться прогулкою при хорошей погоде, а при дурной – чтением и живописью; кроме того, утешаю себя мыслию, что, покидая родителей помимо их воли, покидая друзей, места, среди которых провела несколько светлых лет моей жизни, вновь найду тебя, мой мнимый Дон Жуан; а ты имеешь в виду мое благополучие, и от тебя зависит уже затем всецело и мое счастие».

Привожу затем некоторые выдержки из писем Ольги Сергеевны к моему отцу за август того же 1832 года, насколько письма эти касаются Александра Сергеевича.

В одном из них моя мать, рассказывая о домашнем быте своего брата и упоминая о ее последних с ним свиданиях, сообщает уже не по-французски, а по-русски:

«…Александр, когда возвращался при мне домой, целовал свою жену в оба глаза, считая это приветствие самым подходящим выражением нежности, а потом отправлялся в детскую любоваться своей «Машкой», как она находится или на руках у кормилицы, или почивает в колыбельке, и любовался ею довольно долго, часто со слезами на глазах, забывая, что суп давно на столе.

Говорил он мне, что девочку назвал Марией и в честь бабушки, а отчасти потому, что не хотел дать дочери другого имени, которое можно было бы коверкать, согласно народной фантазии, чего и будет всегда избегать, если Бог пошлет ему дальнейших наследников. Брат уверен, что ни один народ так не коверкает собственные имена, как мы, русские; и, к сожалению, не одно наше простонародье. Например, имена женские: Евдокия у нас – Авдотья, Аквилина – Акулина, Агриппина – Аграфена, Елена – Алёна, Феврония – Хавронья, а мужские: Иосиф – Осип,

Флор – Фрол, Антоний – Антон, Парфений – Парфён, так что из благозвучных имен – в особенности из Февронии и Флора – наши соотечественники возлюбленные ухитрились сотворить уже не имена, а клички, безобразные для уха»…

В другом письме Ольга Сергеевна, сообщая мужу о настроении духа брата-поэта и соболезнуя о его мнительности, излагает следующие мысли Пушкина, которые и перевожу, так как это письмо моей матери, подобно прочим, за исключением предшествовавшего, – французское:

«…Александр мне сказал, что не верит прочности своего семейного счастия. В своей Наташе он, правда, видит совершенство и дает голову на отсечение (il met sa tete en gage), что она в отношении к нему всегда пребудет чиста и непорочна, и что иначе, при ее христианском благочестии и страхе Божием, быть не может; быть иначе не может также и потому, что она видит перед собой человека, который любит ее, – сказать лучше, влюблен в нее без памяти, – предупреждает, как может, ее желания, насколько они удобоисполнимы, – человека, который молит Создателя, чтобы все предназначенные ей свыше невзгоды пали не на нее, а на него. Но, несмотря на свою уверенность, брат говорил мне, что он иногда считает себя самым несчастным существом (un etre des plus mal-heureux) – существом, близким к сумасшествию, когда видит свою жену, разговаривающую и танцующую на балах с красивыми молодыми людьми; одно уже прикосновение чужих мужских рук к ее руке причиняет ему приливы крови к голове (lui fait monter le sang a la tete), и тогда на него находит мысль, не дающая ему покоя, что жена его, оставаясь ему верной, может изменять ему мысленно (mentalement). На мое замечание, что он сражается с привидениями, Александр мне сказал, что моя мысль несправедлива, и опять повторил свое предположение о возможности не фактического предпочтения, которое, по благородству и благочестию Наташи, предполагать в ней просто грешно, но о возможности предпочтения ею мысленного других перед ним. Разговор мой с ним происходил, разумеется, с глазу на глаз, и он молил меня Христом и Богом не упоминать Наташе о сказанном ни полслова. Признался мне брат, что он во время каждого бала делается мучеником, а затем проводит от гнетущей его тяжелой мысли бессонные ночи». [158]

Как видно по напечатанным письмам дяди к Наталье Николаевне из Москвы, куда он ездил в конце сентября недели на три, Пушкин намекает ей, хотя и в шуточном дружеском тоне, на то, что ее беседы с посторонними кавалерами ему не совсем по нутру, а в письме от 27 сентября говорит между прочим:

«Нехорошо только, что ты пускаешься в разные кокетства: принимать П…а тебе не следовало, во-первых, потому, что при мне он у нас ни разу не был, а во-вторых, «хоть я в тебе и уверен», но не должно свету подавать повод к сплетням». От 30-го числа дядя шутит следующим образом: «Мы (т. е. Пушкин и Баратынский) всякий день видимся. А до жен нам и дела нет. Грех тебе меня подозревать в неверности к тебе и в разборчивости к женам друзей моих. Я только завидую тем из них, у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не Мадонны etc. etc. Знаешь русскую песню: «Не дай Бог хорошей жены, хорошу жену часто в пир зовут, а бедному-то мужу в чужом пиру похмелье, да и в своем тошнит»…»

В заключение не могу не заметить, что, по словам моей матери, Наталья Николаевна, будучи нрава довольно веселого, любила иногда подшучивать над родными и хорошими знакомыми, и подшучивать над ними в глаза, а никак не за глаза, зачастую, впрочем, не разбирая, в игривом ли расположении духа ее слушатели или нет. Она вообще любила в веселых беседах их поддразнивать (les taquiner), не думая их обижать, вероятно, и вышеприведенные намеки мужа были не чем иным, как результатом того же добродушного поддразнивания, которое, однако, Пушкин терпеть вообще не мог, будь подобное поддразниванье словесное или письменное. Короче, покойная моя тетка не поняла мужа с этой стороны как следует, не постигнув его до крайности неровный характер, характер притом подозрительный, мнительный. И без поддразниваний в шуточном тоне он был ожесточен серьезными поддразниваниями «добрых людей», которые и тогда уже были не прочь утопить Пушкина в столовой ложке, выжидая только удобного для этого случая.

Александр Сергеевич останавливался в Москве у своего друга Павла Воиновича Нащокина, посещал, как выше сказано, Сонцовых, Евгения Абрамовича Баратынского, Михаила Петровича Погодина, которого впоследствии приглашал помогать ему в архивных трудах [159] , но занят был преимущественно исполнением своих литературных предприятий. «Мне пришел в голову роман (вероятно, дядя имел тогда в виду «Капитанскую дочку»), – пишет Пушкин Наталье Николаевне, – и я, вероятно, за него примусь; но покамест голова моя кругом идет при мысли «о газете». Как-то слажу с нею? Дай Бог здоровья Отрыжкову (так дядя прозывал всегда Наркиза Ивановича Отрешкова, о котором я упоминал выше); авось вывезет».

Глава XXXII

Не распространяясь подробно о том, как мой дед и бабка привыкли в конце концов к мысли, что разлуки с дочерью рано или поздно им не миновать, и не описывая подробно последние дни пребывания Ольги Сергеевны в Михайловском, скажу, что моя мать покинула родительский очаг 6 октября 1832 года, недели за полторы до возвращения дяди Александра из Москвы в Петербург, где он опять переменил квартиру, поселившись в более для него удобной, хотя и более дорогой, на Большой Морской, в доме тогдашнего богача Жадимеровского.

Ольга Сергеевна выехала 6 октября из Михайловского во Псков, куда ее провожали, кроме родителей, и воспетые дядей ее подруги, обитательницы Тригорского, Анна Николаевна Вульф, сестра ее Евпраксия Николаевна Вревская, их мать Прасковья Александровна Осипова и кузены Ганнибалы – Семен Исакович и Вениамин Петрович; по милости неизменной веселости всей этой беззаботной компании, настроившей на мажорный тон расположение духа как стариков Пушкиных, так и уезжавшей, разлука обошлась без лишних патетических сцен со стороны Сергея Львовича и Надежды Осиповны; дед удалился в угол и тихо заплакал, прослезилась и бабка, после чего оба стали проклинать Варшаву и Польшу. При окончательном расставаньи Сергей Львович написал любезное письмо Николаю Ивановичу, а Надежда Осиповна, не сказав о зяте, по обыкновению, ни полслова, вручила дочери только записку Льву Сергеевичу и просила ее поклониться брату «тригорских соседок» – Алексею Николаевичу Вульфу.

Из Пскова Ольга Сергеевна отправилась в дальнейший путь на Варшаву чрез Динабург, Вильно и Брест-Литовск, в сопровождении двух прислуг; ехала на почтовых, но в собственной карете, приобретенной на часть выхлопотанных Александром Сергеевичем у Сергея Львовича денег.

Последнее письмо Ольги Сергеевны Николаю Ивановичу, где она сообщает ему все изложенное мною выше, помечено из Динабурга.

По приезде Ольги Сергеевны в Варшаву открывается постоянная, последовательная с нею переписка деда и бабки. Сергей Львович и Надежда Осиповна сообщают ей в стройном, систематическом порядке события, касающиеся как их семейного очага, так и обстоятельств, случившихся с покойным нашим поэтом. Переписка эта и послужила мне главным основанием при ведении настоящей хроники с конца 1832 по 1836 год, т. е. до

кончины бабки. Рассказы же о событиях 1837 года, заканчивающие отдел моих воспоминаний, основаны преимущественно на записанных мною словах моих родителей и дополняются как изустными сообщениями лиц, стоявших более или менее близко к Александру Сергеевичу, так и несколькими письмами остававшегося в живых Сергея Львовича. Передавал он моим родителям, кроме письменных сообщений, и изустно немало фактов, слышанных мною от Ольги Сергеевны и Николая Ивановича впоследствии, когда он их посетил в 1842 и 1846 годах.

«Милые бесценные мои дети, Оля и Леон, – пишет Надежда Осиповна от 20 октября. – Пишу вам в Варшаву обоим: вы теперь вместе. Благодарю тебя, Оля, за оба письма из Динабурга и Бреста. Они были мне хотя и грустным, но все-таки большим утешением в первые дни горькой разлуки с тобою, от которой не могу еще опомниться, а ты, милый Леон, будь в нас уверен: сделаем все, что сочтем возможным вывести тебя из настоящих твоих денежных затруднений, лишь бы ты взял себе отпуск, а там совсем у нас поселился. Слава Богу, внес и ты долю в бессмертный венок последних подвигов славной русской армии! Весьма и весьма уже долго ведешь кочующую жизнь без определенной до сих пор будущности, и утешь нас, бедных твоих стариков! Александр возвратился в Петербург, но у нас в Михайловском не будет. Собственноручных от него известий и после нашей с тобой, Ольга, разлуки от него не было, статься может и писал, но письма не дошли, сведения же о его возвращении получили от П. А. Осиповой, а она от третьего лица (par une personne tierce). Таким образом мы только от нее узнали, что он приехал из Москвы с мучительным ревматизмом в правой ноге, но, несмотря на это, возится с переборкой на новую квартиру; узнали мы и то, что у его Наташи показались опять некоторые признаки беременности, чему Александр очень рад. Лишь бы берегла себя, не то он с ума сойдет от беспокойства.

Он от нас отрезанный ломоть: все равно что в разлуке, а вы, Оля и Леля, от нас далеко, очень далеко. Такая разлука со всеми нашими детьми раздирает мое сердце (cette separation avec tous nos enfants me navre le coeur). Какая старость, Боже мой, выпала на нашу долю – проводить последние дни жизни вдали от детей! Отцу нашему, как предчувствую, долго не вынести подобного горя: он сделался в последнее время так хвор, что мне просто страшно, а на той неделе очень, кроме того, простудился; всякая безделица вызывает у него нестерпимые приступы кашля; вчера же приступ был так ужасен, что его чуть-чуть не задушило. Единственным для него лекарством – получать от вас известия,

как можно чаще, и писать вам; тогда он и чувствует облегчение. Можешь после этого, милый Леон, судить, как благотворно подействует на него ожидаемое свидание с тобой! Можешь ли сомневаться в том, что с нашей стороны мы готовы на все жертвы, лишь бы осуществить его? Ради Бога не лишай нас надежды тебя увидеть еще раз. Папа поручает тебе сказать, что он тебе сейчас выслал бы деньги, если бы мог заложить что-нибудь, но, к несчастию, заложить-то ему теперь нечего! Надо приискать другой источник короче, во что бы то ни стало (bref, coute que coute), рассчитывай всегда на него и на меня: знаешь мою деятельность, когда дело касается моих детей.

Непременно будем ожидать тебя, Леон, весной, к маю, после нашего возвращения сюда, в Михайловское, из Москвы, а в Москву – если только папа оправится – непременно должны уехать прямо отсюда в декабре, по делам о наследстве бедного нашего Василия Львовича. Вот уже более года, как его на свете не стало»…

Сергей Львович действительно, как видно из последующих его писем, страдал припадками сильного кашля, о чем и распространяется довольно подробно, а об Александре Сергеевиче сообщает младшему сыну и дочери следующее:

«Наконец, Александр написал, и все, что о нем рассказывали, оказалось сущей правдой. Письмо его о беременности Наташи тоже усилило мою радость: я рад почти так же, как и он, но в то же время письмо это и огорчило меня, когда прочел о его физических страданиях, превысивших рассказ Прасковьи Александровны. Ревматизм разыгрался у него в ноге еще до выезда из Москвы, и, судя по письму, Александр страдает ужасно (il soufre mort et martyre). Снаружи нога как нога: ни красноты, ни опухоли, но адская – поистине адская – внутренняя боль делает его мучеником; говорит, что боль отражается во всем теле, да и в правой руке, почему и почерк нетвердый и неразборчивый, который насилу изучил, читая более часа довольно длинное, несмотря на болезнь сына, послание. Не может он без ноющей боли ни лечь, ни сесть, ни встать, а ходить тем более; отлучаться же из дома Александр был принужден и ради перемены квартиры, и ради других дел, опираясь на палку как восьмидесятилетний старец (comme un oc-togenaire). Жалуется, что Наташа дала, во время его отсутствия, слишком большую волю прислуге, почему и вынужден был по приезде, несмотря на болезнь, поколотить хорошенько известного вам пьяницу Алешку за великие подвиги оного и отослать его назад в деревню. Алешка всегда пользовался отсутствием барина, чтобы повеселиться по-своему. Мой бедный Саша, кроме болезни и домашних забот, имеет неприятности

всякого рода относительно его сочинений. Бенкендорф придирается к нему неимоверно, что и причиняет моему сыну ужасное настроение духа. Достаточно прочесть его письмо, чтобы это заметить. (Benckendorf lui fait des chicanes inoui'es, ce qui rend mon fls d'une humeur atroce, dont on s'aperyoit, rien qu' en lisant sa lettre.) Александр говорит, что не может, милая Ольга, вспоминать о тебе без слез, и очень сетует, что ты скрыла перед ним твой роковой план уехать от него и от нас в Варшаву, куда, если бы Александр только предвидел твое намерение, ни за что тебя бы не пустил. Говорит, что летом или тебя к себе выпишет, или же, если обстоятельства позволят, сам за тобой в Варшаву заедет. Да и в самом деле: отчего Саше в Польшу не прокатиться? Об этой стране (de ce pays) он только судит по книгам, журналам, моим рассказам и рассказам знакомых да по твоим, Леон, коротким письмам, а настоящей-то Варшавы и настоящей Польши в глаза не видал; между тем, и этот край мог бы заинтересовать Александра не менее Бессарабии и так же, как она, послужить богатым предметом его поэтических вдохновений. Наташа, верно, его отпустит на неделю, пожалуй на месяц, а там и ты бы, Ольга, приехала с ним вместе. Но увы! чувствую, что строю воздушные замки (mais helas! je sens que je fais des chateaux en Espagne), а строить их в мои лета и жалко, и грустно… Сын очень беспокоится о вашем здоровье, друзья мои, Леля и Оля, а вместо того, чтобы вам писать, просит вас через меня объяснить напечатанную в газете статью под рубрикой «Варшава». В статье сказано, что погода в Варшаве хотя и ненастная, но число умирающих и больных значительно уменьшается. Следовательно, как он полагает, у вас эпидемия и большая смертность? Ответьте, пожалуйста, на это и мне и Александру, а на его молчание не глядите. Переписывается только с приятелями, а переписываться с нами, родными, не имеет привычки. Если же написал мне теперь, то каким-то чудом».

«…Александр очень доволен твоей встречей с Елизаветой Алексеевной [160] . Воображаю, как она тебе обрадовалась, не видавши столько лет! В ее гостеприимном доме опять увидишь все наше русское, родное; не почувствуешь себя, по крайней мере, на чужбине (au moins tun'y sera pas depaysee) и отведешь с нею душу, вспоминая о давно минувшем твоем детстве. Все мы поручаем себя ее доброй памяти (nous nous vouons tous a son bon souvenir). Передай ей это!»

В декабре, как видно из писем, дед и бабка выехали в Москву по делам о наследстве после Василия Львовича и останавливались в Твери на несколько дней, откуда Сергей Львович сообщает дочери трагическую смерть А.А. Шишкова в

следующих словах:

«Здесь произошло на днях ужасное событие: молодой Шишков, прелестный поэт (un charmant poète), которому Александр некогда посвятил послание, пал мертвым, пораженный кинжалом на улице, среди белого дня. Несчастного отправил на тот свет господин Ч – в, который уже убил на дуэли господина Н – ва. Убийца позволил себе отозваться в присутствии Шишкова не совсем лестно о жене последнего. Шишков, в порыве негодования, нанес после того наглому клеветнику должное возмездие. Ч. настоял (l'a somme), чтобы Шишков следовал за ним со всеми наличными свидетелями. Все отправились вслед за враждовавшими в полном, само собою разумеется, убеждении, что злополучная история закончится не иначе как поединком не на живот, а на смерть; но Ч – в, прежде нежели дойти до своей квартиры, внезапно бросается на Шишкова и зарезывает его (et l'assassine) несколькими ударами… Затем отдает сам себя в руки правосудия в качестве убийцы. Можешь себе представить, какой в городе произошел переполох! Александру ничего, однако, не пишу; не желаю, чтобы он первый узнал от меня об ужасной кончине человека, к которому был искренно расположен. Сообщая тебе об этом неслыханном злодеянии, воздерживаюсь от дальнейших по этому предмету рассуждений.

Катастрофа меня поразила… происшествие невеселое, нечего сказать, но заставляющее меня немало призадумываться и приводящее в содрогание (je m'abstiens de faire mes refexions. Cela m'a terrasse!.. Cela n'est pas gai, il n'y a rien a dire, mais cela me fait penser beaucoup, et me donne la chaire de poule, chaque fois quand j» y songe)».

Считаю не лишним заметить, что дядя Александр действительно написал А.А. Шишкову любезное послание, начинающееся следующими строками:

Шалун, увенчанный Эратой и Венерой,
Ты ль узника манишь в владения свои,
В поместье мирное меж Пиндом и Цитерой,
Где нежился Тибулл, Мелецкий и Парни?
Тебе, балованный питомец Аполлона,
С их лирой соглашать игривую свирель:
Веселье резвое и нимфы Геликона
Твою счастливую качали колыбель…

Сергей Львович, приехав с женой в Москву месяца на три, остановился первое время у своего зятя М.М. Сонцова, в доме «Дуракова», насчет чего и шутит с дочерью и сыном Львом, по-русски, в следующих строках: «Не могу, милые мои дети, удержаться от смеха, посылая вам адрес с фамилией нашего

хозяина. Но да утешится сей гражданин почтенный, сообразив, что он, в сущности, совсем не то, чем его все смертные называют, а главное, да возвеселится и возрадуется, что с моим приездом поселился у него человек – смею вас уверить – подобно моему зятю не совсем глупый, с чем и можно оного гражданина поздравить».

Глава XXXIII

Разлука Сергея Львовича и Надежды Осиповны с дочерью на неопределенное время, отсутствие младшего сына Льва, редкие свидания со старшим Александром, – все это очень огорчало стариков Пушкиных. Скорбя об отъезде Ольги Сергеевны, они, по всей вероятности, горько раскаивались в «жестких», как моя мать выражалась, поступках с нею; так по крайней мере догадываюсь, читая между строк красноречивые родительские к ней излияния, в которых, однако, и дед, и бабка не упускают щадить, елико возможно, свою непогрешимость, сваливая необходимость разлуки единственно на силу судьбы. Надежда же Осиповна, рассыпаясь в чувствительных фразах, не изменила до осени 1834 года ни на волос своей тактике: не только не посылать зятю в письмах приветствий, но и совершенно его игнорировать. Сергей Львович, скажу на этот раз в его защиту, едва ли одобрял подобный образ действий жены, и если не входил с Николаем Ивановичем в письменные сношения, то всегда поручал Ольге Сергеевне передавать ему пару сочувственных слов, а зимою 1833 года, в письме ко Льву Сергеевичу из Москвы в Варшаву, сообщает:

«Передай от меня, мой милый и храбрый капитан (mon cher et vaillant capitaine), искреннюю признательность добрейшему (a l'excellent) Николаю Ивановичу за его к тебе родственное расположение. Как же мне его не любить, коль скоро он полюбил тебя, дитя мое милое, мой бесценный Вениамин, каким всегда тебя называю! Вырази Павлищеву всю мою радость, когда я узнал, что он доставил тебе гостеприимство. Очень, очень рад, что живешь у него и у твоей сестры, и вполне ценю все хлопоты твоего зятя о тебе: делает все, что может (il fait tout son possible, et tous ses possibles), с целию выручить тебя из денежных затруднений, насколько позволяют стесненные его обстоятельства. Пишешь, что он, ради уплаты твоего долга, сам признанял у своего приятеля, что как нельзя более мило с его стороны (ce qui est on nepeut plus gentil de sa part); но и я не намерен оставаться у него за тебя в долгу, а потому высылаю тебе, мой храбрейший (mon vaillantissime), тысячу рублей. Расквитайся с ним, а остальные положи себе на твои нужды (pour tes besoins) в кошелек. Был бы я счастлив выслать побольше тебе на уплату твоего долга Плещееву, но, видит Бог, не могу: управляющий осаждает меня письмами из Нижнего: этот господин мне поет (il me chante), что распрощусь с имением (que je ferai mes adieux a mon patrimoine), если не внесу уплату в

самом скором времени в Опекунский совет».

Посылая дяде Льву сумму довольно солидную, Сергей Львович, казалось, мог бы уделить кое-что и дочери; это было бы полезнее трогательных разглагольствований.

На равнодушие сына-поэта Сергей Львович жалуется дочери из Москвы от 16 марта 1833 года следующим образом:

«Твои частые письма, Ольга, дорогое дитя мое (mon cher enfant), доставляют твоим одиноким родителям ни с чем не сравнимое удовольствие, – удовольствие, которое можно сравнить разве с размером испытываемого мною огорчения, не получая никаких известий от моего «старшего». Александр нам совсем не пишет и даже не отвечает. Что делать? Льщу себя надеждой, что таким молчанием обязан его великой лености, но это весьма небольшое утешение. На десять писем Александр отвечал только раз. После этого не думаю, что мой поэт особенно обрадуется нас увидеть опять в северной столице, и можешь, следовательно, судить об ожидающем меня образе жизни в этом крае. Если же слышу что-либо об Александре, то единственно от его друга Павла Нащокина. Этот Нащокин сказывает, что Александр, слава Богу, совершенно расстался с мучительным ревматизмом ноги, не дававшим ему покоя ни днем, ни ночью, но все же этого-то желанного покоя днем и ночью он не ведает. Ты уже знаешь, что твой брат попал в члены Академии как любитель отечественной словесности! (Еще бы не любитель! Да об этом всему миру известно…) Желая же носить это звание с честию и пользою (en tout bien tout honneur), он, как слышно, удвоил исторические занятия и половину дня проводит в архиве. Кончил прелестный свой роман, над которым провозился довольно долго, и начинает другой; сюжетом выбрал происшествие времен Екатерины Великой [161] . Этому последнему труду, а также и другим, поэтическим, посвящает все время до вечера, а по вечерам дома редко его можно найти: сопровождает в общество жену (il chaperonne sa femme dans le monde), где и должен бодрствовать до зари (ой il doit veiller jusqu’a l’aurore). Значит, несмотря на раздраженные нервы, он может выносить многое; но боюсь за такой тревожный образ жизни: и гигант может свалиться, будучи лишен сна – первого благодетеля и друга человечества. Хочу сыну об этом писать, но едва ли меня послушает. А было бы для здоровья Александра гораздо полезнее, да и для здоровья его жены, если бы он взял пример с Баратынского, тоже поэта, хотя, правда, и уступающего Александру в известности. Видим Баратынских в Москве очень часто; не зная бессонных ночей на балах и раутах, Баратынские ведут жизнь самую простую (ils menent une existence on ne peut plus bourgeoise); встают в семь

часов утра во всякое время года, обедают в полдень, отходят ко сну в 9 часов вечера и никогда не выступают из этой рамки, что не мешает им быть всем довольными, спокойными, следовательно счастливыми. Завидую им, что, к моему сожалению, не мог с мама так устроиться: прожил бы дольше, чего, конечно, желаю Александру, тебе и Леону.

Там, т. е. у Баратынских, я узнал, что Захар Ч. [162] прощен; офицерский чин ему возвратили, но без графского титула. Ожидают его скоро сюда в Москву. Несчастной же Александры Муравьевой нет уже на свете (mais la pauvre Alexandrine Mourawief n'est plus de ce monde): скончалась в ноябре, а ее свекровь (?) (sa belle-mere), которую посещаем из человеколюбия, в отчаянии (nous la frequentons, ce qui est une oeuvre de charite chretienne)».

«Я распечатала послание папа, – сообщает Надежда Осиповна от того же 16 марта. – Он хотел уже отослать его вместе с деньгами, но позвонил почталион с письмом, украшенным петербургским штемпелем. Пишет нам, конечно, не Александр; он отнюдь, кажется, не заботится украшать бумагу чернилами ради нас (il ne se soucie guere, a ce qu'il me parait, de mettre du noir sur du blanc pour nos beaux yeux), а пишет его жена. Если Сашка (Sachka в подлиннике) не удостаивает также ни тебя, ни «капитана» письмами, то по крайней мире скажу вам обоим, мои дорогие дети, пару слов об этом противном Сашке, которого люблю наравне, однако, с вами, и его Наташе. Начинаю с того, что оба они теперь здоровы настолько, насколько можно быть здоровыми в Петербурге, при посещениях четыре раза на неделе петербургского большого света. Но на первой неделе Великого поста Александр не избегнул гриппа; эту болезнь он прозвал холерной внучкой (maladie, qu'il a sur-nommee la petite flle du cholera), а Наташе на первой же неделе грозила горячка (elle a manque d'avoir la fevre chaude): слегла в постель, и доктора рассудили пустить ей кровь, несмотря на беременность! Если Наташа так быстро поправилась, то совсем не от этой варварской операции, а единственно благодаря молодому и счастливому телосложению.

Наташа до болезни, – продолжает бабка, – постоянно выезжала и пишет, что ей никогда еще не было так весело, как в минувшем мясоеде. Появилась она и на костюмированном бале, данном в залах Министерства уделов, в наряде жрицы Феба, так решил Александр, и одержала успех блистательный: император и императрица подошли к ней, похвалили ее костюм, а государь провозгласил ее царицей бала. Наташа описывает нам бал как нельзя более подробно, чего не делаю, полагая, что о нем и у вас

в Варшаве известно.

Об Александре невестка сообщает весьма немного, а об его трудах и заботах, о которых нам рассказывает Нащокин, ровно ничего. Говорит только, что теперь совершенно здоров и записался в постоянные члены Английского клуба, куда ходит раза два в неделю завтракать с Владимиром Соломирским и милым его сердцу mylord'ом qu'importe [163] . Но и это гораздо прежде невестки нам рассказал Булдаков. Означенный оригинал теперь в Москве и передал нам, будто бы наш нежный старший сильно о нас беспокоится. Лучше бы гораздо было Александру не говорить о своих беспокойствах Булдакову, а просто написать о себе кое-что. Ну, да Бог с ним! (Eh bien! que le bon Dieu le conserve en Sa sainte garde.) Зато его молчание вознаграждается твоими, милая Ольга, письмами. Бога ради прикажи «храброму капитану», – т. е. моему возлюбленному Лельке, – не шалить и писать почаще; но выскажи все ему так, чтобы он на меня не обижался. Боже, неужели и он не приедет? А сегодня, не знаю почему, не могу о нем и думать без замирания сердца (sans avoir le coeur navre); вчера же видела его во сне бледным и печальным. Если болен, умоляю, сообщи мне. Скажу еще по секрету, только Лельке не подавай виду: слухи, которые о нем ходили, были далеко не успокоительны: переносчики всяких худых вестей, переносчики, из которых большая часть заклятые враги Александра, не замедлили рассказать его жене Бог знает что о Леоне, которого он так любит, и рассказать единственно с целью причинить болезнь бедному Сашке. Короче, говорили о дуэли, да кончили тем, что разболтали, будто бы Леон убит. Наконец, получила твое письмо; оно, конечно, меня успокоило, но все же мне было бы утешительнее увидеть приписку «капитана». Сплетники, рассчитывая, что Наташа передаст Александру басню о дуэли брата, остались в дураках (sont restes penauds). Дорожа спокойствием мужа, Наташа написала только нам об этой сплетне, да и то со всевозможными предосторожностями».

Между тем дядя Лев, поселясь на некоторое время в Варшаве у моих родителей, не располагал заживаться в Польше, которую не любил. Мятеж был подавлен, никакой внешней войны не предвиделось, а русское воинство совершало подвиги лишь на Кавказе.

«Польша, – объявил однажды Лев Сергеевич сестре, – для нас, русских, значит и для твоего мужа, – не что иное, как постоялый двор, где остаются лишь до тех пор, пока лошадей не подадут; а для меня Польша, если только в ней застряну, может сделаться тем, чем сделалась Капуя знаменитому однофамильцу моих ближайших родичей: пошатаюсь года три или даже два – пропаду

ни за грош. Что же мне тут делать? Забавляться игрой в солдатики на плац-параде? слушать в театре да «огрудках» (от «ogrod» – сад; околица (польск.)) дурацкую музыку, отвыкнув от моей, любимой музыки настоящей пушечной пальбы и свиста пуль? путешествовать с полком по жидовским грязным городишкам? играть, когда нет ученья, на биллиарде в заездных домах с утра до вечера да коверкать родной русский язык с ненавидящими в душе «москалей» варшавскими Дульцинеями?!.. Весело, нечего сказать!»

Недолго раздумывая, «храбрый капитан» решил проститься с квартировавшим в привислянской окраине Финляндским драгунским полком, подать в отставку и ехать к старикам в Петербург, где и хлопотать о вторичном поступлении в ряды кавказской армии.

Рапорт об отставке дядя подал; но тут-то и стряслась над ним беда: прошение затерялось по небрежности чиновников, вследствие чего, не являясь в место расположения полка, Лев Сергеевич был исключен из службы – sans autre forme de pro ces (без дальнейших церемоний (*фр.*)), как он выразился в письме брату, умоляя употребить все старания перед власть имущими в его пользу. Александр Сергеевич переслал письмо в Москву старикам и просил отца принять в этом деле участие и со своей стороны.

Сергей Львович, некогда принявший как нельзя более философски опалу «старшего», пришел на этот раз в отчаяние, услышав о горе «младшего», и счел собственной обидой исключение Льва Сергеевича, бывшие заслуги которого в трех кампаниях доставили сыну и высокие, не по чину, знаки отличия, и лестное к нему внимание князя Варшавского.

По словам покойной моей тетки, Ольги Матвеевны Сонцовой, у родителей которой дед и бабка останавливались в Москве, Сергей Львович, прочитав письмо сына-поэта, истерически зарыдал и объявил, что «не вынесет незаслуженного позора, нанесенного гербу Пушкиных по неисправности какого-нибудь писаря, и должен смыть оскорбление во что бы ни стало!»

Из сохранившихся у меня писем Сергея Львовича можно видеть, какое участие он принял в деле сына. Привожу несколько выдержек:

«Москва, 23 января 1833 г. Милый Леон! Вместе с настоящим письмом и с тем же курьером пишу князю Паскевичу, так что оба письма будут получены одновременно и тобою, и фельдмаршалом. Пишу ему по-русски, полагая, что в мои лета и при моем положении это приличнее. Письмо я прочел наизусть встреченному мною адъютанту Паскевича, князю Щербатову. Дай

Боже, чтобы дело удалось. Молю Бога вдохновить меня».

В конце письма дед сообщает сыну следующий текст самой записки Паскевичу:

«Сын мой, бывший штабс-капитан Финляндского драгунского полка Пушкин, имел честь совершить три знаменитых похода в рядах войск, покрывших себя славою под предводительством Вашей Светлости в Персии, Турции и Польше. Обратив внимание ваше, светлейший князь, он получил все чины за отличие и три ордена. По слабости здоровья, находясь в невозможности продолжать военную службу, он два раза подавал просьбу об увольнении из оной к статским делам, но вместо отставки исключен из списков.

Осмеливаюсь просить Вашу Светлость о неоставлении его покровительством Вашим, дабы он мог, усердием и старанием своим в какой-либо другой службе, загладить пятно, нанесенное сим исключением прежним его заслугам».

«Письма моего к князю Паскевичу, – пишет Сергей Львович от 1 февраля, – я не послал в Варшаву, как предполагал, одновременно с письмом к тебе, mon vaillantissime (мой храбрейший (*фр* .)); однако, узнав, что фельдмаршал в Петербурге, отправил его туда Беклемишеву, которому и сообщил то же самое, но гораздо подробнее, прося вручить князю мою записку и изложить все откровенно (a coeur ouvert). Но теперь, к моему большому прискорбию, дошли до меня слухи, что фельдмаршал выехал из Варшавы не в Петербург, а за границу в Берлин, может быть и в Вену. Боже мой! как жаль, что мне ничего не пишешь! Тебе гораздо лучше все это должно быть известно! Узнав же о твоем деле, я не промешкал ни минуты. А теперь, что же мне прикажешь делать?»

Спустя несколько времени Сергей Львович сообщает моей матери:

«Паскевич, по всей вероятности, получил мою записку через Беклемишева; мне сказывали, что фельдмаршал, может быть, и не пожелает вмешиваться в дело Леона, потому что Леон принадлежат к армии Сакена. Но может статься и то, что Леон свиделся с Паскевичем, и тебе, следовательно, стоит только черкнуть мне пару слов, чтобы меня успокоить. Наконец, не увидишься ли ты с фельдмаршалом, а с Елизаветой Алексеевной тоже могла бы переговорить. Мысль, что бедный Леон исключен из службы ни за что, ни про что (I'idee, quo mon pauvre Leon est exclu du service sans aucune raison valable), делает меня несчастным, а я так гордился его подвигами!..»

Записка Сергея Львовича фельдмаршалу дошла по назначению гораздо позже, чем дед предполагал, пролежав в

канцелярии светлейшего, так что Паскевич о деле дяди Льва долго ничего не знал. Дядя же Лев, из какого-то чувства гордости, не решался на объяснение с фельдмаршалом и просил сестру не заикаться о нем ни князю, ни княгине. Но тут явился на выручку сам светлейший: на бале у себя в замке он обратился к Ольге Сергеевне с вопросом: где Лев Сергеевич и что он делает? Результатом рассказа Ольги Сергеевны было объявленное через две недели в «Инвалиде» увольнение от службы Пушкина по прошению с чином и мундиром.

Велика была радость Сергея Львовича, когда он узнал об этом по возвращении в Петербург. Но успешный исход дела он приписал не объяснениям дочери с фельдмаршалом, а письму к своему двоюродному брату Чичерину.

«Третьего дня мы приехали сюда из Москвы, милый Леон, – пишет старик Пушкин, – а вчера я уже был у Чичерина спросить о тебе. Военный министр, граф Чернышев, очень был тобой заинтересован (s'est beaucoup interesse a toi) и объявил, что ты на днях уволен по желанию от службы [164] . Иду завтра же к Чичерину узнать, когда могу лично благодарить министра. Благодарю, однако, прежде всего Всемогущего Бога. Значит, твоя и моя честь удовлетворены: можешь перейти на службу под начальство князя Варшавского, если ему будет угодно принять во внимание мое письмо. (Actuellement il n'y aura pas de difculte pour toi de passer au service du marechal prince de Varsovie, s'il voudra avoir egard a ma lettre.) В противном случае должен будешь приехать сюда, а здесь, без сомнения, тебя примут на службу; так, по крайней мере, полагают те, кто тебя любит и желают твоего счастия».

«Мы получили твое письмо, милая Ольга, – сообщает бабка, – в присутствии Александра, которому Чернышев говорил о Льве. Дело Леона устроено, и он может быть покоен, так же как и мы; если хочет поступить в статскую службу, то похлопочем. Как нельзя более благодарна Чичерину: не теряя ни минуты, он рассказал Чернышеву о положении бедного Леона, а на другой день Александр тоже явился в канцелярии министра и, узнав, что дело кончено, не имел уже надобности говорить с Чернышевым. После этого Чернышев, встретив Сашку на бале, сам к нему подошел и подтвердил радостную весть. Пишите, друзья мои, Ольга и ты, храбрейший, по новому адресу: на Фонтанке, у Семеновского моста, в доме Устиновой. Александр над нами, стариками, смеется и говорит, что у каждого из нас по двадцати лет свалилось с плеч, после известия о тебе, милый Леон… да иначе и быть не может. Будь же счастлив настолько, насколько тебе желаем, но не более, следовательно будь счастлив

бесконечно…»

Насчет сына Сергей Львович успокоился, впрочем, лишь тогда, когда адъютант Паскевича, барон Розен, поэт и бывший сотрудник А.А. Дельвига, доставил ему копию приказа.

Желание стариков, чтобы сын искал место в Петербурге, разделял и Александр Сергеевич. Не пускаясь с братом в красноречивые излияния, поэт любил его не менее, чем родители, выручал неоднократно из затруднительных обстоятельств и скорбел о его нерасчетливом образе жизни. Александр Сергеевич, в письме к брату из Москвы, заявлял, что нравоучительных примечаний делать ему не намерен; затем, жалуясь впоследствии, в 1834 году, на Льва Сергеевича Наталье Николаевне, дядя Александр ограничивается словами: «Лев С. ни копейки денег не имеет, а в домино проигрывает у Дюмэ по 14 бутылок шампанского. Я ему ничего не говорю, потому что, слава Богу, ему 30 лет; но мне его жаль и досадно». Поводом же к шуточным стихам дяди Александра «Наш приятель Пушкин Лев», приведенным мною в главе III хроники, послужило, по рассказу моего отца, дошедшее до поэта через мою мать сведение о лукулловской пирушке, заданной дядей Львом товарищам по случаю его увольнения в отставку.

Выйдя в отставку, Лев Сергеевич не спешил в Петербург хлопотать, по совету родителей и брата, о гражданской карьере: он говорил сестре и зятю, с которым особенно сошелся, что сперва немного отдохнет от трех утомительных походов, а затем, с поправлением здоровья, возобновит боевую деятельность на Кавказе, что гораздо интереснее предлагаемой ему мирной должности адъютанта Паскевича. Определиться же в статскую службу дядя считал тогда для заслуженного русского воина неподходящим. «Удивительное для меня наслаждение, – говорил он моему отцу, – купаться в чернилах; переписывать всякий день всякие пустяки, от которых можно умереть со скуки, и превратиться в школьника на старости лет, применяясь к мелочным капризам какого-нибудь выжившего из ума столоначальника! Но и этой мозги иссушающей должности мне ведь с первого раза не дадут!»

Придя к такому заключению, дядя Лев прожил у моих родителей в Варшаве до глубокой осени, продолжая по вечерам праздновать свою отставку в компании с друзьями: Ширковым, Сияновым и Алексеем Николаевичем Вульфом, тоже подавшим в «чистую».

В конце концов, оба друга, Лев Сергеевич и Алексей Николаевич, расстались с «Капуей», т. е. с Варшавой, и отправились с весьма облегченным карманом: первый в Северную

Пальмиру, второй – в Тригорское.

Глава XXXIV

По возвращении своем из Москвы в Петербург старики Пушкины были обрадованы свиданием с сыном-поэтом и пришли в восхищение от его дочери-первенца.

«Узнав, что мы приехали, – пишет Сергей Львович моей матери, – Александр и Наташа не замедлили прийти к нам в Парижскую гостиницу. Их маленькая Маша была очень нездорова, но теперь, слава Богу, совершенно поправилась; прелестна как ангел (jolie vraiment comme un ange). Как мне бы хотелось, милая Оленька, чтобы ты ее увидала и нарисовала ее портрет! Моя внучка – ангел кисти Рафаэля!..»

«Именно, ангел кисти Рафаэля, – прибавляет Надежда Осиповна, – и чувствую: полюблю Машу до безумия, сделаюсь такой баловницей, как все прочие бабушки, и признаюсь: ревную к Наташе, маменьке ребенка, его тетку, т. е. тебя, мою бездетную! А у Наташи опять скоро будет, не далее как в июле, – второе дитя! Девочка меня полюбила; беру ее на руки, вспоминая, как и тебя точно так же носила!..»

Впрочем, дед и бабка виделись не особенно часто с дядей Александром, судя по их письмам к дочери и младшему сыну, которые у меня под рукой. Письма за май и июнь 1833 года не представляют большого интереса, а потому, не делая из них извлечений, скажу только, что, по сообщениям Сергея Львовича, его сын-поэт продолжал вести жизнь лихорадочную, нервную, не ведая покоя, столь ему необходимого, ни днем, ни ночью, а распределял время между усиленными занятиями в архивах, поэтическими вдохновениями и почти беспрерывными, по вечерам, посещениями большого света. Наталья Николаевна, хотя и была тогда беременной, но тоже не имела возможности отдохнуть: монд и ей не давал покоя беспрестанными приглашениями и посещениями. По замечанию Сергея Львовича, образ жизни сына, расстроивавший его нервы, в погоне за славою и обманчивым блеском ни к чему «солидному» не повел бы, кроме физических страданий да преждевременной старости. Говоря о таком взгляде моего деда, не могу не прибавить, что его придерживалась и моя мать: она как-то говорила мне, что ее брат, перед разлукой с нею в 1832 году, так с виду осунулся вследствие постоянных бессонниц, что казался десятью годами старше своих лет по наружности.

Затем Сергей Львович высказывает мнение, что его сыну было бы всего полезнее отдохнуть в деревне, по крайней мере год, вдали от «шумной суеты»; а не то уходит сам себя, не зная

настоящей свободы: свобода не в городе, где, не будучи в строгом смысле узником, Александр Сергеевич связан обстоятельствами по рукам и ногам, а в глуши деревенской, вдали от завистников, журнальных и прочих петербургских сплетен да убивающих здоровье утомительных выездов по балам и спектаклям.

Эту истину сознавал, по словам моей матери, и сам Александр Сергеевич, на что, по-видимому, и намекает в строфах одного из прелестных стихотворений. Привожу их, так как они написаны весною того же 1833 года – значит, в одно время с заявлением его отца:

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы счастья полн
В пустые небеса.
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса…

Привожу затем извлечение из писем деда и бабки за 1833 год, в которых они описывают и собственный быт, и быт семейный Александра Сергеевича.

«Мы еще не тронулись отсюда в деревню, милый Леон, – пишет Сергей Львович «капитану» из Петербурга от 7 июня, – дожидаемся экипажей и денег, а расходы на наше последнее путешествие в Москву и обратно, взнос остававшихся в моем распоряжении финансов в Опекунский совет и многие другие издержки истощили мои средства. Доходы мои никак не могу называть неистощимыми; к тому же, при нынешних обстоятельствах, на безденежье жалуется всякий. Александр, и тот, при добываемых своим колоссальным талантом щедрых вознаграждениях, не знает, как обернуться. Впрочем, милые дети, времена изменчивы, и во всяком случае не допускайте и мысли, что не доставлю вам возможности жить безбедно и независимо; что же касается моих внучат (quant a mes petits e n fa n t s), ты мне позволишь, милый друг, не заботиться о их судьбе в той же степени: это уже не мое дело (cela ne sera plus mon afaire). Меня как нельзя более утешает, что не могу попрекнуть себя не только расстройством моего состояния на что-либо предосудительное, но и тратой денег на какие бы ни было пустые, бесполезные прихоти;

никогда их себе не позволял. Прости и верь моему искреннему желанию узнать, наконец, что ты выехал из Варшавы в Болдино произвести самую строгую поверку действий мошенника управляющего. Но когда это осуществится, а что еще того отраднее, когда увижусь с тобою? Едва ли могу надеяться, судя по твоим письмам; из них всегда заключаю о твоем желании быть далеко (je ne puis l'esperer d'apres tes lettres: le desir de t'eloigner y perce toujours). Хотя, где бы ты ни был, мои благопожелания и благословение будут тебе сопутствовать, но говорить тебе, что разлука с тобою не печалит меня бесконечно – значило бы утверждать наглую ложь.

Благословляю от сердца и души и тебя, милая Ольга, – продолжает дед в том же письме. – Всегда ожидаю твоих писем с большим нетерпением, прочитываю их con amore и con dolce sorriso [165] , как поют жители счастливой Италии. Продолжай беседовать с нами по крайней мере письменно, где бываешь, кого видишь. Не забудь поклониться от меня моему кузену, генералу Окуневу [166] ; никогда не забуду его готовности быть полезным Леону».

«Наконец выслали нам лошадей, – сообщает бабка десять дней спустя, 17 июня, – и уезжаем к большому моему удовольствию, с нетерпением считая часы и минуты; желаю поскорее увидеть поля, холмы родные, как поет наш друг Жуковский. Пребывание же в душном Петербурге просто теперь невыносимо. Родов жены Александра – а наступят они, по моему расчету, не раньше трех недель – дожидаться не будем. Она, чувствуя себя отлично, много гуляет по островам, несмотря на последний месяц беременности, посещает театр да обещает всякий раз, когда ей показываю твои интересные письма, писать тебе, чего, однако, никогда и не делает. Ее девочка очень мила; никого маленькая Marie так не любит, как дедушку, отчего он в восторге, к папа, впрочем, ее не ревную: она меня так же любит, как и его, когда его не видит. Александр и Nathalie живут на Черной речке; сын нанял там дачу Миллера и чрезвычайно доволен выбором. Дача большая, в пятнадцать комнат; дачу окружает большой сад. Чего же более? Наташа рада и тому, что ее тетка поселилась с Натальей Кирилловной тоже в двух шагах от них. Александр, по получении нового наследника или наследницы, уедет на несколько недель в Болдино; так, по крайней мере, он мне говорил вчера, но зачем отправляется, о том не спрашивала. Александр и Наташа поручают мне крепко тебя обнять, Христос с тобою».

К письму бабки Сергей Львович, между прочим, прибавляет:

«Мама, описывая дачу Александра, позабыла тебе сообщить,

что случилось с нашим петербургским жилищем, которое на днях покидаем: с неделю тому назад вышеназванное жилище (le susmentionne domicile) рисковало превратиться в пепел! Не шучу. Дело в том, что в доме вспыхнул пожар. Нас разбудили в три часа ночи, когда полиция расположилась уже на дворе, а жильцы успели выбраться из квартир. Гвардейские солдаты сновали по коридорам и галереям и, под предлогом подавать помощь, уносили все, что могли. Наш чердак сгорел, но мы ничего не потеряли, а полиция работала так усердно, что удалось отстоять дом. Мама растерялась, выскочила на улицу босиком и в одном пеньюаре (maman s'est sauvee pieds nus, et en robe de chambre dans la rue), а горничная с перепугу, растасовала все по чемоданам, так что насилу нашел старую мантилью накинуть жене на плечи. Наконец, часов в семь, порядок кое-как восстановили».

По приезде в Михайловское Сергей Львович извещает дочь от 15 июля:

«Только что, милая Ольга, получили мы об Александре известие. У него родился сын, тоже Александр. Мать с новорожденным здоровы. Поручаю тебе и Леону вашего племянника и полагаю, что Пушкин нумер четвертый (Pouchkine numero quatre) появился на свет накануне, если не в самый день, твоих именин. Писем от Александра-отца об Александре – моем внуке не ожидаю подробных, хотя и просил его это сделать».

«Не накануне и не в день твоих именин, 11 июля, как я предполагал, – пишет дед от 1 августа дочери, – а 6 июля Бог дал Александру сына; но не он и не жена его сообщают нам это, а добрейшая наша графиня Екатерина Ивелич. По ее письму, моя невестка до сих пор еще очень страдает, хотя со времени родов прошел без малого месяц. У нее образовались нарывы, от которых до сих пор не может отделаться. Александру же непростительно быть к нам до такой степени равнодушным, что он даже и двумя строками не заблагорассудил мне отвечать.

Очень беспокоимся. Напрасно ты нам писала на его имя. Переслать нам твое письмо Александр и не позаботился: впрочем, оно могло и пропасть по очень простой причине: переезжая на Черную речку, Александр перевел туда всю свою прислугу, поручив городскую квартиру надзору дворника, а этот дворник всегда или пьян, или спит. Нет поэтому ничего мудреного, если проспал либо пропил письмо; да нам-то от этого не легче.

…На той неделе нас не было в Михайловском: ездили мы и в Остров, были и в Сухопольцове, и в соседних вотчинах. Причина нашего отсутствия – женитьба молодого и симпатичного Кирьякова на дочери Екатерины Исааковны, кузины мама. Свадьба состоялась в Острове; мама была посаженой матерью, и

при церемонии брака вся Ганнибальщина оказалась в сборе (la ceremonie du mariage a ete celebree en presence de toute la Ганнибальщина), а свадьбу праздновали целых десять дней у всех соседей по очереди. Балам, обедам, увеселительным прогулкам не было конца».

В августе Александр Сергеевич попросился в краткосрочный отпуск. Он решил побывать в предоставленной ему Сергеем Львовичем части Болдинского имения, откуда проехать в Казанскую, Симбирскую и Оренбургскую губернии, чтобы ознакомиться с краем, где происходила кровавая драма Пугачевского бунта, и затем пополнить собранные им уже об этом событии материалы сведениями и рассказами жителей, причем имея в виду и отделку романа, взятого из той же эпохи.

18-го числа Пушкин выехал из Петербурга. Попутчиком его до Торжка оказался Сергей Александрович Соболевский, отправлявшийся в Москву тоже по делам. Поездку до Торжка друзья совершили вместе, платя прогоны пополам, о чем Пушкин и упоминает, подтрунивая над Сергеем Александровичем в письме к жене из Москвы.

Из Торжка Соболевский поехал дальше, а дядя, завернув в поместье отсутствовавшего Алексея Николаевича Вульфа, Малинники, где никого, кроме управляющего, не застал, побывал в имении Натальи Николаевны, Яропольце, откуда и отправился в Москву. Там Пушкин опять свиделся с Соболевским на обеде у Киреевского, встретил П.А. Чаадаева и Н.Н. Раевского, беседовал с Шевыревым и Погодиным и был неразлучен с Павлом Воиновичем Нащокиным, крестником новорожденного своего первенца.

Получая от узнавших о его приезде приглашения на вечера, он туда не являлся за неимением, как он пишет, бального платья и за небритием усов, которые отращал, о чем и говорит:

«Ус да борода – молодцу похвала; выйду на улицу, дядюшкой зовут».

Покинув 29 августа Москву, Александр Сергеевич проехал через Нижний Новгород в Болдино, но остался там не более трех суток.

О дальнейшем путешествии Пушкина в восточные губернии мой дед и бабка ровно ничего не знали, предполагая, что он в Болдине, где пробудет до ноября; между тем дядя успел уже побывать и в Казани, где нечаянно встретился с поэтом Баратынским, съездил затем и в Симбирск, посетил деревню своего приятеля, поэта Николая Михайловича Языкова, и, наконец, проследовал далее в Оренбург.

«Александр в Болдине уже более трех недель, – пишет

Надежда Осиповна из Михайловского, – но, верно, письма наши пропадают, а может быть, и отсюда не доходят. Не пишет нам и жена его из Петербурга; ей-то простительно, так как страдает нарывами; ничего не знаем, что с ними, а знаем только их новый петербургский адрес: на Пантелеймонской улице, в доме Оливье, поблизости от Кочубеев.

Как бы ни было, я очень рада, что Сашка в Болдине. Туда мы отправили нового управляющего (un nouvel intendant) на смену плута Михаилы заведовать частию имения, оставленною нами пока за собою. Я и муж просили Александра быть свидетелем сдачи хозяйства старым проконсулом новому и принудить затем этого последнего доставить нам, что следует, в самом скором времени. Наши дела по Болдину до сих пор идут так скверно, что у Сергея голова кругом ходит, а я как на иголках. Главное получить деньги и сделать тебе хоть какой-нибудь подарок».

«Именно все это так, – прибавляет Сергей Львович. – Чем меньше от меня требуешь, а не требуешь собственно ничего, – тем более мое сердце надрывается. Готов сделать невозможное (je suis pret a faire rim-possible), лишь бы тебя успокоить и отказать себе во всем, лишь бы видеть тебя беззаботной, счастливой. Благодарю Бога, что Александр в Болдине и не тронется оттуда, пока не приведет в порядок и его, и наши дела».

Каково же было удивление стариков, узнавших о дальнейшем путешествии сына, который, следовательно, и не мог встретить в Болдине нового приказчика!

О таком неожиданном сюрпризе дед мой упоминает в письме к Ольге Сергеевне от 1 ноября из Михайловского, сообщая ей и о приезде из Варшавы младшего своего сына.

«Когда получишь эти строки, мы будем в Петербурге, – пишет Сергей Львович. – Леон приехал и переслал нам твое трогательное, исполненное любви к нам письмо, которое ему вручено при твоей печальной с ним разлуке. Не нахожу слов благодарить тебя! Ты облегчаешь огорчения, которые нам наносит упорным молчанием Александр. Можешь себе вообразить мое нетерпение обнять дорогого Леона… но увы! близок локоть, да не укусишь Близок локоть, да не укусишь. Хотел бы перелететь в Петербург, а дороги ужасны, почему и невозможно нам еще двинуться, не то в грязи завязнем. На роду, значит, написано (ii est ecrit la haut) не знать нам радости, старикам!

Александр – мы не думали, не ждали – был в Казани, а я, по невинности души, полагал, что он из Болдина не тронется. Узнали мы об этом не от него, а от Леона, который виделся с Плетневым, а Плетневу писал из Казани Баратынский. «Капитан» полагает, что Александр теперь уже в Болдине, но ничего не

может сообщить верного, так как не мог еще видеться с Наташей. Неужели и от нее Александр скрывает, где он и зачем в Казань ездил? Леон слышал, что она здорова; однако не только нам, старикам, не пишет, но и не пересылает нам писем, адресованных на ее имя для передачи в наше захолустье. Удивительно! Значит, по всей вероятности, у моей невестки отдыхают и письма к мама Тимофеевой».

На невестку и сына жалуется и Надежда Осиповна. «Неужели Александр, – говорит она, – не имел ни минуты времени навестить нас парою слов, что он не в Болдине, и не заставлять нас писать ему туда по-пустому? Ни на что не похоже, а беспечность невестки меня очень огорчает. Ни одно мое желание, таким образом, не исполняется, и я лишена всего, что может меня интересовать, за исключением единственного моего утешения – твоих писем. Не адресуй их, пожалуйста, никогда на имя Наташи, пока не сообщим нашего адреса, а пиши на имя графини Екатерины Ивелич. Через нее пишем и Леону. Воображаю, как тебе пусто без него в Варшаве!

Он сообщает, что в Петербурге без нас ему невесело, и полагает навестить Михайловское, если не поспешим отъездом, а в Тригорском ждут с нетерпением такого же, как и он, варшавского беглеца, Алексея Вульфа».

«Алексей Вульф в Тригорском, – пишет несколько дней спустя Сергей Львович из Михайловского. – Прасковья Александровна просияла от счастья, увидев сына, а я, увы! не могу обнять не только Александра, но и Леона. Капитан простудился, потому не мог приехать с Алексеем, который навестил нас вчера и, вообрази, как удивил! Он нам сказал, будто бы (comme si) Александр был в Оренбурге!! Большой вопрос: за каким делом он поехал в страну гуннов и герулов? Если на то пошло, то лучше бы ему поехать посмотреть на что-нибудь менее дикое. Впрочем, да будет воля Неба! Ломаю голову, с какой стати он там? Когда он приедет в Болдино из края господ Чингис-хана и Тамерлана – не знаю. Будь Александр в Болдине, он поставил бы меня в возможность прийти на помощь и тебе, но не хочу повторять моих обещаний в настоящее время. Это было бы слишком похоже на уверения бесстыдного должника, который всякий день приходит к своему кредитору говорить ему о деньгах, какие, однако, ему и не выплачивал».

Далее Сергей Львович жалуется дочери, что Александр Сергеевич, ничего ему не сообщая, предпочитает отцу родному «всяких Нащокиных, Раевских да Соболевских». Эту иеремиаду Сергей Львович заканчивает вечной прибауткой: «Que la voionte du Ciel soit faite (Да свершится воля Неба! (*фр* .))!» В таком же

роде высказывается и Надежда Осиповна.

Выехав 12 сентября из Симбирска в Оренбург, Александр Сергеевич принужден был возвратиться назад, о чем сообщает Наталье Николаевне два дня спустя в следующих между прочим строках: «Опять я в Симбирске. Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Черт его побери, дорого бы дал я, чтобы его затравить. На третьей станции стали закладывать мне лошадей. Гляжу, нет ямщиков – один слеп, другой пьян и спрятался. Пошумев изо всей мочи, решился я возвратиться и ехать другой дорогой; по этой на станциях везде по шести лошадей, а почта ходит четыре раза в неделю. Повезли меня обратно; я заснул. Просыпаюсь утром – что же? Не отъехал я и пяти верст. Гора – лошади не взвезут; около меня человек двадцать мужиков. Черт знает, как Бог помог; наконец взъехали мы, и я воротился в Симбирск. Дорого бы дал я, чтобы быть борзой собакой; уж этого зайца я бы отыскал. Теперь еду опять другим трактом, авось без приключений…»

О приезде в Оренбург Пушкин пишет 19 сентября жене:

«Я здесь со вчерашнего дня. Насилу доехал. Дорога прескучная, погода холодная; завтра еду к яицким казакам, пробуду у них дня три и отправлюсь в деревню через Саратов и Пензу…

Мне тоска без тебя. Кабы не стыдно было, воротился бы прямо к тебе, ни строчки не написав. Да нельзя, мой ангел, – взялся за гуж, не говори, что не дюж, т. е. уехал писать, так пиши же роман за романом, поэму за поэмой. А уж чувствую, что дурь на меня находит. Я и в коляске сочиняю, что же будет в постели? Одно меня сокрушает – человек мой. Вообрази себе тон московского канцеляриста: глуп, говорлив, через день пьян, ест мои холодные, дорожные рябчики, пьет мою мадеру, портит мои книги и по станциям называет меня то графом, то генералом…»

Считаю излишним воспроизводить из моих воспоминаний известные всем уже факты о посещении Пушкиным Оренбургской линии крепостей, вместе с будущим свидетелем его мученической кончины, В.И. Далем (казаком Луганским), и пребывание его в Уральске, откуда дядя и отправился 23 сентября в Болдино. При въезде в имение дядя опять поддался своему суеверию. «Въехав в границы Болдинские, – пишет Александр Сергеевич Наталье Николаевне, – встретил я попов и так же озлился на них, как на симбирского зайца. Недаром все эти встречи. Смотри, жена! того и гляди избалуешься без меня, забудешь меня, искокетничаешься…»

Пушкин оставался в Болдине до последних чисел ноября. По

словам П.В. Анненкова, он прибыл в Петербург к месту служения 28 ноября, как обозначено в его формуляре, а почтенный наш академик Я.К. Грот в хронологической канве для биографии Пушкина (входящей в состав изданных им в 1887 году статей об Александре Сергеевиче) упоминает, что «ноября 24 Пушкин, возвратясь в Петербург, начинает свой дневник». Между тем по письму Надежды Осиповны к дочери из Петербурга от того же 24 ноября видно, что дядя возвратился из деревни к 20-му числу. Привожу письмо в извлечении:

«Наконец мы в Петербурге. Насилу дотащились сюда из Михайловского третьего дня, в среду, по ужасной дороге. Само собою разумеется, увидя Леона, я позабыла и усталость, и претерпенный мною страх во время пути, когда мы рисковали свернуть себе шею, разъезжая по ухабам.

Александр тоже в Петербурге, куда приехал за два дня прежде нас; но я удовлетворена только наполовину, находясь вдали от тебя; везде тебя мне недостает, и всякие минуты удовольствия отравлены мыслию, что не могу разделить их с тобою. Много, разумеется, я говорила о тебе с Леоном. «Храбрый капитан» уверяет меня, что ты счастлива, здорова и приедешь с нами повидаться. Дай Боже! Леон не изменился, но зато Александр очень похудел, а жена его еще более; это меня беспокоит… С нетерпением ожидаю минуты приласкать его Машку и Сашку; мальчик, кажется, любимец отца; будем видеться с Александром и Наташей часто, так как мы наняли квартиру от него в двух шагах. Александр говорит, что квартира его превосходна, чему я вполне верю; да иначе и быть не может, когда платишь за нее 4800 рублей.

В дороге, как тебе сказала, приятного испытали мало. Алексей Вульф проводил нас до Врева с обеими сестрами, а за Островом мы догнали ехавшее сюда турецкое посольство, почему нас и приняли тоже за поклонников Магомета. Не могла я не смеяться, когда, во время остановок, мужики нас осматривали с ног до головы, спрашивая, много ли еще нас?»

«21 декабря. Вчера Александр с женой и малюткой, а также и Соболевский провели у нас день твоего рождения; но всем нам без тебя было очень грустно. Александр не отличался веселым настроением еще и потому, что Б. в последнее время опять к нему придрался и запретил печатать дивную его повесть в стихах, которую Александр привез из Болдина [167] . Говорил, что когда узнал об этом, то хотел требовать от Б. положительного ответа с глазу на глаз на вопрос, когда этот господин перестанет с ним обращаться, как обращается со школьником несправедливый и капризный учитель? В поэме же нет ни одного стиха, который мог

бы сконфузить даже самую строгую цензуру. Намерение попросить категорического объяснения у Б. Александр, однако, отложил, так как Б., во-первых, не переменит того, что решил, а, во-вторых, может еще хуже напакостить: мой сын хочет вручить императору своего Пугачева [168] , но мимо Б. не может этого сделать.

Наташа чувствует себя очень хорошо и много выезжает. Балы в большом свете бесчисленны (les bals dans le haute societe sont innomb-rables), а на одном из придворных балов и я присутствовала на хорах, благодаря любезности генерала Раевского, приятеля Александра и Леона. Хотела посмотреть на новые костюмы придворных дам: пошли в моду драгоценные кокошники и бархатные шугаи поверх сарафана. Все это великолепно. В этих нарядах отличались особенным щегольством графиня Соллогуб и сестра ее Обрескова. Много было на бале иностранных принцев, посланников; дамы блестели бриллиантами, а кавалеры сияли всевозможными знаками отличия в залитых огнями залах. Тут-то я и сострила: «На небе звезды и на земле звезды». Любуясь в бинокль всем этим зрелищем, я, к моему большому изумлению, увидела среди «звезд» – вот никак не ожидала – фраки «храброго капитана» и Соболевского. Леон, впрочем, тоже в орденах, а Соболевский без оных прогуливались под руку. Долго не могла сообразить, каким чудом эти два оригинала туда попали, не имея права входа. Оказалось, по протекции того же Раевского и князя Петра Вяземского. Леон, а разумеется, и его приятель зашли ко мне с визитом на хоры, и мой шалун, отвесив низкий поклон, возгласил с комическою важностию: «Мама! я и Сергей как нельзя более очарованы видеть вас среди нашего общества» (Maman! moi et Serge nous sommes on ne peut plus enchantes de vous voir au beau milieu de notre societe). «Храбрый капитан» Петербурга на словах терпеть не может, а на деле спешит со спектакля на спектакль, с бала на бал, не хуже Александра; но веселится от души, а не является в свет, как его брат, по принуждению. Возвращается поздно, а потом спит до полудня (et dort ensuite la grasse matinee), так что не могу его добудиться… Говорит, что хотя он и не прочь был попировать с друзьями, но никогда не отступал от рыцарской чистоты нравов и во всем прочем, будто бы, непорочен как голубица (pur comme une co-lombe). Все, что знаю, – люблю его вдвое после долговременной разлуки; а мысль о новой сжимает мне сердце.

Он почти всякий день, если только не на балах, проводит время с Соболевским у Вяземских и восхищается умом, добротою и талантами дочерей князя Петра, не зная, которой из них отдать

предпочтение… Намедни, однако, он меня перепугал: вышел во время мороза без теплой шубы, получил лихорадку, а потом, несмотря на пароксизм, полетел танцевать к Вяземским. На другой день ему сделалось хуже. Тогда я ему рекомендовала против лихорадки средство очень неприятное, но верное, на которое Леон согласился с мужеством спартанца: не иметь во рту в продолжение двадцати четырех часов ни крошки, ни капли (pas une miette et pas une goutte). Как рукой сняло…

О его друге Соболевском не могу тебе не сказать, что я очень им довольна. Он похорошел и, побывав за границей, расстался с медвежьими манерами обитателей Северного полюса; Александр говорит, что заграничное путешествие послужило этому господину сущим благодеянием, так что поездка затем Соболевского в Москву, по словам Александра, обошлась без медвежьих манер. Очарованный Европой, Соболевский стал сбивать и «храброго капитана» с толку, доказывая, что европейской войны не будет, а война с горцами – игра, не стоящая свечки. Mylord qu'importe смущал Леона советами пристроиться к какой-нибудь миссии, в Париж, Лондон или Вену, словом туда, где сам побывал. «Капитан» разинул рот, да и съездил к Александру с просьбою похлопотать у кого следует, но Александр объявил, что такие места предоставляются по большой протекции, да и то молодым людям, успевшим себя зарекомендовать дипломатическими способностями так же, как и Леон отличился уже военными. К этому Александр – приношу ему большое спасибо – прибавил: «Если даже получишь желаемое, то с таким несчастным жалованьем, которое заставит тебя голодать, а наших несчастных родителей спрятаться в деревню, ради возможности высылать кое-какие средства жить за границей, где не дешевле здешнего. Пристроить тебя в Петербурге на должность с приличным вознаграждением – другое дело, могу, а за границу – не берусь…» Этим дело и кончилось: Соболевский замолчал, Леон возобновил мечты о Кавказе и, как видишь, танцует без устали, говоря, что он должен предаваться усиленному моциону, так как вообразил, будто бы у него начало водяной. Мнителен не меньше Александра да моего мужа, а между тем не бережет себя».

К новому 1834 году Пушкин был пожалован в камер-юнкеры и, невзирая на недоброжелательство Бенкендорфа, получил ссуду в размере двадцати тысяч рублей ассигнациями на печатание одобренной государем «Истории Пугачевского бунта» в одной из казенных типографий, по выбору автора. Эту последнюю милость Александр Сергеевич счел блистательной победой над завистниками, распускавшими оскорбительные слухи, что он

взялся за нелегкое историческое исследование, очертя голову, будучи-де совершенно неспособен к серьезному труду.

О первой милости Надежда Осиповна сообщает моей матери от 26 января 1834 года следующее:

«Известно ли тебе, милая Ольга, что Александр, к большому удовольствию жены, сделан камер-юнкером? Представление ее ко двору в среду, 17-го числа, увенчалось большим успехом. Участвует на всех балах, и о ней везде говорят; на бале у Бобринских император танцевал с Наташей кадриль, а за ужином сидел возле нее. Говорят, на бале в Аничковом дворце моя невестка была поистине очаровательна. Танцевала много, не будучи, на ее счастье, беременной.

Согласия Александра быть камер-юнкером и не спрашивали. Пожалование для него нечаянность, от которой не может и опомниться. Никогда он этого не желал, а хотел ехать с женой в деревню на несколько месяцев, в надежде сделать экономию; теперь же принужден расходоваться.

Наташа всегда прекрасна, щегольски одета; везде празднуют ее появление. Возвращается с вечеров в четыре или пять часов утра, обедает в 8 часов вечера; встав же из-за стола, идет переодеваться и опять уезжает.

Дети Александра прелестны, – пишет бабка от того же числа. – Мальчик хорошеет с часу на час. Маша не изменяется, но слаба; у нее нет до сих пор ни одного зуба и насилу ходит. Напоминает мою маленькую Сонечку, и не думаю, чтобы она долго прожила [169] . Маленький Сашка большой любимец папаши и всех его приятелей, но мамаша, дедушка и я предпочитаем Машку».

Александр Сергеевич действительно попал в камер-юнкеры недуманно-нежданно, и сюрприз этот большого удовольствия ему на самом деле не доставил. Он увидел, во-первых, не только невозможность ограничить расходы, но и неизбежность новых непомерных издержек, не ограничивавшихся придворным мундиром; на выручку от продажи «Истории Пугачевского бунта» Пушкин смотрел лишь как на средство погашения долгов. Во-вторых, будучи чувствителен ко всяким прискорбным для его самолюбия намекам, Пушкин считал неловким пародировать в камер-юнкерском мундире, наравне с молодыми людьми (считал он себя в тридцать четыре года пожилым человеком). В-третьих, ставя независимость выше всего, Александр Сергеевич стеснялся официальным присутствием на торжественных выходах, придворных обедах, церемониалах. Высказал он свои мысли и в письме к Наталье Николаевне из Петербурга, весною того же года, сообщая следующее:

«Третьего дня возвратился я из Царского Села, в пять часов вечера; нашел на своем столе два билета на бал 29 апреля и приглашение явиться на другой день к Литте; я догадался, что он собирается мыть мне голову за то, что я не был у обедни. В самом деле, в тот же вечер узнаю от забежавшего ко мне Жуковского, что государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров и что он велел нам это объявить. Литта во дворце толковал с большим жаром, говоря: «И у a cependant pour messieurs de la cour des regies fixes, des regies fixes» [170] , на что Нарышкин ему заметил: «Vous vous trompez, c'est pour les demoiselles d'honneur» [171] . Я извинился письменно. Говорят, что мы будем ходить попарно, как институтки. Вообрази, что мне с моей седой бородкой придется выступать с Безобразовым и Реймерсом – ни за какие благополучия! J'aime mieux avoir le fouet devant tout le monde, как говорит m-r Jourdain» [172] . В других письмах Александр Сергеевич иронически называет жену «камер-пажихой».

Над запоздалым камер-юнкерством Пушкина подсмеивались – впрочем, совершенно добродушно, как говорят французы, sans chercher noise (без намерения поссориться (*фр* .)) – любившие поэта от души Лев Сергеевич, с неизменным своим спутником Соболевским, и князь Петр Андреевич Вяземский. Соболевский, воспевший тогда дядю Льва четверостишием, по случаю невозможности тратиться «храброму капитану» на шампанское:

Пушкин Лев Сергеич,
Истый патриот,
Тянет ерофеич
В африканский рот, —

не пропустил оказии угостить «старшего» двустишием:

Сияй, сияй, о Пушкин камер-юнкер,
Раззолоченный, как клинкер. [173]

Рифма Сергея Александровича чрезвычайно понравилась князю Вяземскому, который ею и воспользовался, письменно приглашая дядю Александра посетить поэта И.П. Мятлева:

«Надобно быть, – заключает свое письмо Вяземский. – Приезжай сегодня. К тому же Мятлев

Любезный родственник, поэт и камергер,

А ты ему родня – поэт и камер-юнкер;
Мы выпьем у него шампанского на клюнкер,
И будут нам стихи на м – й манер»…

Александр Сергеевич, при свидании с моей матерью в следующем, 1835 году, высказал ей все, что он выстрадал со времени своего камер-юнкерства. По словам Ольги Сергеевны, он сделался тогда мучеником. Заботы денежные, уязвленное самолюбие, а также другое, самое мучительное чувство – ревность, – правда, ни на чем не основанная, – не давали ему покоя. Будучи свидетелем блистательных успехов Натальи Николаевны на вечерах большого света, видя ее окруженною толпою великосветских всякого возраста кавалеров, расточающих ей комплименты, дядя Александр расхаживал по бальным залам, из угла в угол, наступая дамам на платья, мужчинам на ноги и делая другие тому подобные неловкости; его бросало то в жар, то в холод. Возвращаясь же домой, он не сообщал жене этих невыразимых мучений, что считал несовместным и с достоинством непорочной, вполне преданной ему Натальи Николаевны, и с своим собственным. Не делился Пушкин испытываемыми тяжелыми чувствами не только с Соболевским и Вяземским, но даже и с естественным другом своим – «храбрым капитаном», опасаясь его болтливости, и только через год высказался сестре. Будучи убежденным, что нет ничего смешнее, как высказывать чувства ревности, тем более ревности, не имеющей под собою твердой почвы, дядя таил в себе снедавшие его муки. Если ко всему вышеизложенному прибавить сознание, что за всяким его шагом и на поэтическом поприще, и в общественном быту следят приставленные к нему непрошеные аргусы, журнальные зоилы, словом, легион врагов явных и тайных, то можно лишь изумляться мужеству, с каким он все это переносил. Между тем, не высказывая никому душевных волнений, Пушкин, к несчастию, обнаруживал, в силу своей восприимчивой натуры, внешним обращением именно то, чем страдал. Скорбь поэта не ускользнула, таким образом, от его личных врагов: они проведали слабую струну его, слабое место его обороны.

И вот, в том же 1834 году, – так, по крайней мере, полагала моя мать, – обрисовываются первые шаги страшного заговора людей, положивших стереть Александра Сергеевича с лица земли. Низкая подготовительная работа этих союзников относится

именно, по словам моей матери, к фатальному для поэта 1834 году. Врагам недоставало только слепого орудия. Таким манекеном оказался, наконец, Дантес-Геккерен, появившийся на сцену летом того же года, о чем вскоре и скажу.

Но возвращаюсь к событиям и, не забегая вперед, продолжаю извлечения из писем деда и бабки к моей матери.

«Александр, – пишет бабка от 13 февраля, – непременно хочет ехать в деревню и подать в отпуск, необходимый для его здоровья и кармана, а Наташа тоже располагает уехать весною в Яропольцы, где и хочет пробыть до августа. Александр заходит редко, зато присылает нам часто с нянюшкой маленькую Машу; он и Леон очарованы Соболевским и с ним неразлучны, а Соболевский отрастил бороду, что делает его очень смешным, заставляя обращать на него общее внимание, почему и вращается лишь в мужской компании. Из дам принимают его только княгиня Вяземская, княгиня Одоевская и Софья Всеволожская. Напрасно я так расхваливала тебе его манеры, приобретенные за границей. Принялся за старое…»

«Князь Паскевич здесь, – сообщает от того же числа Сергей Львович, – Александр и Леон ему представились. Обоих обласкал и передал им, что часто тебя видит у своей жены, что ты танцевала с ним мазурку на последнем костюмированном бале и совершенно здорова, за что благодарю Бога. Иван Федорович пригласил Александра к себе в кабинет, где и говорил с ним о его сочинениях, а потом вышел в гостиную и, пожав руку Леону, который там ожидал конца аудиенции, сказал моему «младшему», что всегда и везде готов ему быть полезным. Леон поступил при этом очень недогадливо. Что бы ему стоило указать фельдмаршалу, где он хочет продолжать свою карьеру, а то поклонился, и больше ничего. Лелька желает если не на Кавказ, то совершить кругосветное путешествие, в ожидании чего путешествует по Невскому проспекту. А на Леона должен тебе пожаловаться: вообрази, сегодня получаю письмо из Варшавы от его кредитора, какого-то Гута. Леон задолжал ему за съестное и выпиваемое. Заплатить мне за Леона теперь невозможно и, признаюсь, огорчен самым предметом долга (l’objet et la nature de cette dette me fait mal). Леону я ни слова, но сообщил все Александру. Он меня успокоил, говоря, что дело это возьмет на себя».

О болезни Натальи Николаевны бабка от 9 марта сообщает:

«Масляница завершилась блистательным балом во дворце. Никогда еще, насколько помню, здесь не встречали так шумно Великий пост; устали все наши красавицы (toutes nos belles dames sont harassees de fatigue). Наташа в воскресенье, на последнем

бале во дворце, после двух туров мазурки, почувствовала себя очень дурно и, только что успела удалиться в кабинет императрицы, подверглась сильным болям и, приехав домой, выкинула. И вот она в постели после зимних увеселений. Я же говорила, что она беременна, но ее тетка утверждала противное. Теперь и удивляется, что правда была на моей стороне. Наташа на этот раз не страдала недугами, неразлучными с беременностью, и вот почему не верила, что находится в таком положении, и далеко не радуется этому случаю. Александр растерян так, как никогда не бывал. Не могу говорить ему и о твоей беременности до поры до времени. Зачем умножать его беспокойства? А о твоей беременности сообщили мне наши милые тригорские соседки; они, т. е. Нетти Вульф и сестра ее Вревская, приехали сюда посмотреть на Масленицу и гостят у нас. Узнали о твоем положении от Бутурлина и Аничкова, с которыми встретились».

О болезни Натальи Николаевны дядя в апреле того же года сообщает Нащокину:

«Вообрази, что жена моя на днях чуть не умерла. Нынешняя зима была ужасно изобильна балами: на Масленице танцевали уже два раза в день. Наконец, настало последнее воскресенье перед Великим постом. Думаю, слава Богу, балы с плеч долой. Жена во дворце. Вдруг, смотрю – с нею делается дурно; я увожу ее, и она, приехав домой, выкидывает. Теперь она (чтоб не сглазить), слава Богу, здорова и едет на днях в калужскую деревню к сестрам, которые ужасно страдают от капризов моей тещи».

«Сегодня Александр был у нас, – сообщает Сергей Львович, – и очень обрадовался провести пару часов (une couple d'heures) с нашими милыми гостями, обитательницами дорогого его сердцу Тригорского, но душевно сожалел об отсутствии Алексея Вульфа, который кутит в Тригорском вместе с Сердобиным и Шенигом. Александр мне сказал, что Наташе лучше, но дело еще не кончено. Александр доволен, что его жена расстанется с балами и уедет отсюда на шесть месяцев, лишь только поправится. Он желает тоже расстаться с Петербургом, но говорит, что это невозможно, так как долговременному пребыванию в деревне мешают и его камер-юнкерство, и визиты по архивам. Подавать же в отставку считает тоже невозможным после оказанного ему высочайшего внимания.

Болезнь Наташи очень его перепугала, Сашка осунулся, а Леон, который его любит так, как никто, не может смотреть на брата без слез».

И, действительно, дядя Лев, хотя и напускал на себя

философское равнодушие, вникал как нельзя более в положение обожаемого им брата, перед всяким словом которого преклонялся. Мать мне сообщила, что дядя Лев, после того как долг Гуту сделался известным, сказал брату-поэту: «Пожалуйста, не беспокойся обо мне. Не стою твоих хлопот; сам расправлюсь, а тебя прошу не платить за меня ни копейки. Иначе меня обидишь…»

Процесс с Гутом кончился, однако, при содействии Александра Сергеевича, но дядя Лев не остался в долгу и уплатил брату причитавшуюся сумму.

«Александр остается в городе на неопределенное время, – пишет Сергей Львович от 6 апреля, – а Наташа уезжает на будущей неделе. Болезнь ее не оставила по себе следов, и Александр напрасно тревожится; он весь – страдание. Вчера его видел; говорит, что жизнь ему как нельзя более надоела. Зато «храбрый капитан» не унывает. К большому нашему прискорбию, Леон подал, нас не спрашивая, прошение определиться на Кавказ; желает служить под начальством своего приятеля Розена. Мне это больно: опять мне, старику, только что обрадовавшемуся желанным свиданием с Леоном, суждено с ним разлучиться, а, может быть, разлучиться навеки! Но покоряюсь воле Провидения! Александр – отрезанный кусок для нас, ты далеко… нечего сказать, весело нам!..

Боже мой! чем бы я ни пожертвовал, чтобы опять быть с тобою! Но, к моему большому горю, нет у меня средств на поездку в Варшаву! Приехать же тебе к нам, при твоем положении, теперь невозможно. Зачем, Боже мой, ты так далеко от нас?! Но Бог милостив; быть может, приедешь к нам к тому времени, когда тебе суждено будет увидеть кровь от твоей крови – младенца, за которого и я готов пожертвовать моею кровью! А как мы были бы счастливы благословить этого бедного младенца!..»

«Наташа располагала выехать в Москву, – сообщает Надежда Осиповна от 9 апреля, – но простудилась и раньше четырех дней не тронется. Опасались жабы (elle a manque d'avoir une esquinencie); слава Богу, захватили вовремя, так что и мнительный Александр успокоился. Отправляет одну с детьми, проклиная Петербург, и говорит – отслужит молебен (qu'il chantera un Te Deum), когда будет уверен, что Наташа избавилась от балов да спектаклей. Вполне его понимаю. Затем скажу пару слов и о себе, но не тревожься, милая Оля. Если бы я заболела серьезно, не могла бы писать тебе пространное письмо. Дело в том, что Петербург и меня наказал простудой, а простудилась после того, когда по моей неосторожности очутилась на хорах во

дворце, о чем тебе писала. Страдала всю прошлую неделю лихорадкой; она прошла, но затем обнаружилось страдание печени. Как уверяет Спасский, которого, знаешь, это болезнь хроническая; пожелтела я как лимон, аппетит и сон уничтожился; но теперь чувствую себя гораздо лучше. Нева разошлась, погода прелестная, а после отъезда Наташи мы тоже здесь не останемся.

Александр упрям. Если не может ехать с Наташей в Яропольцы, то почему же не послушаться нас и не отлучиться из Петербурга недельки на две отдохнуть в Михайловском? Петербург ведь оттуда недалеко…»

Болезнь бабки оказалась гораздо серьезнее, чем она предполагала, и через два года свела ее в могилу.

14 апреля 1834 года Наталья Николаевна уехала к родным с обоими детьми, а дядя оставался до половины августа в северной столице.

Глава XXXV

В половине апреля 1834 года Пушкин расстался на несколько месяцев с женою: Наталья Николаевна уехала с малолетними дочерью и сыном из Петербурга в калужские имения Гончаровых – Полотняный Завод и Яропольц, а дядя Александр оставался в северной столице до августа.

Привожу следующие места из писем деда и бабки к Ольге Сергеевне за несколько дней до этого времени:

«Александр, – пишет Надежда Осиповна от 10 апреля, – сейчас меня посетил, поручил крепко тебя обнять и сказать тебе, что он сильно беспокоится на твой счет, так как опять услышал, будто бы у вас в Варшаве какая-то эпидемия; просит тебя не вверяться докторам, которые обошлись с тобой и в Варшаве не лучше петербургского эскулапа Иванова. Продолжай над ними смеяться, как смеешься в последнем письме; это письмо я ему прочитала, и он не замедлил приветствовать твои строки гомерическим смехом, называя их презабавными (j'ai fait la lecture de cette lette, a Саша, qui n'a pas manque d'ac-cueillir tes ligner par un rire vraiment homerique, en les qualifant d'im-payables). Но, несмотря на гомерический смех, сын был в ужасном расположении духа (Il etait d'une hummeur atroce). Его жена после выкидыша страдала жабой, чрезвычайно похудела, и он решился ее отправить на все лето в деревню; говорит, что деревня – ее одно спасение; окрестности же Петербурга – тот же Петербург, с теми же выездами, спектаклями и танцами, следовательно, та же анормальная жизнь.

Невестка берет обоих деток (ses deux poupons), Машу и Сашу; а рыжим Сашей Александр очарован (et quand a Sacha, son petit rousseau, Alexandre en est vraiment enchanti); говорит, что будет о нем всего более тосковать. Всегда присутствует, как маленького одевают, кладут в кроватку, убаюкивают, прислушивается к его дыханию; уходя, три раза его перекрестит, поцелует в лобик и долго стоит в детской, им любуясь. Впрочем, Александр и девочку ласкает исправно; жаль, что Маша очень еще слаба; ходит с большим трудом и не говорит.

Наташа, прежде нежели быть в Яропольцах, проведет неделю, может быть и больше, в Москве. Александр отсюда тронется едва ли раньше сентября, а поехать ему в Болдино необходимо и для своих, и для наших дел, но не может этого сделать прежде, нежели окончит записки в архиве. Как бы ни было, в Петербурге летом ему трудно будет работать при жаре и грустно вдали от жены и детей. Леон бредит Тифлисом, а папа и я уедем в

Михайловское; Вяземские едут за границу, так что летом у Александра останется один Соболевский, с которым он и теперь неразлучен. Говорит, ему гораздо полезнее общество этого медведя, чем рысканье по гостиным. С этим, пожалуй, и я согласна, но, будь сказано между нами, какую существенную пользу может поднести (ofrir) Александру Сергей Соболевский? Сашка и без него рифмы отыщет. Что между ними общего? Разве попробует учить Александра бороду носить, да и ту отращивать сыну не позволит ни служба, ни положение в свете. Борода делает Соболевского смешным донельзя, привлекая на него все взгляды (Cette barbe rend Sobolefsky on ne peut plus ridicule, et attire sur lui tous les regards), о чем, если не ошибаюсь, тебе уже писала. Впрочем, Соболевского я ставлю гораздо выше другого приятеля Z. Этот уже положительно ни на что не похож; благо его в Петербурге нет.

Дело прошлое, – продолжает Надежда Осиповна, – но я страшно боялась одно время за здоровье Наташи. Об опасениях на ее счет бедного Александра и говорить не стоит: сам едва от беспокойства не слег и сетовал на зимние выезды жены. Говорил, если бы не злополучные балы, никакая болезнь Наташи и не коснулась. Умоляет и тебя беречься. Знает, что осенью, по моему расчету в октябре, ты должна сделаться матерью. Ехать мне к тебе в Варшаву едва ли будет возможно, а как бы мне желалось к тому времени находиться при тебе! Сама бы за тобой ухаживала и первая благословила бы ребенка. Все это высказала я Александру, и знаешь, какая у него блеснула мысль? Приехать тебе в июле или начале августа к нам, в наше Михайловское. Доедешь до Острова, куда и вышлем тебе экипаж, а в Пскове живет очень хороший врач Бернар – не то что варшавские коновалы. Псков от нас недалеко; в Пскове проживает и знакомая ему искусная повивальная бабка… и ее пригласим, а я буду твоей безотлучной сиделкой. Подумай об этом! Александр, кроме того, сказал, что если возьмет продолжительный отпуск, то съездит повидаться с тобой в Варшаве; ни разу там не был. Вместе бы и приехали!

Александру я пересказала о подвигах в Варшаве неблагодарного пьяницы Проньки. Все это Александра возмутило до крайности; говорит, что ему лоб забреет и что Пронька не стоит всех ваших хлопот».

«Милая Оля, – пишет Сергей Львович на другой день, от 11 апреля, – здоровье мама, слава Богу, поправляется, но болезнь могла принять серьезный оборот, тем более, что, не говоря мне ничего, мама продолжала выезжать. Но в конце концов она не могла уже долее таиться и сообщила свое желание пригласить Спасского. Александр советовал ей обратиться именно к

Спасскому, в которого он верит, как в Бога. Хотя я докторам верю почти так же, как покойный Мольер, – все эти господа на один покрой (tous ces messieurs sont de la meme trempe), но невозможно ставить Спасского на одну доску с прочими эскулапами: очень помог твоей матери, а стало быть, и мне.

Твой приезд к нам в Михайловское, – продолжает дед, – был бы для меня так желателен, что боюсь о нем и мечтать. Александр, как мама тебе писала, собирается, после побывки в Болдине, лишить твоего присутствия дурацкую, как выражается, Польшу, и лишить, по крайней мере, на несколько месяцев, да привезти тебя из Варшавы в наше милое Михайловское. Посмотреть Варшаву ему не мешает. Какие-то польские паны, тысячу извинений за весьма плохой каламбур (quelques pans polonais, mille pardons pour l'archi-mauvais calembourg) [174] , протрубили ему, будто бы Варшава – Париж в миниатюре, куда после Варшавы и ездить не стоит. Александр панам не верит, после моих рассказов о Варшаве, где я сам был, правда лет уже двадцать с чем-то; не верит он им в особенности после твоих писем, где говоришь о кривых улицах с грязными ручьями по обеим сторонам и грязном жидовском населении, но хочет сам убедиться, насколько паны врут; а одного из них Александр попотчевал на днях острым словцом. Этот пан, замечу, понимающий по-русски, сказал ему: «Tous les «ska» sont belles, et tous les «ski» sont braves!» (Все ска красавицы, а все с к и храбры), указывая на окончание большей части польских фамилий. Александр улыбнулся и отвечал ему уже по-русски (et lui a riposte en russe): «Вот и выходят «сказки».

Говоря о Варшаве, не могу умолчать о Леоне и не спросить тебя, каким образом он ухитрился сделать столько долгов. Ведь в карты не играет, чужд разврата, ведет себя безукоризненно; неужели все пошло на угощения мнимых друзей? Платить варшавские долги Леона я не в состоянии: много других у нас расходов; хотел уплачивать по частям долг его Гуту, но рассудил, что другие кредиторы Леона поведут в таком случае на меня штурм. К счастию, храброго капитана выручил из беды знаменитый поэт: Александр изъявил готовность заплатить за брата лично, если поедет к тебе в Варшаву, а если поездка не состоится, то вышлет адресатам, что следует.

Леону едва ли скоро удастся перебраться на кавказскую службу. Хотя прошение он и подал, но прежде поездки в Тифлис должен ожидать из Варшавы каких-то бумаг. Пока останется здесь».

«Опять пожалуюсь тебе, – приписывает бабка, – на демона-искусителя Соболевского (de nouveau je te ferai mes plaintes contre

ce demon-tentateur de Sobolefski), который развратил Леона: по его совету, храброму капитану пришла фантазия носить несколько недель сряду бороду, что было ужасно: Леон сделался похожим на Черномора из «Руслана и Людмилы»; к счастию, по милости других приятелей, в особенности после насмешек княжны Вяземской, выбрился, и… слава Богу!»

Приводя последние строки бабки, не могу не заметить, что Надежда Осиповна питала особенную антипатию к усам, а главное, к бороде, считая эти украшения признаком самого дурного тона. С усами дяди Льва она должна была помириться, он служил в кавалерии, но не могла помириться с вышедшим в начале тридцатых годов разрешением носить усы пехоте и кирасирским полкам. Домашней прислуге Надежда Осиповна позволяла отращивать одни лишь бакенбарды. Кроме «бородачей», бабка относилась неблагоприятно и к курильщикам. «Бородачи и курильщики рождают во мне тошноту (les barbus et les fumeurs me don-nent des nausees), – говорила она Ольге Сергеевне, – и удивляюсь, почему «бородачи» решаются стричь ногти, а «курильщики» – полоскать рот?»

Дядя Лев, страстный курильщик, чувствовал себя несовсем поэтому ловко в присутствии матери, когда должен был, по ее желанию, засиживаться у нее в гостиной. Сергей же Львович, до кончины Надежды Осиповны, курил секретно.

«…Наташа, – пишет между прочим бабка от 25 апреля, – уехала более недели в Москву с обоими детьми. Александр хотя и решился ее отпустить, что сделал скрепя сердце (ce qu'il a fait a contre-coeur), но признался, что при разлуке с семейством не мог удержаться от слез и что его осаждают черные мысли (il m'a dit qu'il est obsede par des idees noires). Я ему отвечала, что это пустые причуды, но едва ли его утешила. (J'avais beau dire que ce sont des lubies, mais je mets en doute l'efcacite de mes consolations.) Впрочем, у нас на праздниках он был почти весел. Заутреню и обедню (les matines et la messe de minu-it) я слушала в Конюшенной церкви [175] . Во второй день праздника, кроме Леона, – он живет у нас, – мы увидели в скромном нашем жилище Александра. Он привел Соболевского, и mylord qu'importe смеялся, по своему обыкновению, над половиной вселенной (selon ses habitudes, mylord qu'importe n'a pas manque de tourner en ridicule la moitie de l'univers)…»

«Совершеннолетие наследника, – пишет от того же числа Сергей Львович, – отпраздновали самым торжественным образом. Много больших наград. Александр мне объявил, а Плетнев подтвердил, что Жуковский (я на него сердит – не кажет уже давно к нам носа) получил пожизненную аренду в три тысячи

рублей серебром, что составляет более десяти тысяч. Конечно, Жуковский остался очень доволен. Зато мы нашими денежными обстоятельствами, не скрою от тебя, милая Оля, как нельзя больше недовольны. Не знаю, как обернуться. Долг за имение внесу, но что же будет дальше? Посоветуюсь с Александром, пока он еще не уехал. К кому же мне обратиться, как не к нему?»

И действительно, материальное положение стариков было весьма плохо. Об этом, а также и о своей незавидной обстановке отец мой писал своей матери, Луизе Матвеевне (на французском языке), 19 апреля 1834 года следующее:

«Получая весьма скудное жалованье, я, как вам известно, не мог жить больше в Петербурге. Отказавшись от света, я должен был оставить Петербург и искать другого места, чтобы содержать себя жалованьем и не делать долгов. Случай забросил меня в Варшаву. Жалованье мое, правда, увеличилось, но житье здесь несравненно дороже. Довольно сказать, что обыкновенные цены на провизию гораздо выше тех, какие у вас были в Екатеринославе в голодное время. Три четверти моего жалованья идут на стол, на содержание вольных людей (ибо, кроме лакея и горничной, у меня нет крепостных) и на содержание дома. Остальной четверти едва достаточно для одежды и непредвиденных расходов. Круг знакомства нашего хотя и тесен, но жене необходимо бывать в доме светлейших, а от частых приглашений княгини Елизаветы Алексеевны отказаться просто невозможно.

Должность, мною занимаемая, такого рода, что я должен иногда бывать там, где совсем не хочется, и держать пару лошадей, которых давно бы продал. Словом, жалованья мало, а долгов боюсь хуже огня. Случилось мне раза два быть представленным к награде: вместо чинов и крестов взял деньги; и вперед сделаю то же. Вот я бы и за выслугу лет отказался от чина, но делать нечего – дали, и я должен внести за повышение месячное жалованье, т. е. оставаться целый месяц без гроша. Такие случаи бывают нередки; к тому же всякий неожиданный расход, как, например, плата докторам – что уже несколько раз здесь случалось, – уничтожает вдруг все расчеты и запасные деньги. Скоро буду отцом, а для ребенка надо и то, и другое, плохо очень, очень плохо! Старики Пушкины, не знаю, помогут ли нам. Имение их, по числу душ (около тысячи двухсот) хотя и значительное, расстроено донельзя: участь его зависит от распоряжений шурина моего Александра Сергеевича, вступившего в управление оным. Авось поставит в рамки управляющего… (peut etre mettra-t'il en registre le nouvel intendant…) С начала моей женитьбы тесть обещал давать по

четыре тысячи в год, но первые два года дал только по две тысячи, в следующие меньше, а в последний почти ровно ничего.

Родители жены приглашают ее к себе в августе в Михайловское; она изъявила согласие и написала им об этом. Поедет вместе с Александром Сергеевичем – он хочет навестить нас в Варшаве, – а на худой конец тронется отсюда одна, так как ни за что в этом году не могу отлучиться».

До отъезда деда и бабки в Михайловское Александр Сергеевич посещал их довольно часто.

«Александр, – пишет бабка от 9 мая, – у нас почти всякий день, да и не мудрено: с кем отведет душу, а с нами говорит нараспашку. Без жены и детей ему тоска в огромной, пустой квартире. Очень просит тебя писать ему на Пантелеймонскую, в дом Оливье; уверяет, что твои строки прочтет с наслаждением и умилением. Хотел писать твоему мужу деловое письмо, но не знаю, напишет ли? По утрам очень занят и жалуется на тяжелый труд и беспокойства всякого рода (il a beaucoup de tracas de toute sorte). После работы, перед тем, чтобы отобедать у Дюмэ с бородачом Соболевским, Александр ходит отдыхать в Летний сад, где и прогуливается со своей Эрминией. Такое постоянство молодой особы выдержит всякие испытания, и твой брат в этом отношении очень смешон».

Фамилия этой особы мне неизвестна. О прогулках же в Летний сад и свиданиях с Соболевским дядя Александр пишет Наталье Николаевне от 11 июня: «…Нашла, за что браниться! За Летний сад и за Соболевского! Да ведь Летний сад мой огород. Я, вставши от сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. А Соболевский? Соболевский сам по себе, а я сам по себе. Он спекуляции творит свои, а я свои. Моя спекуляция – удрать к тебе в деревню…»

«Жена Александра, – продолжает бабка, – нам сообщает о своем свидании «со святым семейством», – нашими родными Сонцовыми. И твоя тетка, и твой дядя, и твои кузины приняли Наташу и ее сестер как благословенный хлеб (elle les ont recxies comme du pain beni); а Наташа была на двух балах с сестрами – у княгини Голицыной и в собрании, где много танцевала. Александр, прочитав это место ее письма, сделал свою гримасу, когда чем-нибудь недоволен, подергивая губами, и сказал: «Опять за прежнее, ну да Бог с ней!»

От него теперь зависит наш отъезд в Михайловское. Все к отъезду готово, кроме денег, которые Александр обещал доставить нам на дорогу, о чем и переписывается с управляющим; если же ему не удастся получить денег из Болдина через неделю, то постарается снабдить нас ожидаемой суммой за свои труды, но

времени определить не может. Между тем весна здесь вступила совершенно в свои права. Деревья, правда, еще не оделись зеленью, нет и моих любимых желтеньких цветочков на изумрудной травке, но природа дышит воскресением. Жду не дождусь минуты, когда Александр скажет: «Поезжайте в Михайловское, и Бог с вами!» (Partez pour Михайловское и que le bon Dieu Vous benisse.)

Многие из наших знакомых разъехались – кто в Царское, кто в Петергоф, кто и поближе – на Острова и на Черную речку, где устроена великолепная галерея для пользующихся минеральными водами. Кто остался в городе – спешит в Летний сад. Завтра назначен большой военный парад на Марсовом поле. Живем оттуда в десяти шагах и наслаждаемся уже три дня сряду звуками флейт и барабанов. Скажу, кстати, что 29-го числа прошлого месяца Александр присутствовал, в качестве камер-юнкера, на большом торжестве: петербургское дворянство давало большой официальный бал в доме Д.Л. Нарышкина, удостоенный присутствия Государя. Бал закончился фейерверком и великолепной иллюминацией. Плававшие по Неве яхты и лодки с разноцветными фонарями, песни гребцов, словом, вся обстановка праздника, при поэтической весенней ночи, меня очаровала, и я вообразила себе, что живу не в Петербурге, а в Венеции. Но поговорю о другом:

Леон получил место при Блудове по особенным поручениям [176] , с тем чтобы поехать в Тифлис. Разлука с Леоном меня огорчает, но я не эгоистка. Мои пожелания будут всегда вам сопутствовать, друзья мои, везде, где бы вы ни находились. Леон пока по-прежнему живет у нас, занимая веселенькую комнатку с обоями его любимого зеленого цвета и двумя окнами на солнечную сторону улицы».

О приезде в Петербург из Варшавы полковника (природного персиянина) Абас-Кулиаги, служившего в находившемся в распоряжении фельдмаршала Паскевича Мусульманском эскадроне, Сергей Львович от 25 мая пишет:

«На днях Александр представил нам Абаса-агу. Приехав из Варшавы с твоим письмом, Абас явился сначала к Александру, который от него в восторге. Этот сын Востока действительно преинтересная личность. Занимательный разговор на совершенно правильном французском языке, изящные манеры, оживленные рассказы о его путешествиях в Азии и Европе, описания его романических, исполненных поэзии, приключений, рассказы о кампаниях, в которых участвовал, – все это произвело на нас самое приятное впечатление. Абас так радушен и любезен, что я вообразил его моим старым другом, тем более что рад был

увидеть человека, который так недавно с тобой говорил, почему и употребляю метафору, по примеру его же соотечественников: «После свидания с ним мне показалось, что падающие на меня лучи благодатного солнца сияют сугубым блеском радости и весну надежды превращают в лето ее осуществления». Не смейся над этой вычурной фразой, писанной под персидским влиянием.

Вчера Абас у нас отобедал вместе с Александром, Соболевским и графиней Ивелич. Разумеется, обедал и Лев, после чего «капитан» и «поэт» отправились с сыном Магомета да Соболевским в театр, где мусульманин и наслаждался созерцанием земных балетных гурий. Завтра – в день рождения Александра – я надеялся познакомить Абаса с Вяземским, но завтра же княгиня Мещерская и Софья Карамзина уезжают за границу, в Италию. Александр их провожает до Кронштадта, так что дня его годовщины праздновать не будем.

Абас-Кули очень много нам говорил о твоем желании приехать в Петербург навестить брата, а потом поселиться в Михайловском на всю осень; но когда он мне рассказал о хлопотах, предстоящих тебе в дороге, так как от Ковна до Риги дилижансы не ходят, то благодарю Бога, что ты решилась ждать свидания с Александром в Варшаве до августа и приехать уже к нам не одной, а с ним. Пользуйся прелестной погодой, о которой пишешь; у нас же на днях наступили такие холода, на которые я и не рассчитывал, когда мать сообщала тебе последний раз о возвращении весны: топим печи и опять облеклись в осеннюю одежду и теплую обувь. Александр, ругающий Петербург при всяком удобном случае, рад новой оказии браниться, но тронуться отсюда не может.

Уверяет, будто бы его письма к жене вовремя не доходят, потому что почтамтские рыцари (les chevaliers de la poste) распечатывают их и прочитывают по самовольному секретному приказанию или распоряжению Б – а [177] . Но справедливо ли это? Не преувеличивает ли Александр? (Ne se forge t’il pas des idees?) Во всех видит врагов и стал всякому, исключая, конечно, друзей, отпаливать дерзости, заставляющие от него бегать (et s’est mis a decocher des impertinences a faire fuir son monde). Выезжает он в свет редко и сказал мне, что одно лишь это его утешает в разлуке с женой, с которой ездил четыре раза в неделю, если только не больше, туда, где ему бывать совсем не хотелось. При Абасе-аге он ругал большой петербургский свет уже слишком зло, а на мое замечание рассердился, да сказал: «Тем лучше, пусть всякий знает – русский или иностранец, все равно, – что этот свет – притон низких интриганов, завистников, сплетников и прочих негодяев». Соболевский ему поддакивал, чем и больше его

сердил. Он, кажется, у Александра совершенно поселился и воцарился; подбивает его доказать любовь к независимости не на словах, а на деле, т. е. выйти в отставку да «ускакать в деревню заниматься не камер-юнкерскими, а денежными делами». Довольно зло сказано со стороны Соболевского, а Соболевского твой брат слушает как оракула; кажется, и на этот раз послушается. С Соболевским решает все свои задушевные вопросы, беседуя с ним у Дюмэ за обедом, а потом в Английском клубе. Леон тоже считает Соболевского воплощенною премудростью, а всякое острое – зачастую и плоское – слово этого Цицерона повторяет с восторгом и даже записывает».

В следующих же письмах от 29 мая и 3 июня к Наталье Николаевне дядя говорит между прочим:

«Ты разве думаешь, что свинский Петербург не гадок мне? что мне весело в нем жить между пасквилями и доносами?.. Я не писал тебе потому, что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство, a la Ietttre. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (I'inviolabilite de la familie) – невозможно. Каторга не в пример лучше…»

До отъезда стариков в Михайловское дядя, по совету Соболевского, не подал в отставку, сделав это позже, в исходе июня, а просил лишь Бенкендорфа о предоставлении ему на два года ссуды, в размере пятнадцати тысяч, на издание истории Пугачевского бунта. Письмо Бенкендорфу, своему заклятому врагу, дядя заключает довольно странной фразой: «У меня нет другого права на просимую мною милость, кроме вашей доброты, которую вы мне уже оказывали и которая дает мне смелость вновь к ней прибегнуть. Вашему покровительству, граф, приношу мою покорную просьбу». Так как льстить кому бы ни было не лежало в натуре Пушкина, то приводимое мною заключение письма должно быть злою иронией. Никакой доброты и покровительства Бенкендорф Пушкину не оказывал, а относился к нему диаметрально противуположно. Александр же Сергеевич, писавший Бенкендорфу впоследствии, что, «поручая себя его мощному покровительству, приносит ему дань своего глубокого уважения», говорил всем и каждому – a qui voulait l'entendre, – что он к Бенкендорфу никакого уважения не чувствует, а если рассчитывает на покровительство, то лишь на покровительство Монарха. Скажу кстати: над нежными чувствами к Пушкину Бенкендорфа и не поладившего с Александром Сергеевичем барона Корфа – Сергей Александрович Соболевский посмеялся двустишием:

Твой первый друг граф Бенкендорф,
Его ж соперник – барон Корф.

11 июля дед и бабка покинули Петербург, 13-го приехали в Псков, на другой день были в Острове, ночевали во Вреве, 15-го числа – в Тригорском, а 16-го достигли Михайловского, откуда Надежда Осиповна, между прочим, пишет:

«Наконец мы расстались с Петербургом. Бог с ним! (Que le bon Dieu le conserve.) Не печалься о невозможности приехать к нам теперь. Александр будет через два месяца в Варшаве и привезет тебя к нам. Нас провожали в дорогу Александр, Леон и Абас-Кули. Абас трогательно с нами простился и несколько раз обнимал папа».

«Именно несколько раз, – прибавляет в выноске Сергей Львович, – что приписываю расположению его к тебе, почему и я полюбил его от всего сердца. Он уехал из Петербурга в Одессу и раньше месяца не возвратится в Варшаву».

«Несмотря на мою грусть после разлуки с твоими братьями, – продолжает бабка, – не могу жалеть, что я здесь; утешаюсь мыслью, что если бы даже и не уехала из Петербурга, то не пробыла бы с ними долго; Александр отправится к жене, затем поедет в Болдино, быть может, к тебе в Варшаву, а Леон ждет не дождется минуты уехать в Тифлис. Удивляюсь, однако, чем Тифлис ему так понравился, и уверена, что когда туда приедет – разочаруется. Особенно горьких слез при разлуке с Леоном я не пролила, сообразив, что он, в конце концов, должен чем-либо заняться, а в Петербурге его одолели праздность и скука. Теперь проживает на нашей квартире; Александр живет на своей, что довольно странно: будучи вдвоем, не лучше ли было бы им жить вместе? Оба они неисправимые оригиналы, но, как говорит папа, да будет Небесная воля. (Leon loge dans notre maison, Alexandre dans la sienne, ce qui est assez singulier: n'etant que deux ne vaudrait il pas mieux etre ensemble? C'est qu'ils sont tous les deux des originaux incorrigibles, et comme dit papa – que la volonte du Ciel soit faite)».

На молчание обоих сыновей Надежда Осиповна жалуется Ольге Сергеевне следующим образом в письме от 23 июля:

«Вот уже более месяца как мы расстались с Александром и Леоном, но они не дают нам знать о своем существовании да, кажется, не заботятся и о нашем; если бы наши люди не имели сношений с оставшимися в Петербурге, то мы бы находились в постоянном беспокойстве; теперь, по крайней мере, знаем, что оба эти шута здоровы. А что только о них я не передумала – один

Бог знает. Можно быть здоровыми, а испытывать всевозможные неприятности, огорчения, которые хуже всяких болезней; особенно боюсь за Александра: последнее время он стал так желчен и заносчив, что действительно может поколотить любого критика своих сочинений и тем сдержать свое слово: он уверял меня, что у него недаром чешется рука на врагов – продажных писак. Следовательно, если и не будет иметь дуэли, на которую его подлые враги, по низкой трусости, не способны, то не избегнет их наветов и доносов. Леон тоже не защищен от людских пакостей, как и его брат Александр. Короче, беспокоюсь и о том, и о другом. О жене Александра и о его детях – ровно ничего не знаем. Наташа нам ни полслова; перед отъездом Александр сообщил, что у маленькой Маши показались зубки…

…Шесть недель сряду не было ни капли дождя, но вчера пронеслась гроза с ливнем. Цветы в изобилии, растительность роскошная, огороды, оранжереи, дорожки в исправности. По совету Спасского пью сыворотку, а папа, для укрепления нервов, купается всякий день, пьет целебные травы и ездит верхом на своей белой лошадке. Появилось особенно много дынь, которые ты так любишь. Как я была бы счастлива есть их с тобой, как мне бы хотелось, чтобы ты увидела наш садик. Он сделался прелестным, а поля и луга так и манят на прогулку. Всякий уголок мне тебя напоминает, и часто, часто не могу удержаться от слез… Собираю твои любимые цветочки, сижу по часам в твоей любимой беседочке, где читаю-перечитываю твои письма, а разговоры о тебе с твоими друзьями – соседями нашими – и добрыми родственниками Ганнибалами – мое утешение. Боже! как грустно в наши лета не быть окруженными нашими детьми!! Неужели, как выражается Александр, «жизнь нас всех разбросит, смерть опять сберет»? Боже, как грустно, как мучительно грустно!!!..»

Сергей Львович описывает дочери деревню в тех же почти выражениях и излагает ей подобные же сетования на отсутствие ее, Александра и Льва Сергеевичей; но потом, рассказывая о Михайловских соседях-оригиналах, с которыми познакомился, мало-помалу впадает в юмористический тон и в конце письма, упоминая о малолетнем сыне варшавской приятельницы Ольги Сергеевны, г-жи Гильфердинг, – впоследствии незабвенном нашем ученом славянофиле, Александре Федоровиче, – шутит следующим образом:

«Все, что говоришь нам о маленьком Саше Гильфердинге, наводит меня на мысль, что, Бог меня прости, он «антихрист» (d’apres tout ce que tu me dis du petit Hilferding.’je crois, Dieu me pardonne, que c’est l’an-techrist), а по крайней мере будущий

Ньютон, Галилей или Мецофанти. Да это маленький гений, если по своему умственному развитию страсти к изучению языков и естественным наукам приводит всех в изумление, превышая пятнадцатилетних юношей! Этот удивительный ребенок может стать вровень разве с маленькой девочкой из Гамбурга, о которой говорили в газетах. Ей два года, а знает астрономию и разрешила несколько математических задач… Верь этому журнальному анекдоту, если хочешь… От души желаю тебе иметь сына, подобного маленькому Гильфердингу, лишь бы был повеселее; но мне кажется, что у тебя будет не мальчик, а девочка. Дай Боже, чтобы я имел счастие обнять вас обоих. Эта мысль привязывает меня к жизни…

Очень рад, что продолжаешь изучать Лафатера и Галля. Я им верю и желаю, чтобы ты применяла сообщаемые ими сведения к делу, распознавая в точности душевные свойства людей по наружности, на что, впрочем, и без Лафатера у тебя врожденный талант».

Действительно, Ольга Сергеевна, как я уже и упоминал в главе I моей хроники, особенно изучала физиогномистику и френологию и написала на французском языке весьма обширное рассуждение о законах симпатии и антипатии, которое, к сожалению, впоследствии уничтожила.

Возвращаюсь к прерванному письму Сергея Львовича:

«Очень тоже рад, – продолжает он, – что тебе удалось купить сочинения Сведенборга и Эккартсгаузена. В горькие минуты шведский философ и немецкий мистик утешить могут всякого и укрепить в христианском благочестии. Как нельзя более желательно мне обладать познаниями Сведенборга и подобно ему летать во сне повсюду, куда бы ни захотел; в таком случае мой первый полет был бы к тебе. Напиши, рисуешь ли от времени до времени?

Чем кончу письмо, как не жалобой на Александра и Леона? Оба они нам совсем не пишут, не отвечая даже, а нам очень любопытно знать, чем кончились хлопоты Александра по печатанию его «Пугачевщины», когда он поедет в Болдино по моим делам и, вообще, поедет ли он? Любопытно знать, едет ли в Тифлис храбрый наш капитан или нет? Неужели у них обоих исчезло обо мне всякое воспоминание и сознание, что их никто не любит так, как я? Часто думаю, что твои братья адресовали нам письма неправильно, а на этот раз меня успокоивает и неисправность псковской почты».

Письма от сыновей старики получили уже к концу июля, и бабка по этому случаю пишет от 1 августа:

«Наконец твои братья нам написали; давно пора, и скажу тебе

новость: Леон не имел терпенья дожидаться своего назначения в Тифлис, подал в отставку, получил ее и уезжает в Грузию, без назначения туда на службу, уверяя, будто бы ему гораздо будет легче определиться в число кавказских чиновников, или в Кавказскую армию, когда сам будет уже на месте. Едет через Москву, куда просит нас писать, не сообщая, однако, адреса. Александр тоскует, грустит и бранит, по своему обыкновению, половину вселенной. (Alexandre s'ennuie: il est triste et selon son habitude jette feu et famme contre la moitie de l'univers.) Рвется он из Петербурга; говорит, что поездка в Болдино ему необходима, но его приковывают к столице дела неприятнее одно другого. Просился он тоже в отставку, но принужден был взять ее назад, иначе навлек бы на себя кучу сплетней и много других неприятностей. Будет просить отпуск, когда кончит дела в душном Петербурге, откуда все его знакомые выехали на лето. Как предсказывала ему, так и случилось: у него, кроме Леона, – да и Леона след простынет на днях, – остался один mylord qu'importe Соболевский, но и тот, по письму Александра, стал поговаривать о поездке в Англию. Наташа и дети – Сашка и Машка – в «вожделенном», как он пишет славянскими буквами, «з д р а в и и», и слава Богу. Александр подтверждает желание Леона непременно поступить вновь в Кавказскую армию, но выражается при этом неопределенно, что для меня хуже всякой неизвестности. Александр зато сообщает положительно о свадьбе твоей подруги Цебриковой: говорит, вышла замуж за бедного учителя русского языка, Алимпиева; хотя партия в денежном отношении и не блистательна, но Алимпиев, по уму и своей возвышенной любящей душе, без сомнения, сумеет составить счастие жены [178] ».

«Внезапный отъезд Леона в Тифлис меня очень огорчает, – пишет Сергей Львович от того же числа. – Сам же он хотел служить при Блудове; но не успел Блудов принять его на службу, как сын подает в отставку, нетерпения ради (pour cause d'impatience). Не такими способами делают карьеру, и я уверен, что министр этим очень недоволен. Что же мне делать, как не сосредоточить эту печаль в моем сердце и не повторить: да будет воля Неба? Но, во всяком случае, «мой младший», если уже решился отправиться в край столь отдаленный и на неопределенное время, то мог бы, по малой мере, заехать прежде к нам в Михайловское. Какие его виды – не знаю; какие надежды – не ведаю. В конце концов, покоряюсь Промыслу Божию, который Леона доныне хранил».

Из этих двух писем видно, что как Лев, так и Александр Сергеевичи не считали нужным излагать подробно родителям

свои планы. Александр Сергеевич, подобно брату, упоминает в письмах к старикам лишь в общих чертах о взятой им обратно тогда [179] отставке, вовсе не упоминая ни о постигших его по этому случаю неприятностях, ни об известной своей переписке с Бенкендорфом. Возбудил же дядя вопрос об отставке, увидев настоятельную необходимость поправить свои обстоятельства, расстроенные непомерными расходами, вследствие посещений большого петербургского света. Благоприятный исход Пушкин усматривал единственно в долговременном отсутствии из Петербурга; между тем Наталья Николаевна, будучи еще совершенно неопытной, не разделяла его беспокойств и, напротив того, не только не думала расстаться на следующую зиму с Петербургом, но решила привезти туда и обеих сестер, желая доставить и им возможность вращаться в кругу большого света; присутствия же Александра Сергеевича в Болдине требовали и дела его родителей, пришедшие в совершенный хаос, а Пушкин, который в душе очень любил «стариков», решился спасти их во что бы ни стало. Наконец, Александр Сергеевич боялся – о чем говорила мне мать – и за упадок своего таланта; «отдаться вполне труду и творчеству» Пушкин мог только «в тишине и на свободе (собственные слова его), а не в столице при совершенно бесполезном для дела ежедневном пребывании в великосветских гостиных». Кроме того, он хотел бежать и от петербургских сплетен, а сплетни «людей добрых» доходили и в эту эпоху его жизни до колоссальных размеров. Так Сергей Львович сообщает дочери от 6 августа – между прочим:

«…По словам возвратившихся из Петербурга наших соседей, бедный Александр служит мишенью всем любителям сплетен, и слухи, постоянно о нем распускаемые, сжимают мое сердце. Вообрази, что когда Nathalie выкинула, рассказали, будто бы это произошло вследствие нанесенных им жене ударов. Наконец, сколько молодых женщин уезжают к родителям на два или на три месяца в деревню, и никто против этого не говорит ничего, а за малейшим шагом Александра и Леона следят. (Au dire de nos voisins, qui ont ete demierement a Petersbourg, le pauvre Alexandre est le point de mire de tous les amateurs de cancans, et les bruits, que l'ont fait continuellement courir sur ie compte de mon fls, me font mal au coeur. Sais tu, que quand Nathalie a fait une fausse couche, on a dit que c'etait a la suite des coups qu'il lui avait donne! Enfn, que de jeunes femmes vont voir leurs parents, passer deux ou trois mois a la campagne, sans qu'on y trouve a redire; mais quant a lui et a Leon – on ne leur passe rien)».

Побудительные причины выхода в отставку Пушкин высказывает в письмах к жене в мае и июне того же года

следующим образом:

«С твоего позволения надобно будет, кажется, выйти мне в отставку и сложить камер-юнкерский мундир. Ты молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной и доброй жены. Зависимость и расстройство в хозяйстве ужасны в семействе, и никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствия и довольства. Вот тебе и мораль… и мои долги, и чужие мне покоя не дают. Имение расстроено, и надобно его поправить, уменьшая расходы… Меня в Петербурге останавливает одно: залог нижегородского имения; я даже «Пугачева» намерен препоручить Яковлеву, да и дернуть к тебе, мой ангел, на Полотняный Завод… Должно подумать о судьбе наших детей. Имение отца, как я в том удостоверился, расстроено до невозможности, и только строгой экономией может еще поправиться. Я могу иметь большие суммы, но мы много проживаем. Умри я сегодня, что с вами будет… Меня здесь удерживает одно – типография. Виноват, еще другое – залог имения. Но можно ли будет его заложить? Как ты права в том, что не должно мне было принимать на себя эти хлопоты, за которые никто мне спасибо не скажет, а которые испортили мне столько уже крови, что все пиявки мне ее не высосут…»

Тягостными и затруднительными семейными делами и неудобством часто отлучаться в отпуск и, состоя на службе, Пушкин мотивирует свое прошение об отставке Бенкендорфу, которому писал от 6 июля того же года, не давать этому прошению дальнейшего хода и заменить отставку отпуском на несколько месяцев. Первое письмо по этому предмету Александр Сергеевич писал Бенкендорфу после отказа в его ходатайстве не лишиться и при отставке права посещать государственные архивы, – отказа, редактированного в довольно резкой форме, а именно, что помянутое ходатайство удовлетворению подлежать не может, так как испрашиваемое Пушкиным право посещения архивов «может принадлежать только людям, пользующимся особенною доверенностью начальства».

«Надобно тебе поговорить о моем горе, – сообщает дядя своей жене от 14 июня. – На днях хандра меня взяла: подал я в отставку, но получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я вструхнул и Христом и Богом прошу, чтобы мне отставку не дали. А ты и рада, не так ли? Хорошо, коли проживу я лет еще двадцать пять, а коли свернусь прежде десяти, так не знаю, что будешь делать, и что скажут Машка, а в особенности Сашка… Ну, делать нечего. Бог велик; главное то, что я не хочу, чтобы могли меня подозревать в

неблагодарности. Это хуже либерализма…»

Александр Сергеевич остался на службе. Приступил он к печатанию «Пугачевщины» (как выразился Сергей Львович), хлопотал по отцовским делам, летом не посещал никого, а ходил только обедать к Дюмэ с Соболевским и Львом Сергеевичем, который, пред отъездом в Грузию, старался провести время как можно веселее.

Тогда-то, – в июле или в начале августа, – и происходили у Дюмэ (как упоминается в изданной в 1863 году брошюре «Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина со слов К. К. Данзаса») первые встречи поэта с его убийцей. В брошюре сказано, что «Данзас познакомился с Дантесом в 1834 году, обедая с Пушкиным у Дюмэ, где за общим столом обедал и Дантес, сидя рядом с Пушкиным». Разумеется, ни Данзас, ни Соболевский, ни «храбрый капитан» не могли придавать этому знакомству особенного значения. Будущие враги обедали вместе и, сидя рядом, не могли не обменяться парою слов или обыденным разговором.

Получив отпуск, дядя отправился из Петербурга в половине августа за женой в Калугу, откуда намеревался уехать в Болдино, потом посетить родителей в Михайловском, сестру в Варшаве, отвезти ее к старикам и возвратиться в Петербург уже позднею осенью. Но последним его предположениям не суждено было осуществиться.

«Леон был в Москве, – сообщает Надежда Осиповна моей матери из Михайловского от 27 сентября, – и написал превеселое послание, накануне своего отъезда. В Москве он прожил двадцать дней в вихре тамошнего большого света (dans le tourbillon du grand monde), не зная ни минуты отдыха. Танцевал «храбрый наш капитан» на всех балах и гулял на всех праздниках, данных по случаю приезда принца Прусского; пишет, что очень удивился, когда на одном из вечеров встретил Александра, который очутился там, так сказать, проездом, пробыв в Москве лишь несколько часов (Leon fut tres etonne de rencontrer Alexandre a une de ces soirees, qui n'etait qu'en passant; il est reste quelques heures seule-ment a Moscou), и ехал к Наташе в Калугу. Леон в восторге отправиться в свой возлюбленный Тифлис. Говорит, что останется на несколько времени в Харькове, а его попутчиком до Харькова оказался Александр Раевский. Сын уверяет, будто бы часто будет нам писать, но, кажется, с его стороны это не более как сверхъестественные сказки. (Mais je crois, que ce sont des contes a dormir debout.) Что же касается Александра, – я полагаю, он уедет в Болдино не раньше ноября. Его предположения меняются, впрочем, как ветер (ses prejets changent comme le vent)».

Сергей Львович от того же числа сообщает: «Надо быть очень ловким, чтобы сообщить тебе адрес Александра – прости за плохой каламбур. Не знаю, где он. В полученных от него нескольких строках в половине августа сын сообщал, что торопится и едет в деревню (qu'il etait presse, et partait pour la campagne). Я отвечал и послал письмо в Москву, на Никитскую, в дом Гончарова. Теперь, право, не ведаю, куда писать. Леон встретил его в чужом доме (dans une maison tierce) и заявляет, что Александр поехал свидеться с женою (et nous mande qu'il allait joindre sa femme). Как это все досадно! Между тем неужели Александр не может понять, что нет ничего для нас мучительнее, как оставаться в неизвестности насчет наших детей? А с Леоном, может быть, никогда и не увижусь! Будь Леон в Варшаве, я бы мог рассчитывать, что будет посещать нас, одиноких стариков, а от него вполне зависело состоять при Паскевиче в качестве адъютанта, как фельдмаршал ему предлагал; сделать бы мог блистательную карьеру! Теперь же что его ожидает? Знаю одно: затеянное путешествие стоит ему довольно больших издержек».

«Отсутствие и Леона, и Александра, – продолжает дед, – порождает во мне самые черные мысли, не говоря уже о моем беспокойстве о тебе. Никакое веселое общество разогнать эти мысли не в состоянии, следовательно, и 17 сентября, день именин мама, провел грустно, несмотря на нашествие двунадесяти язык, т. е. бесчисленных соседей, под предводительством однофамильца карфагенского полководца – Вениамина Ганнибала – да кривоногого Ш. (ce crochu de ILL), который нагрянул не только со всеми своими наличными родственниками и друзьями, но и привез двух господ, совершенно незнакомых, и даже сам затруднялся назвать мне фамилию одного из них. К счастию, «кривоногого» осенила идея, не лишенная некоторой гениальности: ночевать с многочисленной дружиной не у нас, а отправиться с нею к соседнему помещику. Были и Платон Назимов с двумя сестрами, и Рокотовы, и Кирьяковы и прочая, и прочая».

Привожу затем дальнейшие извлечения из писем деда и бабки к Ольге Сергеевне из Михайловского, насколько они касаются обоих моих дядей.

«Не могу, милая Ольга, ничего сообщить, где теперь «храбрый капитан», – сообщает Сергей Львович от 1 октября. – Писал ему, по его же просьбе, в Харьков, адресуя ему теплые мои чувства «до востребования». Не получая затем никакого ответа, писал ему наудачу в Тифлис, но там ли он – Бог его знает, а вижу его во сне всякую ночь; сегодня он мне пригрезился убитым в сражении; этот ужасный сон был так жив, что, проснувшись, я долго не мог

прийти в себя. Неужели и во сне не знаю покоя? Сон – этот дар природы неоцененный – вместо того, чтобы подкреплять меня, старика, увеличивает мои скорби ужасными картинами!! Александр должен теперь быть, вероятно, в Петербурге. Из Калуги проехал он в Болдино, но долго ли там пробыл, один ли, с семейством ли, что он там делал – неизвестно. Если бы он очутился у тебя, согласно его планам, в Варшаве, ты бы мне об этом написала. Невестка нам тоже не сообщает ничего. История сына о Пугачевском бунте опубликована в газете, и прочитавшие из нее несколько отрывков отзываются об этом сочинении с большой похвалой (son histoire de la revolte de Пугачев est annoncee dans le gazette. Ceux qui en ont quelques fragments en font un grand eloge). Но это меня нимало не утешает. Что мне «Пугачевщина», когда не знаю, что случилось с автором? При разлуке сын говорил, что к концу осени присутствие его в столице необходимо для успешной продажи его труда, за чем и надо будет ему следить. По дошедшим до меня сведениям, он выехал из Москвы совершенно здоровым, но с того времени мало ли что могло случиться? Дети, дети мои! Как мне вас не достает! Леон, того гляди, опять будет рисковать жизнию; может статься, какой-нибудь подлый трус, выстрелив в моего сына из-за угла и сам испугавшись огня своего ружья проклятого, пресечет нить жизни Леона! Боже сохрани! (Peut etre, sans savoir ni d'ou ni comment, une balle egaree, tiree en tapinois par un miserable poltron, qui s'en-fuira lui-meme, epouvante du feu de son maudit fusil, tranchera la vie de Leon, qui merite d'en jouir de longnes annees. Que le bon Dieu le conserve!) А Леон как будто бы сам на это напрашивается, беспокойный человек! Мало, что ли, он встречал позорище смерти в Персии, Турции, Польше? Не понимаю, чем скоротечная жизнь ему опротивела? и собой не дурен, и не глуп, а обладает таким, кроме того, золотым сердцем, что надо быть дьяволом, чтобы не полюбить его всякому и всякой (il possede un coeur d'or, et il faudrait etre le diable en personne pour ne pas l'aimer. II est fait pour etre aime, par chacun et par chacune). Мужество же свое и рыцарскую доблесть на поле чести доказал как дважды два четыре (quant a sa vaillance et a sa bravoure chevaleresque au champ d'honneur – il les a prouvees comme deux et deux font quatre). Мог бы устроить себя как нельзя лучше, а там и найти отклик своему рыцарскому сердцу, найти подобное же сердце, способное оценить его, хотя и говорит сущий вздор, что ни одна женщина его не полюбит. Что касается тебя, милая Ольга, – благодарю Бога за твое здоровье, и можешь себе представить, с каким нетерпением ожидаю торжественных твоих слов: «я мать».

Если Бог даст тебе сына – назови Леоном. Хочу, чтоб он пошел в моего Леона по своей душе. Если же будет дочь – назови Надеждой, именем той, которая дала тебе жизнь, а мне счастия настолько, насколько оно осуществимо на земле… Препоручаю тебя Божию промыслу, уповая, что на мою долю выпадет счастие в следующем году, если не в этом, – прижать к моему сердцу и тебя, и твоего ребенка – Леона или Надежду и эта мужественная надежда, к несчастию, я из каламбуров не выхожу (encore un calembourg: malheureu-sement je ne sors jamais de la), меня подкрепляет и дает силу переносить разлуку с тобою! Быть может, как выразился твой посланный Абас-ага, «мрак грустной ночи уступит свету радостного утра»…»

«Александр, наконец, слава Богу, откликнулся, – пишет Надежда Осиповна от 22 октября, – а вернее сказать, откликнулся не он, но добрые люди, известившие нас, что он в Петербурге. Стыдно, очень стыдно не писать нам! Четыре месяца мы в Михайловском, а от него получили только четыре строчки, значит по строчке в месяц! И теперь не знаем ничего, что он испытал с того времени, как Леон, пропадающий ныне тоже без вести, столкнулся с ним на полчаса в Москве, как Агасфер с Иродиадой. Бог знает, что он делал в Болдине, а что не был в Варшаве – это верно, иначе ты бы первая нам написала.

Наташа тоже не видит никакой надобности (Наташа поп plus ne juge pas a propos) с нами переписываться с апреля. Леон, по всей вероятности, в Тифлисе… По слухам, в Петербурге предполагаются большие празднества, балы, спектакли, куда Александр и будет ездить против своей воли (a son corps defendant). Говорят, будто бы Александр поправился и будто бы могу быть на его счет совершенно спокойной. Не знаю, останавливался ли он на возвратном пути в Москве или нет; тетка его (Сонцова) Александра не видала, а если бы проезжал через Москву, то непременно посетил бы ее; между тем невестка (ma belle-soeur Сонцов) ничего не говорит, попался ли ей на глаза Александр, а рассказывает все, что у них в Москве делается, и, между прочим (entre autre), следующее приключение, которое передаст тебе папа. Уступаю ему перо».

«Приключение вот какое, – продолжает Сергей Львович. – Вдова Л – ва (La veuve Л – в Alexandrine) подверглась на большой Рязанской дороге нападению двенадцати вооруженных людей (armes de pied en cap.). Предводитель дружины князь В – ский заставлял Л – ву под дулом пистолета следовать за собою в церковь, где и обвенчаться. Влюблен в нее уже очень давно и, начитавшись романов, решился на подобный подвиг после того, как она ему отказала. Как бы ни было, госпожа Л – ва была

освобождена, в силу своего плача и отчаянных криков. Уверяют, что она писала об этом его величеству.

Молю Бога о твоем благополучном разрешении; очень буду любить моего внука, так как говоришь, что будешь иметь сына: и я верю чувству твоего второго зрения. [180]

(Je prie Dieu pour ton heureuse delivrance. J'aimerai beaucoup mon petit-fls, car tu dis que cela un fls, et j'en crois a ta seconde vue.)

Что тебе сказать еще? Читаю воспоминания о Байроне Моора, и надо сознаться, что этот великий гений не лишен мелочности характера: иногда вел себя завзятым пьяницей, и я, чтобы с ним помириться, перечитал его. Люблю его как поэта, но как человека – нет. Впрочем, я не так образован, чтобы оценить строго его по достоинству… Прочел я, кроме того, воспоминания капитана английского корабля Галля. Они интересны, несмотря на остроту Александра, который мне их подарил перед отъездом. Он предупредил меня, что сцены, описываемые автором на воде, исполнены большой сухости, что и справедливо».

«Леон был в Харькове, – сообщает Сергей Львович от 26 октября, – рассчитывал провести там дней пятнадцать, а потом объездить весь Крым вдоль и поперек, но говорят, что это намерение отменяет… Не подозревает, в какой степени меня огорчают все его напрасные путешествия. Александр, опять запою ту же песню, «ни слова, ни слова» (pas un mot, pas un mot). Завишу же я от него до известной степени, а он оставляет меня более двух месяцев в совершенной неизвестности насчет моей судьбы».

В главе II «Хроники» мною уже приведено письмо моей бабки к Николаю Ивановичу от 7 ноября, по случаю моего появления на свет Божий, – письмо, которым она и открыла с моим отцом дипломатические сношения. Привожу теперь письмо моего деда от того же числа:

«Дорогой Николай Иванович! Вчера, к большому нашему удовольствию, мы получили ваше письмо, извещающее нас о благополучном разрешении Олиньки от бремени. Да ниспошлет Небо на вашего новорожденного все свои благословения! Смотрю на него – маленького Леона – дайте ему это имя – как на ангела мира и надеюсь, что он будет утешением вашей старости. Буду, само собою разумеется, его крестным отцом. Если же сам не приду к вам, выберите друга – моего представителя. [181]

…Вчера мы получили, слава Богу, письмо от Александра: он приехал из Болдина и занимает квартиру, где жили Вяземские, у Гагаринской пристани, на набережной, в доме Баташева. Сей же час ему ответил и сообщил великую радость о рождении твоего маленького. Пишу и Леону наудачу в Тифлис. Оба они, любя тебя, его полюбят, в особенности Александр, так как сам отец; но

надеюсь – опять шучу в припадке радости, – что и «храбрый капитан» не замедлит превратиться, рано или поздно, в такового».

«Радости моей описывать нет нужды, – прибавляет по-русски к письму деда гостивший тогда в Михайловском у стариков Пушкиных двоюродный брат бабки – Вениамин Петрович Ганнибал [182] . – Расцелуй от сердца и души, по-африкански, по-ганнибальски, отпрыск новый Ганнибалов, твоего Льва, а теперь львенка. И я прошу: дай ему это великолепное имя, чтобы он здоровьем был крепок, как великолепный, доблестный твой брат Лев Сергеевич или как настоящий лев – царь зверей, что и того лучше. Никогда мы до этого радостного дня не переписывались, но будь уверена – даю слово Ганнибала, – что родственные мои чувства всегда останутся такими же, как и были. Посылаю завтра крестик для твоего ребенка [183] . Напиши и мне, а писать твоему дяде, ей-Богу, следует. Стыдно, стыдно не писать, честное ганнибальское слово… пожалуйста, напиши, да поскорее: похож ли он на Ганнибалов, т. е. черномазый ли Львенок-арапчонок, или белобрысый? А главное, приищи ему кормилицу здоровую, пригожую, и об этом напиши любящему тебя и на этом, и на том свете дяде Вениамину».

Сергей Львович и Надежда Осиповна пригласили соседей отпраздновать «событие». Вся «Ганнибальщина», с Семеном Исааковичем и Вениамином Петровичем во главе, хозяева Тригорского и прочие обитатели «весей окрестных» не заставили себя ждать. Семейное торжество в их присутствии началось молебном, затем последовал обед и танцы запросто, под звуки доморощенного оркестра дворовых Вениамина Петровича, фейерверк, ужин и опять танцы до рассвета. На другой день вся компания, обрадовавшись случаю повеселиться, ускакала к Семену Исааковичу Ганнибалу; и он задал пир.

Описание этих двух праздников изложено в письме Сергея Львовича от 12 ноября с довольно забавной характеристикой действовавших на обедах и танцах особ. Приводить это описание, которого я был бессознательной причиной, не нахожу надобности. Привожу другие места из переписки деда и бабки.

«Александр приехал в Петербург, как тебе уже известно из нашего письма, – сообщает Сергей Львович от 14 ноября. – Сегодня мы получили от него, сверх ожидания, второе письмо. Разделяет нашу радость, поручает тебе благословить ребенка. По письму очень весел и подшучивает, сообщая, будто бы видал во сне, что маленький Леон черен, как Абрам Петрович. Жена Александра опять брюхата. Ее сестры живут с нею и нанимают прекрасную квартиру с Александром пополам. Сын уверяет, что

хотя это ему и удобно в отношении расходов, но немного его стесняет, так как не любит изменять своих привычек. Он очень их хвалит. Все хорошо, и я совершенно уверен, что мой сын в лице свояченицы, добрых и милых, приобретет друзей, но как бы они добры и милы ни были, все же между ним и женой оказывается и третье, и четвертое лицо, тогда как, по моему мнению, присутствие между супругами родителей, братьев и сестер неудобно: супруги будут стесняться в разговорах, следовательно, в душе каждого из них появятся секреты, а секретов между ними быть не должно. В случае же недоразумений вопросы будут разрешаться не с глазу на глаз, а при третьем, четвертом, может статься, и пятом лице, и разрешаться в пользу того из супругов, кто к ним по родству ближе. А ну как появятся у этих третьих лиц женихи или невесты? Тогда обстоятельства еще более усложнятся. Короче, в переселении свояченицы к Александру не вижу достаточных поводов (bref, je n'v vois pas de raisons sufsantes). Он как нельзя больше занят (il est on ne peut plus occuppe), а потому не адресуй на его имя твое следующее к нам письмо в Петербург: забелынит между бумагами, а там позабудет и не отдаст, а пиши так: Сергею Львовичу Пушкину: в Петербург. Оставить на почте до востребования».

«…Quand on parle du soleil – on en voit les rayons (когда говоришь о солнце, видишь лучи), – прибавляет Сергей Львович. – Сейчас мне сказали, что на почте нас ожидает еще письмо Александра. Горю нетерпением узнать, что с ним случилось, а, вероятно, случилось что-нибудь, иначе он бы, по своему обыкновению, молчал. Выезжаем, во всяком случае, не позже двадцатого».

«Удивишься немало, – сообщает бабка от 8 декабря, – когда получишь это письмо не из Петербурга, куда предполагали выехать, а из Михайловского; Александр не успел еще приискать для нас квартиры, но уверяет, что только об этом и думает. Будем ждать, что напишет; останавливаться же в гостинице нет расчета. Леон ему пишет из Харькова – от 2 ноября, – что его в Харькове удержали какие-то важные дела, а так как теперь будто бы путешествовать по горам невозможно, то выжидает зимы уехать в Тифлис и забыть там тяжелые впечатления, полученные им в Петербурге, куда, если бы там-де мы не жили, не поставил бы и ноги (что не мешало ему, однако, веселиться в Петербурге с утра до вечера).

А в Грузии, что он будет делать, не имея места? Я просила Александра написать в пользу Леона кавказскому начальству и облегчить своему брату дорогу в ряды Кавказской армии».

Дед и бабка возвратились в Петербург 15 декабря.

«Приехали сюда благополучно, – сообщает бабка от 17 декабря, – третьего дня, в субботу, и остановились на несколько дней в гостинице Демута; квартира, нанятая для нас Александром, еще не устроена. В дороге у папá спазмы возобновились до такой степени, что мы принуждены были пробыть в Пскове более суток. Я тоже схватила лихорадку. Папа, тотчас после приезда, послал за Александром; сына не оказалось дома, и увидели его только вчера. Не описываю нашего свидания… обоюдная радость помешала нам говорить толком. Папа бросился Александру на шею, разрыдался и ничего кроме: la volonte du Ciel soit faite [184] , – не выдумал сказать. Александр, по-видимому (a ce qu'il parait), тоже был взволнован, но первое слово его было о тебе и о твоем ребенке. Ехать к тебе в Варшаву не мог, так как в Болдине пробыл больше, чем располагал. Разумеется, он себя оправдывал (il a proteste de son innocence) в редких к нам письмах. Говорит, надеется поправить дела, рассчитывая на продажу «Пугачева» (И dit qu'il espere de mettre ses afaires en ordre, des qu'il vendra son Пугачев); уверял также, что его последний роман в прозе, во вкусе фантазера Гофмана, произвел большой эффект. [185]

Наташа сильно простудилась, и ее лечит Спасский».

«Сейчас возвратились от Александра, – сообщает дед от 22 декабря. – Он поручил мне сказать тебе, что на днях вышлет тебе свой портрет, а маленькому Леону затрудняется что послать и спрашивает, кто меня заменил в качестве крестного отца? Желает, чтобы его крестной матерью была твоя милая подруга Варвара Петровна Лахтина, которая так тебя любит [186] . Говорит, что попросит Наташу сшить твоему маленькому одеяльце и чепчик, которые и перешлет. [187]

Видел обеих сестер Наташи; из них одна пожалована 6-го числа фрейлиной. Обе любезны и предупредительны, но далеко уступают Наташе в красоте. Маленькая Маша очень довольна была меня видеть и бросилась мне на шею, к большому удивлению присутствовавших; но с мама она крайне нелюбезна. Маша так привыкла видеть щеголих, что раскричалась при виде мама, а когда Александр ее спросил, зачем она не хотела поцеловать бабушку, – девочка отвечала: «У бабушки дурной чепчик и дурное платье».

Сочинение Александра о Пугачевском бунте появилось. Замечательно по стилистике и очень интересно. Однако до сих пор журналы вовсе его не разбирают и даже о нем и не упоминают».

«Вообрази наше удивление и радость, – пишет на другой день после этого письма Надежда Осиповна. – Леон, конечно, не твой

маленький, Леон большой, вчера приехал, сверх всякого чаяния, но не из Тифлиса, а из Харькова. До Тифлиса он и не доехал, и сказал, что выждет весны. Разумеется, я очень ему обрадовалась, но жалею, что деньги плачут; стоило тратиться на дорогу! Все равно, что вышвырнуть деньги из окошка, а тут опять пойдут расходы на посещения балов и маскарадов. Долги Леона нас иссушили (nous ont mis tout a fait a sec), и если Александр вам до сих пор еще ничего не прислал, – а выслать непременно хотел после рождения у тебя сына, – то это случилось не по вине его, да и не по нашей: заложив наше последнее имение, Александр заплатил часть долгов брата, а они дошли до восемнадцати тысяч (Alexandre a paye ce que son frere devait, et cela montait a 18 milles). Таким образом, Александр мог отпустить Леону на дорогу в Тифлис очень мало и ожидает денег из Болдина; вероятно, сделает для вас, что может, принимая наше положение близко к сердцу».

«Не скрою от тебя, – пишет Сергей Львович, – что меня очень огорчает непоследовательность Леона; он взошел в долги, которые никогда не был бы в состоянии уплатить немедленно, и по милости которых я принужден был заложить последних крестьян (grace auxquelles j'ai, ete oblige d'engager les derniers paysans, que j'avais de libres). Продолжал он и после того бесполезные расходы. Подобные действия поставили Александра в невозможность давать нам необходимое. Но довольно; что сделано – то сделано; скажу только, что меня всего больше огорчает разочарование: я был уверен, что Александр тебе прислал кое-что, вовсе не зная о значительном долге Леона».

Переписка стариков с дочерью за 1834 год заключается письмами от 26, 28 и 30 декабря. Привожу из них выдержки:

«…Не знаю, почему, добрейший мой Николай Иванович, – пишет бабка моему отцу (после моего появления на свет она перестала его игнорировать), – и Олинька, вы себе вообразили, будто бы требую во что бы то ни стало вашего приезда. Правда, я говорила, что разлука мне тяжела, и что завидую участи матерей, которые с дочерьми неразлучны. Но было бы с моей стороны безумием требовать свидания, зная наши обстоятельства… Александр очень просит сообщать ему почаще о маленьком Леоне и желает, чтобы он был похож на «храброго капитана», за исключением его долгов (ses dettes exceptees); беспокоится, получила ли ты одеяльце и чепчик; очень благодарит тебя за посылку ему пряди белокурых волосиков ребенка и сказал: «Вот блистательное опровержение моего сна, а я видел Леона во сне черным, подобно его прапрадеду». «Отсюда вижу беспокойство сестры о глазах Леончика, – сказал Александр, – но уверен, что

коситься не будет после всех мер, которые она приняла; с маленькими это часто случается; зрение их еще слабо, а потому и взгляд не может быть, как у взрослых». Александр советует тебе, когда кормят ребенка, закрывать ему чем-нибудь глаза. Впрочем, я сама всегда точно так же поступала со всеми моими детьми, и покойная Ирина [188] Родионовна называла вас поэтому «занавесные Пушкинята»! Говоря о твоем ребенке, Александр, Бог знает почему, расплакался. Расстроены у него нервы, и все тут, а всего вероятнее, нервы раздражены какими-нибудь новыми пакостями, которые от нас скрывает. Не говорил Александр и Леону ровно ничего, а я не хочу вызывать его на откровенности помимо его воли…

Зато Леон… – все ему с гуся вода – весел, как жаворонок. Сейчас отправился от нас на вечер к такому же весельчаку, как и он, но весельчаку степенному, долгов не делающему и вина в рот не берущему, а в балладах плачущему – Жуковскому. А у нас Леон вчера обедал и просидел до десяти часов вечера и так меня смешил, что забыла мою болезнь и не заметила, как время прошло.

…По-прежнему Леон восхищен княжной Марией Вяземской; похожа на своего отца и очень дружна с Наташей, которая участвовала во всех вечерах. По случаю праздников Рождества собраний было очень много; Александр сопровождал ее и обеих сестер; был с нею и у Фикельмон, которую, впрочем, терпеть не может. «Храбрый капитан» тоже там очутился, не зная хозяйки вовсе; Александр его представил.

…Описывать блистательные собрания не могу; знаю о них единственно понаслышке. Скажу только, что вчера Александр с женою и двумя свояченицами присутствовал во дворце. Там были живые картины, а действовавшими лицами – дети всякого возраста. Великие княгини, исключая Марии Николаевны, участвовали тоже с дочерьми великого князя Михаила, а также и Константин Николаевич, что было сюрпризом, который сделала императрица великой княгине Елене Павловне. Полагаю, прочтешь об этом в газетах. Александр от всех этих балов опять устал. «Капитан» может «по своей воле» посещать свет или вовсе не знать его: он совершенно свободен, но Александр связан, а Наташа любит свет. Как бы не разочаровалась! Сержусь на Александра и Наташу: они тебе преувеличили мою болезнь. Присылай из Варшавы твоего доктора Порай-Кошеца, как мне обещалась. Пишешь, что этот «Кошец» завернет в Петербург, заедет к нам и сообщит тебе откровенно, как он меня нашел. Вот и прекрасно. Насчет же сказанной Черевиным остроты о нем: «Это не пара кошек, а один п – л я», ты меня и Александра очень

рассмешила. Как бы ни было, Кошец лечил тебя успешно, знает свое дело не хуже Спасского, который меня пользует, а потому и не боюсь его шпионства (et voila pourquoi je ne crains pas son espionnage). Кошеца ждут и Александр и Леон; оба желают его видеть и услышать от него известия о тебе и Леончике, которого благословляем от всей души».

«Тебе обязана хорошему началу нового 1835 года, – сообщает бабка от 4 января. – Накануне его мы получили твое письмо, адресованное «до востребования», а в самый новый год – и два другие, которые принес мне Александр на нашу новую квартиру (на Моховой в доме Кленберга). В новый год я только видела его и Леона и нигде не была, даже и в церкви, что со мной случается первый раз. Чувствовала себя слабой, но не беспокойся; завтра начну, по совету Спасского, подкрепляющие ванны и скоро выйду на чистый воздух – источник всякой жизни. Я еще не так стара и, Бог даст, не последний новый год встречаю. Умирать же страшно. Никогда не соглашусь с твоим взглядом и взглядом твоего брата на смерть – но со взглядом шута Соболевского. Всякий раз когда Александр заводит с ним речь о смерти, Соболевский перебивает его словами: «Когда перестанешь твердить мне об этой гадости?» И я перестану говорить тебе об этой гадости, особенно в первом письме после нового года…»

Затем бабка, желая в письме казаться веселой, описывает в забавном тоне своих знакомых, извещает, что дядя Лев опять едет в Тифлис, но на этот раз поедет не шутя, и в конце письма упоминает о нездоровье Натальи Николаевны.

Взгляд же Александра Сергеевича на болезнь бабки, – а он считал ее недуг, болезнь печени, чрезвычайно важным, – оказался вернее. Как он и предвидел, Надежда Осиповна прожила немного более года. Положение своей матери Пушкин нимало не преувеличил, что и доказывается письмом ее же от 5 марта.

«Теперь, – пишет она, – я на пути к выздоровлению, а потому могу тебе сообщить, что моя болезнь была далеко не из легких. Перед папá я долго скрывалась, но высказала все Александру. По настоянию твоего брата, а он очень перепугался, я, кроме Спасского, пригласила и Рауха; оба, в присутствии Александра, совещались несколько раз. Улучшением обязана я единственно Рауху, а Спасскому, который сам обрадовался мысли Александра лечить меня при помощи первого, я так же мало верю, как и ты. И Раух и Спасский говорят, что за мое совершенное выздоровление ручаются. Зло будто бы происходило в пораженной печени; причиной же болезни – нравственные долговременные волнения. Не представишь себе, как я похудела и постарела. Вообрази, что с 15 декабря я только два или три раза выезжала из дому. Сначала

чувствовала отвращение от пищи какой бы ни было, теперь могу только есть габерсуп. Запах мяса, рыбы для меня невыносим; чая, который так любила, терпеть не могу. Работать не в силах, а досадно, так как не могу кончить кофточку для Лели, следовательно, и послать ее тебе; начала ее шить еще в деревне… Сделалась, против обыкновения, совершенно праздной – днем только читаю немного».

«Милая Оля, – пишет Сергей Львович от того же числа, – уведомляю тебя, что Раух и Спасский совершенно меня успокоили. Мама на пути к выздоровлению, но, сознаюсь, перенес я очень тяжкие минуты. Александр, кроме этих двух докторов, непременно хочет видеть твоего Порай-Кошеца, ожидая его приезда из Варшавы, как ты писала. Я мнителен, Александр же еще больше. Он, слава Богу, здоров и приходит к нам всякое утро. Опять у него какие-то неприятности: затрудняются допустить его читать бумаги в архиве Сената по Пугачевскому делу, несмотря на разрешение; а этих бумаг на дом не дают. Привел ко мне вчера свою «Машку»; она прелестна, а «Сашка» делает зубы и так часто болен, что выводить его не решаются. Наташа тоже нездорова и не выходит.

Все это время Александр очень был несловоохотлив, так что ничего не мог от него добиться насчет Леона, а сказал только, что он получил от брата письмо из Харькова от 1 февраля, накануне отъезда «капитана» в Тифлис; но в чем заключалось письмо, Александр не счел нужным сообщить. Крепко подозреваю, что «капитан» опять у брата денег просит. Александр распространялся только о твоей подруге Бартеневой; она очень обрадована вниманием императрицы к ее старшей дочери, которая поет не хуже Зонтаг. Услышав о таланте дочери и о бедственном положении ее матери, государыня пристроила ее ко двору; Полине такое счастие и не снилось. Она среди царского семейства, и производит голосом большой эффект (elle passe son temps avec la famille imperiale, et fait fureur grace a sa voix charmante). Говорит еще Александр, что на днях встретил Вигеля [189] , который смеялся так зло над семейством Н – в, впрочем, и без того довольно смешным, что не уступал и Соболевскому – своему врагу заклятому (son en-nemi jure)».

«Наконец доктора мне объявили, – сообщает бабка от 1 апреля, – что опасаться нечего, и советуют мне одно лишь душевное спокойствие. Но где же оно? Беспокоюсь я и о неприятностях, которым Александр подвергается на каждом шагу, и о тебе, в особенности о твоем ребенке. Освободился ли он от этого мерзкого кашля? Но Бог не без милости, и надеюсь, что твой доктор преувеличил; и в самом деле, какая может быть

сухотка (marasme) у шестимесячного дитяти? Молю Бога удостоиться мне на Страстной неделе причаститься в церкви. К счастию, домовая церковь в доме Апраксина от нас недалеко».

«Вчера мы получили письмо от Леона из Тифлиса, – сообщает Надежда Осиповна на другой день. – Он здоров и очень много расспрашивает о тебе и о новом своем племяннике. Просит нас хлопотать в свою пользу у барона Розена, и сегодня папа уже наводил по этому делу справки. Розен не знает, когда он вернется в Тифлис; начальник же штаба Вальховский, без разрешения свыше, не может ничего сам от себя сделать. Леон оставил все свои бумаги в Министерстве внутренних дел, а как их оттуда достать – Бог знает. Обнимаю ребенка. Бог да благословит его…»

«Слава Богу, я счастлива, – сообщает бабка от 6 апреля. – Приобщилась в церкви Св. Тайн, а потому радостно пишу вам, друзья мои, «Христос воскрес!» Признаюсь, я не рассчитывала прожить до Пасхи – дело прошлое. Чувствую себя всякий день лучше и лучше, и возвращена к жизни, после того как была на два пальца от смерти (me voila ren-due a la vie, ayant ete a deux doigts de la mort); от болезни остался лишь один упорный кашель, некоторая слабость, отсутствие аппетита и слабость зрения. Порай-Кошец еще не являлся, а Раух и Спасский твердят мне лишь одно: не храбритесь; приказывают мне ни о чем не думать и предаваться розовым мечтам, как особа, купающаяся в счастии (lis m'ordonnent de ne penser a rien, d'avoir des idees couleurs de rose, comme une personne, qui nage dans le bonheur.)

…Жду твоего Кошеца, как жиды Мессию! Стук экипажей причиняет мне спазмы, не могу выносить громких звонков, плачу, когда роняют ложки и вилки на пол. Все это нервы… без сомнения, пройдет, а Кошец, как пишешь, исцеляет успешно нервных. Страдаю бессонницей и лишена утешения видеть твоего Лелю даже во сне… Наяву же не вижу, кроме Александра, теперь никого, так как присутствие посторонних меня утомляет. Наташа заходит редко: она здорова, почти всякий день в театре, много гуляет, а в конце мая разрешится от бремени. Обе ее сестры тоже, как сказал Александр, веселятся. Твой брат с женой и с ними занимает прекрасную квартиру на большой набережной за 6700 рублей. Он сообщил мне сейчас очень прискорбное известие: бедный князь Вяземский лишился восемнадцатилетней дочери Полины. Скончалась в Италии; все семейство в отчаянии, и возвращаются сюда. Наталья и Ольга Соловые замужем, и одна из них за Александром Ланским [190] , о чем тоже сын мне сообщил.

Устала… В следующий раз напишу побольше. Обнимаю тебя, благословляю Лелю, а Николаю Ивановичу передай мои теплые

чувства».

Дальнейшие события в семействе Пушкиных за 1835, 1836 и 1837 годы войдут в следующие, последние главы хроники.

Глава XXXVI

«Александр вчера уехал в Тригорское, – сообщает Надежда Осиповна моей матери от 7 мая 1835 года, – и должен возвратиться прежде десяти дней, чтобы поспеть к родам Наташи. Ты подумаешь, быть может, что он отправился по делу – совсем нет; а единственно ради удовольствия путешествовать, да еще в дурную погоду! Мы очень были удивлены, когда Александр пришел с нами проститься накануне отъезда, и его жена очень опечалена; надо сознаться, что твои братья оригиналы, которые никогда не перестанут быть таковыми. (Sa femme est toute triste; il faut avouer, que tes freres sont des originaux, qui ne se desoriginaliseront jamais.) Леон ожидает в Тифлисе Розена с большим нетерпением. Тифлисом он очарован, восхищаясь прелестной природой, прелестным климатом, и в очень веселом письме подшучивает над своими летами: говорит, что в тридцать лет он расстался с романическими мечтами, уверяя, будто бы у него более половины волос поседело, что и придает ему вид будто бы совершенно шутовской».

«Наконец дождались Порай-Кошеца, – пишет Сергей Львович десять дней спустя, 17 мая. – Он у нас был, передал твое письмо, и мы очень были обрадованы, как можешь себе представить, посещению твоего посланного, а ждали его, повторяю, как жиды Мессию. Приехал Кошец 12-го числа, в прошлое воскресенье. Я просил его считать наш дом своим (je l'ai prie de regarder notre maison comme la sienne). На это Кошец отвечал усердными, едва ли не китайскими поклонами. Дай Бог, чтобы он содействовал совершенному выздоровлению мама; непременно к нему зайду, а остановился Кошец у своего отца, который и служит, и живет в Почтовом департаменте… Но письмо я начал о Кошеце под влиянием радости и надежды, что он возвратит здоровье моей Надежде, извини опять за каламбур. По-настоящему, я должен был начать письмо с другой новости: 14-го числа, т. е. в прошлый вторник, в семь или в восемь часов вечера, Наташа разрешилась от бремени мальчиком, которого они назвали Григорием, – право не знаю, с какой стати. Александр, совершив десятидневную поездку в Тригорское, пробыл в отлучке, считая время туда и обратно, три дня и возвратился в среду, в восемь часов утра, на другой день разрешения Наташи. Александр сообщил нам печальные известия о Михайловском: крестьяне грабят и делают ужасы (les gens pillent et font des horreurs). Тебе известно, как я ухаживал за садом; смею сказать, украсил его и придал изящный вид всему, что окружало господский дом; кроме того,

распорядился в прошлом году выстроить заново флигеля (les dependances), теперь же все, по словам Александра, пошло к черту. Беспорядок такой, какой и вообразить себе нельзя; этот беспорядок, огорчая нас донельзя, не приглашает нас, сказать нечего, ехать туда летом. Не знаю, что с нами будет, лишь бы Бог оказал нам милосердие выбраться летом из Петербурга».

«…В конце концов, вот и ожидавшийся с таким нетерпением Кошец, – продолжает приводимое письмо деда Надежда Осиповна, – (a la fn des fns voila ce Кошец, si longtemps attendu). Я так ему обрадовалась, что, право, не знаю, почему его не расцеловала; он все время говорил о вас; расположение к тебе доктора делает его в моих глазах очень интересным. Кошец встретил Александра на боровичской станции, когда он, т. е. не Кошец, а мой сын, отправлялся в Тригорское; твой брат был, по словам Кошеца, очень озабочен, рассеян, и я почти уверена, что мой «старший» не расслышал ничего, о чем ему толковал доктор, потому что вчера, когда ему сообщала о Кошеце, Александр удивился и стал раскаиваться в оказанном холодном приеме доктору, которого сам же ожидал с нетерпением и как искусного врача, а главное, как твоего хорошего знакомого. Думаю также, что Александр не пустился с ним на станции в беседу, принимая его за одного из многих любопытных пассажиров, добивающихся его знакомства.

…Александр уверяет, что в Петербурге жить ему невозможно, и желает отправиться в деревню на несколько лет. Но не думаю, чтобы Наташа на это согласилась. Она родила накануне его приезда, и радость свидания с мужем ее так расстроила, что проболела весь день. Посетить мне ее невозможно: погода прескверная, и, вообрази, не могу ездить в карете, не подвергаясь спазмам. Как желала бы видеть новорожденного Григория! Но что же делать? Надо вооружиться терпением. Желаю еще более видеть тебя с твоим ребенком, но тут и всякое терпенье исчезнет; это меня опечаливает, и, признаюсь, когда думаю о лишениях, какие испытываю, – горько плачу; сделалась такой нервной, что сама себе удивляюсь. Думаем нанять дачу в Павловске: слишком слаба, чтобы предпринять более дальнюю поездку. Со времени болезни забываю числа месяца и дни недели, мешаю имена, что делает меня смешною в глазах света (j’embrouille tous les noms, ce qui me donne un air tout a fait ridicule dans le monde); даже не могу хорошенько припомнить, что недавно тебе писала».

«Милая Ольга, – сообщает бабка от 8 июня, – не беспокойся, если мои письма к тебе подробны и длинны. Мне писать совсем не тяжело: сижу очень удобно в креслах, держу бумагу на пюпитре, грудь не болит, не болит и бок. Просила Кошеца тебе

написать и на мой счет успокоить; ждала его и вчера, и сегодня, а третьего дня он, вместе с Александром, провожал обеих Аннет – Вульф и Керн. Обе уехали. Двор в Петергофе, Архарова в Павловске, и приказала своей дочери Васильчиковой отыскать для нас там дачу, но наше переселение туда зависит от Александра: надо, чтобы он дал нам для этого средства. Наташа слаба, недавно вышла из спальни и не может ни читать, ни писать, ни работать; между тем у нее большие планы повеселиться на петергофском празднике 1 июля – в день рождения императрицы, ездить верхом с своими сестрами на острова, нанять дачу на Черной речке, и не хочет отправиться дальше, как желал бы Александр. В конце концов, «чего женщина хочет, того хочет Бог». Она мне сказала:

– Я уверена, что вы будете любить Лелю, сына Ольги Сергеевны, больше, чем моих детей: бабушки, говорят, предпочитают детей дочери детям сыновей. – Ничего я Наташе на это не ответила. Знаю, что очень люблю детей Александра, Машу и Сашу, но к маленькому Леону, который от меня так далеко, чувствую особенную нежность (une tendresse toute particuliere). Кстати, извиняюсь перед ним за маленькое воровство, и это преступление заглажу на днях: я ему сшила одеяльце, но сообразив, что Александр послал уже твоему Леончику другое, сшитое Наташей, и чепчик, подарила мою работу маленькому Григорию, новорожденному «моего старшего». Зато шью Леончику теперь одеяльце покрасивее, побольше. Это справедливо, и такая мысль побуждает меня работать с большим удовольствием».

«Отъезд наш в деревню всецело зависит от Александра, – пишет на другой день (от 9 июня) Сергей Львович, – но он сам не знает, что и с ним будет. По крайней мере из моих с ним разговоров я не добился толку. Отпуска ему продолжительного не дадут, так по крайней мере думаю, даже и на год; останется в Петербурге, и тратить ему деньги на дачу – все равно, что жить в столице: те же посещения большого света, который переселился на те же дачи. Александр надеется на успешную продажу сочинений. Но верно ли это? Конечно, его гений будет оценен презренным металлом. Но презренный металл разве будет достаточен на удовлетворение всех потребностей (pour subvenir a tous ses besoins), сообразно его придворному и семейному положению? Ровно ничего не знаю… ума не приложу, а от Александра, повторяю, зависит и наш отъезд в Михайловское или в Павловск.

Все мои насущные заботы не мешают мне постоянно думать и говорить о тебе и о твоем Леле встречному (et de parler de toi et de

Lolo, a qui vent l'etendre). А Леля большой, т. е. храбрый капитан Лев Пушкин, веселится в Тифлисе; но умалчивает, чем кончились его хлопоты о новом определении в Кавказскую армию. По последнему письму, «мой младший» все ожидает возвращения Розена, который будто бы решит его судьбу, по-прежнему восторгается Тифлисом и Кавказом, называя этот край земным раем. Объехал Леон всю Грузию и провел пятнадцать дней в деревне у вдовы несчастного Грибоедова, да, смешно сказать, железное сердце храброго капитана не осталось чуждо поэзии: Леон наш пишет, что считает эти пятнадцать дней самыми счастливыми днями своей жизни; очарован умом и любезностью жены своего покойного друга и опять туда поедет, во ожидании Розена. Уверяет, будто бы начинает помышлять о карьере (il dit, qu'il commence a songer a sa carriere). Во всяком случае, он не замедлит опять сражаться. Драться ему наслаждение, а нам… Боже мой!.. нам дороже жизни…»

«Дача в Павловске нанята, – сообщает Сергей Львович десять дней спустя (19 июня). – Завтра переезжаем, а пиши нам так: чрез Царское Село в Павловск, в дом крестьянина Удалова, возле немецкой церкви. В Павловске пробудем несколько месяцев. Признаюсь, скорблю о Михайловском, но плетью обуха не перешибешь (mais a l'impossible nul n'est tenu). Мама будет пользоваться мариенбадскими водами, которыми запасаемся здесь в городе, и не искусственными, а натуральными. Аннет Вульф в Тригорском, а ее брат Алексей – здесь. Александр едет на три года в деревню, да не знаю, куда именно [191] . Мы надеемся, если Бог даст, поехать в Михайловское через год, чем избавить Александра от лишних хлопот по приведению в порядок «холмов и полей родных». Не можем ему предоставить Михайловское на все это время и лишать себя последнего утешения (nous ne pouvons pas le lui abandonner pour tout ce temps la. Ce n'est pas du tout notre plan que de nous priver de cette derniere consolation). Обнимаю тебя и Леончика от всего сердца; дай Боже мне его увидеть. Adesso e sempre (теперь и всегда (*um* .)) твой».

«Бога ради не имей черных мыслей обо мне, – пишет бабка 1 июля из Павловска. – По твоему письму вижу и чувствую твои опасения, но еще раз повторяю: они совершенно напрасны, что тебе может подтвердить и Кошец. Александр тоже хочет тебе обо мне писать. Если мне не веришь, поверь им, а я скажу одно: право, я здорова. С 20 июня мы в Павловске, а 22-го я стала пить воды, которые очень мне помогли; могу довольно долго гулять, и даже езда экипажей перестала действовать на нервы.

Петергофский праздник удался как нельзя лучше. Подробностей описывать не стану, а скажу, что Александр был на

празднике с Наташей; Наташа была, говорят, очаровательна, чему вполне верю; после ее последних родов красота ее в полном блеске. А знаешь, Александр едет в сентябре в деревню на три года! Это решено: отпуск получил, чему Наташа и покорилась…»

Приводя дословно письмо бабки от 3 июля, сомневаюсь, получил ли дядя Александр именно тогда этот отпуск.

«Александр уезжает, – пишет Сергей Львович от того же числа, – но куда – ничего не знаю; да и он, кажется, сам не знает; не думаю, чтобы сын меня навестил до своего отъезда; если же навестит, то появится как молния (et s'il le fera – il paraitra comme un eclair); между тем многое мы должны вместе с ним порешить прежде, нежели расстаться – быть может, на очень долгое время».

«Вчера был день твоих именин, – сообщает Надежда Осиповна от 12 июля, – провела его, милая Ольга, как провожу все прочие дни моей жизни, т. е. думала о тебе, мой ангел, думала о нашей долговременной разлуке. Мысли эти черные: сердце надрывается, и одни лишь слезы его несколько облегчают; не полагаю, однако, что слезы лекарство от желчи…

…Александр не дает нам о себе знать; знаем только понаслышке, что он с женой веселится. Были они и в Петергофе, и в Парголове у графини Бобринской, а Александре Ивановне Шевич сказали, будто бы непременно приедут к нам. Мы их ждали и к пятому, и к одиннадцатому, а теперь, кажется, ожидания видеть их так и останутся ожиданиями (et je crois que nous les attendrons sous 1'or-me). Далеко не забавно, потому что твой брат забывает, что не можем жить одним воздухом. Обнимаю тебя, прижимая Лелю к моему растерзанному сердцу».

Сергей Львович тоже сетует на сына, заключая письмо следующими строками:

«Александр нам даже не пишет, как будто мы в какой-нибудь Кохинхине. Сердце надрывается, и молчу. Да будет воля Неба!»

Глава XXXVII

В августе 1835 года Ольга Сергеевна отправилась к родителям из Варшавы, взяв и меня с собою.

«Наконец я у моих, – пишет она моему отцу от 31-го числа из Павловска. – Ласкают меня, лелеют ребенка. Живу не на той даче, которую родители хотели для меня нанять, – она оказалась не совсем удобной, – а в их же доме. У меня две комнатки, и я была бы совершенно спокойна, если бы не плохое здоровье матери: переменилась более чем я себе воображала; говорит, чувствует себя недурно, но ее слабость меня очень беспокоит. На другой день я немедленно поехала к Александру. Описывать его радость не стану. Сейчас же после первых слов спросил, где мой ребенок, и, узнав, что привезла его с собой и оставила у родителей, спросил опять, хорошо ли там за ним будут смотреть до вечера? Брат представил меня своим остальным женам – теперь у него целых три, как тебе известно; эти жены, т. е. обе его свояченицы, очень красивы, но не могут все-таки сравниться с Наташей, у которой появился свежий цвет лица: она немного и пополнела. Гостила у брата недолго, а сегодня он с женой был у нас. В нижегородской деревне они не будут, как брат предполагал, потому что Наташа и слышать об этом не хочет. Брат ограничится поездкой на несколько дней в Тригорское, а Наташа из Петербурга не тронется [192] . Он мне говорил, во-первых, о том, что получил отпуск на четыре месяца, и, кроме того, ему дали, о чем просил: тридцать тысяч рублей взаймы».

Далее Ольга Сергеевна пишет:

«Во-вторых, Александр просит тебя известить, какую доверенность полагаешь составить, чтобы ты черновую написал, а он на все согласен. Между тем тебя предупреждает, «что если ты хочешь на пашню, то труд лишний будет, а толку мало: земли на его части слишком недостаточно – то лучше их оставить на оброке», там новый управитель Пеньковский. Александр уже ему писал о нашем деле.

Александр, – продолжает моя мать, – на днях продал фермуар за 850 рублей и вчера принес мне деньги, стало быть не беспокойся о моих денежных обстоятельствах, а родители в этих-то обстоятельствах очень стеснены, почему и не хочу быть им в тягость.

Александр, во время своей беседы, держал Лелю на руках, ласкал его, но при этом, нечего сказать, брат утешать мастер: стал высказывать свое предчувствие, что, судя по печальному выражению лица ребенка и грустному его взгляду, он едва ли

будет счастлив и беспрестанно повторял: «Береги, береги его»…»

«Александр уехал на три месяца в Тригорское, – сообщает Ольга Сергеевна от 12 сентября, – это, однако, не мешает тебе прислать на его имя доверенность: брат подпишет, вот и все, что и поручил тебе сообщить. А еще было бы лучше, если бы вместо переписки ты бы сам приехал зимой, между тем как при переписке будут возникать недоразумения с моим братом, у которого никогда не хватает терпения дочитывать письма до конца. О поездке моих родителей нет и речи; я же затрагивать этого вопроса не хочу: впрочем, едва ли на поездку у них оказались бы средства, а вообрази, в прошлом году имение описывали пять раз».

Ольга Сергеевна через неделю отправилась на несколько дней по делам в Петербург, откуда, между прочим, пишет:

«У мама́ разлитие желчи; чувствует себя то лучше, то хуже. Беспокоится обо Льве, который, надев опять мундир, ушел в экспедицию против горцев, что гораздо лучше, нежели быть праздным.

…Добрейшая Дельвиг, ныне Баратынская, в деревне и очень счастлива. Теща и невестка весьма ее полюбили, но муж в постоянных отлучках, будучи вынужден посещать больных, что мне говорил Александр. Очень жаль, что мне не удастся ее видеть. Кстати, о новостях: государь запретил графине С – й въезд в Москву и Петербург (Sa Majeste a donne la clef des champs a la comtesse S – f a condition, qu'elle ne mette pas le pied ni a Moscou ni a Petersbourg), за данный ею без позволения праздник в Славянке; она, во время праздника, распорядилась поставить мачту (un mat de cocagne) и повесить на верхушке сарафан и повойник, назначив их в награду тому, кто их снимет со столба. Вообрази, победу одержала старая 50-летняя, толстая, некрасивая баба. Муж ее, усмотрев в гимнастике своей супруги крайне неприличную выходку, отколотил победительницу, а трофеи бросил в огонь, приговаривая: «Ты осрамила меня и себя на целый век! Вот тебе сарафан, а вот тебе и повойник». Героиня пожаловалась графине; та сейчас же подарила ей другой наряд, приказав не снимать эту награду за ловкость и отвагу. Говорят, господа военные, поехавшие без позволения на праздник, очутились на другой день за это на гауптвахте.

…Бедная Кюхюльбекер, расставшись с своей дочерью Глинкой, совершенно одинока. Сын ее Вильгельм в сухотке и совершенно гаснет (et s'eteint tout a fait); другая же дочь Юлия поступила в компаньонки к графине Полье, которая, наконец, выходит замуж за богатого итальянца, Бутера. Теперь новость за новостью: твой и мой друг, композитор Михаил Глинка, женился

на Ивановой, молодой девице, бедной и без образования (jeune personne sans fortune et sans education) – далеко не красивой и которая музыки терпеть не может, что не помешало, однако, Глинке посвятить ей великолепное свое произведение (un morceau de musique de toute beaute), исполнение которого вчера слышала. Играл молодой Даргомыжский. Теперь Даргомыжский гений, но так обижен природой, что кто обладает мало-мальски веселым характером, тот не будет в состоянии видеть, в особенности же слышать его, без желания рассмеяться. Даргомыжский мне и сообщил о знаменитой женитьбе своего друга».

«…Пожалуйста, не присылай мне больше твоих статей для передачи редакторам журналов, – пишет Ольга Сергеевна от 13 октября, – я еще в Павловске, и даже если бы была в Петербурге, то ни за что на свете не хочу водить знакомства с журнальной ракальей (avec toute cette racaille litteraire, ne vous en deplaise). От этой шайки я подальше. Бог только один знает, что от нее терпел бедный Александр, и предсказываю, что эта ракалья подпольными пакостями исподтишка не оставит его в покое in saecula saeculorum (во веки веков (*лат* .)), говоря по-латыни. А потому эту шайку терпеть не могу, и можешь посылать твои палинодии (vos palinodies) прямо к означенным господам…

…Я в Павловске теперь одна: мои старики поехали в Петербург выбрать квартиру; мать пробудет пока у Княжниной, а отец – у графа Толстого. Они получили письмо от Леона, которое их ужаснуло. Полагаю, Леон говорит опять о своих долгах; лучше бы молчал, не расстраивая надломленное здоровье мама. Брата Александра здесь нет, а он имеет иногда талант ее успокаивать (il a au moins ce talent quelquefois). Уехал он в Тригорское, где и пробудет, вероятно, весь ноябрь [193] . Отец переслал тебе копию письма брата; по его словам, Александр совершенно согласен предоставить тебе самые широкие полномочия (de vous donner les pleins pouvoirs), за исключением, разумеется, продажи имения, но не решается дать доверенности, не зная, в чем она должна состоять. Александр уверен, что мы в Москву не поедем, и не ошибается: мама по болезни не может тронуться, в особенности зимой, а денег оказалось в этом месяце так мало, что мама заняла у меня 150 рублей, кроме того, я для родителей покупаю на мои деньги дрова, свечи и прочее. Между тем Александр, как тебе, впрочем, уже писала, получил 30 000 рублей от его величества. Стало быть, дела его слава Богу…»

«Шестнадцатого числа я приехала из Павловска, – пишет мать от 20 октября. – У Княжниной нашла мама очень ослабевшей, в постели. У нее сидели доктора Спасский и Раух. Спасский тотчас

мне объявил, что за жизнь мама не ручается, и прибавил: «Болезнь вашей маменьки длится с 1807 года, потому что именно тогда желчь у нее разлилась в первый раз». Заявление Спасского показалось мне донельзя смешным. Раух немного утешительнее: говорит, болезнь матери хроническая, но пока опасности не представляет, хотя на радикальное исцеление рассчитывать нельзя. Доктора стали ей давать лекарства, которые сама желает, а я и Новосильцева послали Толстого переговорить с изобретателем целебных лепешек Маркеловым; граф Толстой привез их.

Ухудшению здоровья мама содействовало отчаянное письмо Леона, уверяющего, что находится в самом бедственном положении: занял будто бы деньги, чтобы опустить письмо на почту, что почти унизительно, и прочее (que pour remettre sa lettre a la poste, il a eu recours a une demarche presque humiliante, et cetera). Ни во что считает двадцать тысяч, уплаченных за него братом и стариками, а, между тем, Леон живет в Тифлисе как всякий, у кого в распоряжении десять тысяч рублей на расходы, что подтвердил жене Александра и приехавший оттуда Россет. Мама, прочитав письмо сына, подверглась ужасному лихорадочному припадку. Третьего дня переехали на новую квартиру, у Шестилавочной, на углу Графского переулка, в доме Кокушкина. Квартира незавидна, в деревянном доме, и мала, по милости множества слуг, с которыми отец не решается расстаться; из себя выходит, когда всю челядь не видит налицо: «Да где этот, да где тот, да кто его послал?» Мама не могла квартиру даже и осмотреть, а знает только свою комнату, где и я поместилась с ребенком…

…Александр возвратился вчера из Тригорского и привез нам только одни поклоны от Осиповой, которая все больна, и дочери ее Вревской. Александр, верующий в Спасского, как жиды в пришествие Мессии, повторяет все, что тот ни говорит, уверяя, будто бы мать очень плоха. Но это неправда: Александр только один это проповедует, а другие поздравляют ее с улучшением, и в самом деле: последние дни она заметно поправилась с тех пор, как стала принимать лепешки Маркелова, так что сегодня Спасский разинул рот. Приписывает улучшение не лепешкам Маркелова, а единственно крепкому телосложению больной. Можешь себе, между тем, представить положение моего отца! Его преследуют черные мысли, а к тому же денег нет. Сделался хуже женщины, и вместо того, чтобы действовать, плачет, а я право не знаю, что делать. Отдала все, что могла, и без толку, по милости домашних порядков и плутовства лакеев, в сравнении с которыми сахар медович Пронька ходячая добродетель. Получено из

деревни тысяча рублей, за квартиру уплачено 400, а остальные куда девались? Ни я, ни маленький Леля, ни мои люди родителям не стоят ни копейки, занимаю только у них комнату. За стол же и моим двум прислугам плачу я из присылаемого жалованья и из денег, вырученных Александром от продажи фермуара; данные мной старикам 150 рублей так и пропали. Отец просит у меня еще 225 рублей, так что у меня, до высылки тобой денег, ничего и не останется (je serai tout a fait a sec). Просить же возвращения уже данных мною финансов у меня недостанет духу – слишком на этот счет совестлива и деликатна…»

«…9 ноября. Жена Александра опять беременна. Александр объявил мне об этом сегодня. Вообрази, на нее, бедняжку, напали – отчего и почему мать у нее не остановилась по приезде из Павловска? А дело просто: мама не думала тогда, что еще больше захворает, рассчитывая и прежде того остаться у Княжниной до переезда на новую квартиру. На месте моей невестки и я бы не пригласила свекровь, подвергая ее неудобствам. Правда, квартира Александра большая, но в ней проживают уже две сестры да трое ребят; брата же тогда и не было, а без его разрешения Наташа не предложила бы мама к ней переселиться. Бескостные языки пошли далее: вознегодовали (on est venu a se recrier), зачем у невестки ложа в театре, зачем на туалеты тратит бешеные деньги, между тем как родители ее мужа бедствуют, словом, нашли очень остроумным ее бранить (en un mot, on a trouve tres piquant de la grander) [194] . Бранят и нас, само собою разумеется: Александр – дескать, чудовище, а я – жестокосердая дочь! (Alexandre est un monstre, et moi – une flle denaturee!) Впрочем, Александр, я и Наташа не лишены и защитников. Знаешь, что еще говорят? – будто бы ты управляешь имением, отец нас будто бы отделил, а брат Александр подарил, сверх того, мне двести душ, полученных им от отца к своей свадьбе. Дай Бог их устами мед пить. Но это никогда не будет: не говорю об Александре – было бы глупо и несправедливо с его стороны: он отец семейства, и жена ему ближе меня.

Всем, однако, сплетням отец сам виноват: он то и дело жалуется, плачет и вздыхает при встречном и поперечном (il ne fait que se plaindre, pleurer et soupirer a tout venant et a tout passant). Когда у него просят денег на дрова или сахар, бьет себя по лбу и кричит: что вы ко мне приступаете? я несчастный человек. Пустил он это восклицание и при мне, что, признаюсь, меня позабавило, так как подумала о его тысяче двухстах душах в Нижнем… Постарайся приехать сюда зимой! Ручаюсь, примут с распростертыми объятиями! Даже моя мать, по-видимому, тебя полюбила; часто говорит о тебе, спрашивая, что мне пишешь, и

всегда поручает тебе очень кланяться. Твою палинодию напечатают в «Северной пчеле», куда ее отослал Вяземский, а статья против Сенковского, по словам Вяземского и брата Веневитинова, запоздала: бумаги Брамбеуса уже так упали, что о нем больше и не говорят; это подтвердил и Александр.

Кстати: отгадай, чем занимается Анет Керн? – Переводит Жорж Занда, и не ради удовольствия, а ради денег! Просила она Александра замолвить слово в ее пользу Смирдину; но Александр всегда действует без церемонии, когда дело идет об отказе (mais Alexandre est toujours sans facons, quand il s'agit de refuser). Брат отвечал, что он Смирдина совсем не знает, но Анета не печалится, рассчитывая получить за перевод романа «Andree» ни более ни менее как пятьсот рублей».

В письме от 22 ноября Ольга Сергеевна рассказывает довольно юмористическое происшествие:

«Твое письмо, а лучше сказать, вложенный туда кредитив на имя банкира, произвело не совсем плохой эффект: надо заметить, что в тот же день мой отец должен был получить 1400 рублей, высланных управляющим, и преподнес мне с сияющим видом сто рублей – часть его долга. Затем получается и твое письмо; я его отцу читаю. «Дражайший» вытянул физиономию и вознегодовал, зачем высылаешь мне деньги чрез банкира? Приходит тогда Александр; «дражайший» отводить его в сторону, показывает письмо управляющего и, топая ногою, спрашивает: «Что это такое? что это значит? не понимаю» (qu'est ce que c'est que cela, qu'est ce que cela veut dire? je ne comprends pas). Я удалилась в другую комнату, дать отцу и брату объясняться на свободе. Однако слышала их прение. Александр говорил с большим жаром, и, когда спор кончился, пришел ко мне и сказал: «Для тебя есть девятьсот рублей, но тебе не дадут ничего, потому что мой отец, несмотря на мои доказательства, упорно утверждает, что деньги для Льва (Il y a neuf cents roubles pour vous; mais on ne vous donnera rien, car mon pёre, malgre que je le lui prouvais, s'obstine a sontenir, que c'est pour Leon); а муж твой виноват: если бы написал прежде Пеньковскому, деньги были бы у него. Мама, лежа в постели, услышав, что говорят о деле в соседней комнате, перепугалась, опасаясь сцены, а сидевшая у матери Княжнина выходит к нам на цыпочках, со словами: «Бога ради потише! С вашей мама сделается дурно». Я сей же час пошла с братом к больной; Александр, полагая ее успокоить, сказал ей, что ничего особенного не случилось, а разговор касался денег, высланных из деревни. Затем Александр взялся за шляпу и был таков. Весь день мой отец дулся; за обедом и ужином не проронил ни слова (et ne me soufa pas le mot), но после ужина последовал за мной и,

показывая мне бумажник, сказал: «Тут есть деньги и для тебя, как уверяет Александр; возьми по крайней мере часть» (И у a aussi de l'argent pour toi, a ce que dit Alexandre; prends au moins une partie). Первым моим словом было отказаться, и я отвечала: «Если вас это стесняет, ни за что на свете не приму, а попрошу только у вас, что мне должны». – «Но это меня нимало не стесняет, – отвечал отец. – Матвей Михайлович Сонцов мне прислал кое-что на днях…» Я опять просила его не беспокоиться, вследствие чего он и положил обратно бумажник в карман, а на другой день… ни слова. На третьи сутки, зарядившись храбростью и видя отца в хорошем расположении, я попросила должные мне сто двадцать пять. На это «дражайший»: «Возьми же пятьсот, прошу тебя»; После того я уже отцу не прекословила. Остальные пятьсот отец послал в Тифлис Леону, вместе с письмом довольно бесцеремонным, чтобы не сказать резким. Но храброму капитану – с гуся вода: подвергается не таким пулям. Как тебе это все кажется? Право, папа жалок, всегда нуждается. Александр уверяет, что «дражайший» опять хочет заключить заем. Со всех сторон отца обманывают, обворовывают, грабят, да еще подсмеиваются над ним. А челядь его – саранча сущая. Итак, не присылай теперь мне денег: у меня более четырехсот рублей: двухсот круглым счетом очень достаточно; если же весной поедем в деревню – и того слишком много. Не буду выезжать, помимо увещаний Александра, в свет, во избежание расходов».

«Только что возвратилась от Александра, – сообщает мать от 26 ноября, между прочим, – и провела у него целый день с моим Лелей. Брат, по-видимому, опять меня весьма полюбил (mon frere parait de no-uveau m'aimer beaucoup), а Лелю очень хвалит и ласкает. Леля большой говорун и особенно сошелся с своим двоюродным братом Сашей, но успел на него тут же дяде насплетничать: «Дядя, знаешь, Маша плачет? Сашка ее прибил!» Александр своим детям так же, как и я моему, спуску не дает – ни двухлетнему своему мальчику, ни девочке. Впрочем, нежный отец (il chatie bien son garcon, qui n'a que deux ans, et sa Macha de meme. Au reste il est tendre рёге). Знаешь ли, брат хотя человек и не деловой, но дела понимает, и дал мне много практических советов? Ругает на чем свет стоит журналистов, называя их ябедниками и жидами. Говорит, в деревне писал очень немного, но своей элегией (он мне ее прочел) остался доволен [195] . Написал и очерк «Клеопатра» [196] . Отыскалось у него до двадцати экземпляров твоего «Лирического альбома» [197] . Отдал мне пятнадцать для перемены на книги, советуя приобрести взамен, между прочим, сочинения Гоголя. Прочти ссору Ивана Ивановича с соседом – тоже Иваном. Я послушалась

и купила, но не взамен альбома, а на чистые деньги. И действительно не раскаиваюсь: хохотала до упаду. Иван Иванович и Иван Никифорович – неподражаемы. (Ces deux Иван sont impayables, et le «поцелуйтесь с своей свиньею, а если не хотите, так с чертом» – c'est tout ce qu'il y a de plus gentil.) Гораздо больше смеялась при чтении «Ивана Ивановича», чем при чтении «Героя Очаковских времен» Основьяненки, который, помнишь, меня так забавлял!..

Наташа и сестры ее, Азинька и Коко [198] , прелюбезные и предобрые. Видят во мне родную и, конечно, чтобы сделать мне приятное, ласкают моего Лелю, в особенности Коко. Мальчишка (le petiot), кажется, уже в нее и влюбился…

К сожалению, не могу часто у них бывать. Всякий день проливной дождик, а грязь непроходимая, в особенности в части города, где живем. Маме теперь гораздо лучше, и если будет продолжать лепешки Маркелова, Бог даст поправится».

«Тебе кланяется, – пишет Ольга Сергеевна от 28 ноября, – Сергей Соболевский, без которого Александр жить не может. Все тот же на словах злой насмешник, а на деле добрейший человек. Брат посвящает Соболевского в семейные дела, ничего от него не скрывает. Читая твои письма, Александр часто терял терпение, и тогда Соболевский их ему дочитывал, советуя обращать серьезное внимание на то, о чем сообщаешь. Рассмешил меня этот mylord qu'importe своей сатирической выходкой, сказал мне по-русски: «Сестра незабвенного здесь присутствующего пиита и дочь знаменитого его родителя! Не соблаговолите ли осчастливить мой карман девятьюстами сребреников, ожидаемых вами от оного родителя? Когда-нибудь, честное слово, отдам, если не на этом, то, ей-Богу, на том свете»…

…Леон продолжает писать письма из Тифлиса старикам на имя Александра, который, по моему совету, более их по принадлежности и не пересылает (иначе с мама сделалось бы Бог знает что), и не стесняется их распечатывать. По этим письмам, Леон, прежде определения своего в линейный казачий полк, задавал будущим товарищам обеды. Как тебе нравится? К тому же Александр мне рассказал, что Леон, будучи в последний раз в Петербурге, нанял первый номер в доме Энгельгардта, за который платил двести рублей в неделю, и давал завтраки графу Самойлову! Александр говорит: «Это уже из рук вон, ни на что не похоже!»

…Александр намерен ехать в Москву на два месяца, а может быть, останется и долее. Будет рыться в архивах для своей истории Петра Великого. Он очень рассеян, и не решаюсь поэтому подробно говорить ему о наших денежных делах. К тому же

слишком озабочен хозяйством, ребятишками и нарядами жены. Вчера был, по обыкновению, ненадолго, к тому ж с тремя женами и в дистракции. Все, чего от него могла добиться, ограничивается тем, что, как ты полагал, на нашу долю придется пока, за вычетом процентов в ломбард, 1600 рублей, которые управляющий должен выслать тебе во что бы ни стало, и будто бы Александр письменно приказал ему это сделать. Повтори, однако, это господину Пеньковскому. Но во всяком случае было бы еще лучше, если бы ты приехал сюда, пока Александр еще здесь, или же немедленно по его возвращении переговорить с ним лично. Полагаю, брат не уедет раньше января, а в марте будет назад. Ничего положительного об этом не говорит даже и Наташе.

…Был у нас Плетнев, был и Жуковский, были и Талызины, но мать к ним не выходила, а принимал «дражайший». Мама поправляется, но очень медленно, и перебирается с помощью палки из спальни в гостиную, посидит в кресле и опять уходит».

«…Пишу тебе в знаменитый день моего рожденья, – иронизирует Ольга Сергеевна в письме от 20 декабря. – Удивительное, нечего сказать, счастие, что лишний год сел мне на плечи! Если бы знаменитый день принес мне какое-либо особенное благополучие – можно было бы его еще отпраздновать. Александр совершенно согласен с моими мыслями, потому и не счел нужным находиться в числе поздравивших, а их было много. Бог знает каким образом все они проведали о «достославной годовщине». Показались даже такие господа, которых я до «сих пор» и в глаза не видала. Все это звонило без памяти, так что и звонок никуда больше не годится, злословило, сплетничало, ело, да закусывало, да радовалось, и, по-видимому, всякий воображал, что восторгается не моим, а собственным днем своего рождения. Боже мой, как все это смешно, и как достойно самых колких насмешек Александра. Утром мама настояла, чтобы я пошла к обедне, что я и сделала, зная, как это будет ей приятно, хотя дома помолилась бы с большим усердием, не соблазняясь на пение дьячка в скороговорку, которое более чем неблаголепно, не располагая к теплой молитве. Принимая же затем знакомых и незнакомых, в качестве «новорожденной» – в тридцать-то восемь лет я устала так, что и сказать не могу. Отец не в духе, мать тоже не в своей тарелке и, как полагаю, единственно вследствие моих слов, что день моего рожденья терпеть не могу.

…Мама чувствует себя, по-видимому, лучше. Раух и Спасский являются всякий день и говорят между собою по-латыни, что меня, однако, далеко не успокаивает.

…Мама не покидаю днем. Занимаю ее чтением Вальтер Скотта, Бальзака и Поль де Кока, чем и заставляю смеяться. Мать,

кажется, полюбила тебя не на шутку, очень желает тебя увидеть, спрашивает, привезешь ли свою гитару, прошел ли твой кашель, даже прослезилась, сказав: «Я много, много была виновата перед ним». (J'ai eu tort, bien tort a son egard.) Леля ее любимец и баловень. По вечерам выезжаю очень редко, и то, чтобы сделать удовольствие Александру. Была с ним у Вяземских, Талызиных, но не пускаюсь в большой свет… что я там забыла? Правда, ездила в собрание, но не танцевала, а была на хорах. Наташа, разумеется, танцевала, а брат нашел своего Соболевского, который тоже не танцевал, а прогуливался, задрав кверху нос, руки в карманы, и, кажется, был намерен сказать: «Смеюсь над всеми!» (il se promenait le nez au vent, les deux mains dans ses poches, et semblait dire a toute la societe: je ne me moque pas mal de vous!) – На днях посетила я Анет Керн вместе с Александром. Был там Глинка. Он ставит свою оперу «Сусанин». Кроме Глинки встретила я многих приятных собеседников и собеседниц, нравственно отдохнула, и прежняя веселость, хотя на пару часов, ко мне возвратилась. Кстати или некстати (a propos ou mal a propos). Очень хорошо делаешь, что не кажешь носа к К – м, после того, как глава этого семейства не заблагорассудил отвечать тебе визитом. Александр говорит, что он очень глуп, доказательством чего, между прочим, служит следующая выходка этого вельможного пана: вообрази, заставил французских актеров играть свой глупый водевиль, и вышел просто срам. Употребляю выражение Александра. Что касается жены этого господина, то она Александра терпеть не может. Она когда-то вздумала говорить ему о его стихах, а так как брат ей отвечал довольно сухо, то и отнеслась к нему с насмешливым тоном:

– Знаете ли, г. Пушкин, что ваш «Годунов» может показаться интересным в России?

Александр на это отвечал:

– Так же он может показаться интересным в России, как вы можете казаться красивой женщиной в доме вашей матушки. (Savez vous, monsieur Пушкин, que votre «Годунов» peut paraitre interessant en Russie? – Madame, – riposta Alexandre, – tout comme vous pouvez passer pour une jolie femme dans la maison de madame votre mere.)

Александр вообще в долгу не остается; на глупости отвечает метко и дерзко, тогда как, по моему мнению, следовало бы пожать на пошлые фразы плечами и отойти или же, на худой конец, забарабанить пальцами по столу, как будто невзначай, в ответ на подобные выходки: самое лучшее средство, и значило бы: «с пошляками не хочу тратить слов».

Александр же нервный. Принимая к сердцу то, что надо бы

пропустить мимо ушей, и не ожидая выходок, на которые всегда надо быть готовым, он тогда или растеряется, а через полчаса отомстит колкой эпиграммой, которую напечатает, или же «огреет» (il ripostera) противника на месте, да так «огреет», что тот, будучи разбит двумя-тремя словами Александра наголову (etant battu a plate couture), сделается его тайным, следовательно, самым опасным врагом [199] … К – я с тех пор равнодушно на него смотреть не может…

Александр дал мне на днях читать стихи Бенедиктова; есть вещи прекрасные, но и безвкусные довольно. Показались ли они у вас? «Ледяной дом» – новый роман Лажечникова – вовсе не хорош. Пахнет литературным похищением (cela sent son plagiat); подражание и Гюго, и Вальтер Скотту, мочи нет, что, собственно, tres mauvais gout… [200] С этим согласен и Владимир Соломирский, мой ученик по френологии и хиромантии; был у меня на днях вместе с Александром. Говорю «у меня», так как отца не было дома, а мама принять, по болезни, никак не могла. Соломирский выдержал тоже большую и еще более опасную болезнь».

«…Тебе уже известно, – пишет Ольга Сергеевна мужу от 3 января следующего 1836 года, – что сделал мой брат Леон, но что мне сейчас рассказал Александр – это уже новость: Леон проиграл тридцать тысяч рублей! (mais ce que vient de me dire Alexandre – c'est quelque chose de nouveau: Leon vient de perdre au jeu trente mille roubles!) Александр хочет купить вексель, и напрасно; ему это удалось однажды. Лев проиграл Болтину десять тысяч, а помирился эдаким манером на две тысячи. Каков же Лев? Из рук вон! Соболевский говорит: «Придется же Александру Сергеевичу кормить; кормить-то еще не беда, а поить накладно»; я же с моей стороны не вижу никакой причины платить за долги Леона и полушки.

…Хочу тебя уже давно спросить, когда же выйдет роман нашего друга полковника Франковского [201] . А пора ему и другой печатать: кстати, здесь появился новый русский роман; мне его рекомендуют, но не имею храбрости прочесть, так как, признаюсь, имею очень дурное мнение о новых произведениях наших любезных соотечественников. Конечно, само собою разумеется, не говорю о пере моего брата, Жуковского, Вяземского и Гоголя, которого «Вечера в Малороссии» [202] – прелесть. Он и поэт, и живописец. Я его видела у Александра. Показался мне крайне печальным, неразговорчивым, задумчивым, так что я в шутку спросила брата: не влюбился ли он в одну из твоих жен? Большой фаворит Плетнева. Что касается Булгарина, то и его встретила на улице. Представь, узнал, остановил и очень

много о тебе расспрашивал. Разумеется, о брате и не заикнулся. Просит тебя присылать ему для печати твои заметки о Варшаве, восхищался твоим талантом писать «положительные» статьи, бренчать на гитаре, восторгался твоим «Лирическим альбомом» – словом, что ни слово – любезность, что ни жест – утонченный комплимент. Об этой встрече я рассказала Александру, а брат отвечал: «Он хорошо с твоим мужем и с тобой, а со мной… Бог с ним!» Встретила я и Элькана. Такой же, как был; по-прежнему подражает Александру в костюме, бакенбардах, даже в походке. Этот тоже меня узнал, «грозился быть у Сергея Львовича, хотя бы для того, чтобы насладиться моей беседой». Пожалуйста, не ревнуй меня к нему. Он, правда, очень умен и любезен, но далеко не опасен».

«Очень благодарю, – сообщает Ольга Сергеевна от 18 января, – за присылку денег, но чрезвычайно недовольна твоим письмом Александру. Твое письмо взволновало лишь его желчь. Не помню, видела ли я когда-нибудь брата в таком скверном расположении духа!! Он раскричался до хрипоты, что лучше отдаст все, чем владеет, нежели опять иметь дело с Болдином, управляющим, ломбардом и пр. Сказал, что вместо того, чтобы писать ему, можешь адресоваться прямо к Пеньковскому, который и должен следить за делами, так как за это получает деньги. Александр письма твоего не читал и, распечатав, возвратил его тотчас. Впрочем, гнев Александра показался мне довольно забавным: казалось, он передразнивал отца (il avait tout l'air de, contrefaire mon përe). Из его слов (cependant j'ai pu tirer de lui) я вынесла, во-первых, что Пеньковский простофиля, которому брат уже приказал внести деньги в ломбард и затем выслать тебе по расчету что следует; во-вторых, что имение заложено за сорок тысяч, шесть процентов следует внести, а так как дохода приблизительно лишь четыре тысячи, то мы можем получить только от 1500 до 1600 рублей, и, наконец, в-третьих, что так как нам в ноябре доставлено девятьсот, а теперь столько же, то мы и получили двумястами рублями больше, чем следовало. Правда, в ноябре я получила четыреста рублей, но тем не менее деньги, высланные брату Льву, были наши. Напиши Пеньковскому, без лишних церемоний, что с его стороны довольно глупо причинять тебе хлопоты уплачивать проценты из Варшавы в московский ломбард, следовательно avec un argent rogne (из урезанных денег (*фр* .)). Сообщи ему, ради Бога, чтобы он больше не писал ни Александру, ни моему отцу, а ведался бы с тобой, согласно приказанию моего брата; если же Пеньковский считать не умеет, то может узнать каким-либо другим образом, сколько он должен уплачивать из имения Александра. Ясно ли? Просрочка же ничего

не значит. – Александр тем и заключил. Разбери сам все хорошенько, если кое-что покажется тебе неясным. Ничего более не в состоянии узнать от Александра, и, как тебе угодно, говорить с ним об этом уже не стану. Твои же письма он бросит в печку и бросит нераспечатанными. Верь мне. Брату же не до того теперь: он издает на днях журнал, который ему приносить будет не меньше шестидесяти тысяч рублей. Хорошо и завидно [203] . Кстати: Соболевский на днях выиграл процесс в сто четыре тысячи рублей, а вчера эту всю сумму получил сполна. Собирается опять съездить за границу и посетить Испанию – единственный край, в котором еще не бывал. Его стихотворение под названием «Моя поездка в Италию» презабавно. Подсмеивается он и над затеей Анеты Керн переводить Занда. Опять кстати (encore un a propos): здесь в Петербурге ожидают приезда Бальзака; уверяют, будто бы он уже в Киеве».

«…Журнал Александра, – пишет Ольга Сергеевна от 31 января, – будет вроде английского «Quarterly Review», выходя только в количестве четырех томов в год. Александр будет помещать большею частию не свои прелестные произведения, но плоды вдохновения сотрудников, а потому, право, не знаю, сделаюсь ли я усердной читательницей? Не жалую, более нежели когда-либо, нынешнюю литературу, в особенности после того, как прочла хваленый роман Лажечникова «Ледяной дом». Хвалят еще один новый роман пера фрейлины (!) Шишковой, «Скопин-Шуйский». Воображаю, какая прелесть! Что же касается стихотворений, все-таки не говорю о творениях Александра – они неподражаемы, – то все прочие наводят на меня несносную скуку; не могу решиться прочитать и двенадцати строк. Зато читаю и перечитываю все с большим наслаждением «Евгения Онегина», в котором открываю всякий раз новые красоты. Нет, никогда подобного, как говорят французы (comme disent les Fran9ais), chef d’oeuvre, у нас не появится. Говорю не как сестра Александра, а как женщина, вполне понимающая изящное и изучившая поэзию, хотя и не обладаю творческим талантом. Советую и тебе углубиться на досуге в поэму Александра и уверена, с моим мнением согласишься. Брат мне прочел и новое свое стихотворение «Полководец», в память и честь Барклая, которое напечатается в журнале брата. Александр прочел «Полководца» с таким увлечением, с таким чувством, что не могла удержаться от слез. В этой пьесе всякий стих – алмаз. Вот как надо творить! Не думай, впрочем, что ничего, кроме «Онегина» и «Годунова» не читаю. Александр снабдил меня, по моей просьбе, многими французскими и даже английскими авторами, а маму развлекаю нашим приятелем Поль-де-Коком, которого и читаю вслух. Она

смеется и забывает на пару часов свои страдания… Говорит, что наш Лель ей самый лучший доктор, и будто она никогда не встречала такого милого и хорошенького ребенка, – заблуждение и пристрастие, свойственные всем бабушкам. Напротив того: он порядочный горлан, плакса и далеко не красив, да и не в кого. Александр, когда приходит, всегда берет мальчишку к себе на колени, душит его конфектами (et le bourre de bonbons), а сегодня увез к себе на целый день играть с своими ребятишками (pour qu'il joue avec ses poupons a lui). Брат находит его печальным и беспокоится, что мальчик худ и бледен, забывая, что после пиявок иначе и быть не может».

«…Сегодня день святого Льва папы римского, – пишет Ольга Сергеевна 18 февраля, – значит именины и нашего ребенка, и его дяди храброго капитана, которого здесь нет, к большому огорчению бедной мама.

…Сегодня маленький Леон – мужчина самый счастливый на свете (le petit Lolo est aujourd'hui Гпоптте le plus heureux du monde). Александр, его жена и обе свояченицы навезли ему с три короба игрушек. Александр, пока пишу тебе, сидит у мама и останется у нас весь день, чем заставит ее забыть отсутствие другого именинника – большого Леона. Завтра Александр едет на пятнадцать дней в Москву по литературным делам, и отправляется не один, а с шурином Иваном Гончаровым.

…Не описываю подробно увеселительную мою прогулку с Александром и его женой на Масленице за городом, а также и поездку на третий день – тоже за город, на фарфоровую фабрику. Этот последний пикник устроили Политковские. Завтракали, обедали и танцевали под звуки стройного оркестра до 11 часов вечера».

«Мама очень плоха, – пишет Ольга Сергеевна 11 марта. – Статься может, в ней осталось жизни лишь на несколько дней, и, когда получишь это письмо, без сомнения, она отойдет в вечность. Доктор сказал: «На этой неделе все может кончиться (cette semaine tout peut fnir)». Голова у нее еще свежа; она улыбается Леле, но это покойница. Ничто не могло спасти ее. Осенью она уже была приговорена (elle a ete condamnee depuis ces automne), и болезнь ее была не что иное, как медленная агония (une longue agonie, une agonie prolongee). Я видела сама, что на исцеление нет надежды, но полагала, что мать может протянуть еще год, если не два. По мнению доктора Спасского, ее сломила единственно печаль. Отчаяние отца меня мучает невыразимо; не может воздержаться: рыдает при ней, что ее и пугает, и волнует. Я попыталась ему это высказать, но он закричал на меня, забывая, что и я лишаюсь матери. Право не знаю, что делать. Александр

приходит на несколько времени и уходит, как и прочие (Alexandre ne fait que des apparitions, ainsi que les autres personnes), я с отцом совершенно одна, а подруга моей матери, Тимофеева, не может находиться безотлучно, помимо всего своего желания, так как на днях неумолимая смерть похитила ее сестру, Екатерину Воронцову. Боже мой! если бы, по крайней мере, я имела счастие быть с тобою! Между тем хозяйство из рук вон: челядь поистине ужасна – сущие разбойники! Нет у них никакого усердия, никаких слез, хотя мама всегда была с прислугами ласкова; челядь поступает таким образом потому, что выжидает перемены, а всякая перемена этим людям нравится (la valetaille est terrible: se sont des brigands a la lettre! aucun zele, point de larmes, et pour-tant maman a ete toujours bonne envers eux. C'est qu'ils s'attendent a un changement – tout changement leur plait). Даю мои деньги дворнику за возлагаемые на него поручения. К большому счастию, Александр не уехал, как предполагал: распутица и дурные дороги его испугали (l'ont efraye). Увижу ли тебя, по крайней мере, к праздникам? Приезжай прямо к нам; отец не говорит о тебе ни слова, но все равно. За его будущность я спокойна (je suis tranquille sur son avenir a lui). По всей вероятности, он переселится к своей сестре Сонцовой. И мама думала переселиться в Москву немедленно после выздоровления… Право не знаю, что пишу; рука дрожит, не знаю спокойствия ни днем, ни ночью.

Всякую минуту ожидаю страшного удара. Мама говорит со мною и постоянно требует к себе маленького Лелю, беспокоится, когда его уносят, почему он и не сходит с моих рук, а я при ней безотлучно. Мама очень терпеливо переносит страдания (elle est tres patiente). Прощай… завтра жду твоего письма…»

Получив это грустное сообщение моей матери, отец немедленно явился к фельдмаршалу и испросил позволения безотлагательно отправиться в Петербург; он выехал 24 марта на Страстной неделе, но прибыл в столицу только 30-го, на Пасхе.

Между тем жизнь Надежды Осиповны догорала. Она обнаруживала сильное беспокойство о Николае Ивановиче, томительно ожидая свидания; спрашивала дочь, на которой, по расчету Ольги Сергеевны, он станции… считала бой часов, минуты, секунды, затем подзывала к себе дочь, клала ей руки на голову, требовала, чтобы ей меня подзывали, благословляла меня, ласкала и опять спрашивала дочь:

– Как думаешь? – скоро ли приедет муж… да не тут ли он? Может быть, раздевается в той комнате… приехал… поди, узнай…

В Великую пятницу или субботу, не запомнил из рассказа

матери, бабку приобщили Св. Тайн. Сын и дочь были при ней. Дядя Александр рыдал как ребенок, Сергей Львович рвал на себе волосы и подвергся ужасному истерическому припадку, так что его «унесли» в соседнюю комнату. Тут же лежал в комнате бабки и я полусонный. По требованию угасавшей, Александр Сергеевич взял меня на руки и поднес к умирающей. Она опять меня благословила, сказав: – Ольга, посмотри… не приехал ли муж?..

Часа через два бабка лишилась сознания. Вечером, в Великую субботу, началась агония, но тихая, а в половине первого часа ночи, во время Великой заутрени, когда, в храмах Божиих раздавалось радостное «Христос воскрес», не стало Надежды Осиповны Пушкиной…

Не могу не заметить: бабка выражала неоднократно желание переселиться в будущую жизнь именно во время этого богослужения…

«Я в Петербурге с понедельника Светлой недели, – сообщает Николай Иванович своей матери, Луизе Матвеевне, от 9 (21) апреля. – Приехал сюда по службе и по делам. Приезд мой ускорен был известием об отчаянной болезни матушки моей жены: она очень желала меня видеть, но я опоздал одними сутками, застав ее уже на столе. Скончалась в первый день Светлого воскресенья, в самую заутреню. Кончина ее меня очень огорчила, и печаль, в которой застал батюшку и Ольгу, долго не позволяла мне приняться за дела… Александр Сергеевич уехал в псковскую деревню, вслед за телом Надежды Осиповны, которая там будет погребена…

Живу у тестя. По окончании шести недель он отправится в Москву к своей сестре Елизавете Львовне Сонцовой, поэтому Ольге нельзя здесь оставаться без меня. Ехать с нею и сыном к вам, а потом в Варшаву, было бы и дорого, и даже опасно при здоровье ребенка. Следовательно, не остается ничего более, как воротиться с ними в Варшаву. По дороге думаю заехать в псковскую деревню и прожить там несколько времени. Может быть, оттуда проберусь к вам один, если обстоятельства, разумею денежные, позволят: фельдмаршал решит мои планы. Он был так добр, что взял меня с собою; он же может доставить мне способы к исполнению моих желаний.

Ольга очень грустна, но, слава Богу, здорова, а Левка делает зубы: большой любимец дедушки, дядюшки и тетушек, а в особенности был баловнем покойной своей бабушки…»

Прискорбное событие дядя Лев Сергеевич узнал в Тифлисе из письма к нему моей матери. За пять же дней до кончины бабки, 24 марта [204] , Александр Сергеевич извещал брата, излагая ему материальные обстоятельства, только о том, что «мать очень

больна, почему он все еще занимается делами, несмотря на сильное к ним отвращение, и что надеется сдать их при первой возможности».

Пребывание Александра Сергеевича в Михайловском и Тригорском было кратковременно. Хотя он, по словам моей матери, тоже был младенец в сельскохозяйственном управлении, но, посетив запущенную дедом Михайловскую вотчину, развел руками. В вотчине оказалось все в величайшем беспорядке, а потому он и сообразил, что горю лучше всего может пособить одна лишь энергия Николая Ивановича, который и избавит дядю от лишних забот. К тому же у дяди было множество и других неприятностей.

Первая книжка «Современника» вышла в начале апреля, следовательно, во время его отсутствия. Против статей, входивших в состав первой книжки, подробно уже упомянутых в материалах Анненкова, да и против самого издания ополчились, как выражалась Ольга Сергеевна, журнальные щелкоперы, а в «Северной пчеле» дядю прямо укоряли в занятиях, не свойственных его поэтическому гению. Он еще осенью 1835 года заявил сестре, что пускается в журналистику единственно с целию улучшить денежные обстоятельства. Балы, камер-юнкерство и прочие расходы, без которых, по его мнению, обойтись было нельзя, заставили Пушкина отдаться делу диаметрально противуположному его поэтической натуре…

Дядя Александр, предав земле тело Надежды Осиповны, погребенной рядом с прахом ее родителей, Осипом Ибрагимовичем и Марьей Алексеевной, и приготовив тогда же, по недоброму предчувствию, место и для себя, возвратился в Петербург 14 или 15 апреля. Николай же Иванович и Ольга Сергеевна оставались на квартире у Сергея Львовича.

Дед осунулся; горе его было вне всякого описания, а сестра его Елизавета Львовна и муж ее Матвей Михайлович Сонцов отправляли ему письмо за письмом с приглашением расстаться с злополучным Петербургом. Известия о делах Льва Сергеевича, тоже не особенно благоприятные, огорчали старика и сердили Александра Сергеевича. Приехав из Михайловского, этот последний сообщил сестре и зятю с малейшими подробностями все открытые им в деревне безобразия и напомнил Николаю Ивановичу его обещание заехать в Михайловское на возвратном пути в Варшаву и водворить в запущенном имении порядок.

В начале мая дядя взял кратковременный отпуск в Москву, чтобы поработать в местном архиве Министерства иностранных дел и позабыть, хоть на несколько времени, неприятности, которые на этот раз не счел нужным сообщить сестре. В этот

период времени, как она догадывалась, началась уже подпольная против ее брата интрига.

В Москву, почти в одно время с дядей, уехал и Сергей Львович, а Наталья Николаевна с сестрами поселилась на даче Каменного острова.

Ольга Сергеевна посещала невестку довольно часто, но не по вечерам, причем брала с собой и меня.

Дядя воротился 23 мая, спустя несколько часов по разрешении жены от бремени дочерью [205] , что и дало повод Ольге Сергеевне подшутить: «Всегда, Александр, на несколько часов опаздываешь! В прошлом мае прозевал Гришу, а в этом мае Наташу».

По возвращении Александра Сергеевича Николай Иванович выехал из Петербурга в Михайловское 10 июня, предварительно исходатайствовав у фельдмаршала трехмесячный отпуск. Ольга же Сергеевна выехала туда же в конце июня, прогостив последние две недели со мною у дяди.

Тут дядя высказывал ей свои мрачные предчувствия, недовольство жизнию, одолевающую его тоску, которую не могли подавить ни ласки жены и сестры, ни внимание окружавших. Не могли подавить это чувство и его усиленные занятия. Переписываться с Николаем Ивановичем, которого Александр Сергеевич называл «прозой ходячей», Пушкин считал очень скучным и писал вообще о делах a corps defendant [206] , а Льву Сергеевичу послал одно лишь короткое «деловое послание» 3 июня, по поводу предполагаемого раздела.

Ольга Сергеевна, уехав в Михайловское, рассталась с братом очень грустно. Оба рыдали и разлучились навеки. Провожал он сестру до Подгорного Пулкова, как и четыре года тому назад. Слова Пушкина при расставаньи приведены мной уже в главе II «Хроники», а здесь прибавлю только, что дядя ласкал меня всю дорогу, крестил несколько раз, а благословляя, положил руку мне на голову и повторял: «Живи, и будь с ч ас т л и в, будь счастлив…»

Мои родители провели в Михайловском целое лето…

Привожу следующие выдержки из двух русских писем отца к Луизе Матвеевне. Одно из них, от 8 июня, писано накануне отъезда из Петербурга, второе – по возвращении в Варшаву, от 15 октября.

«…Я не получил здесь ожидаемого мною денежного сикурса и с трудом нашел денег, чтобы добраться отсюда за пятьсот верст в псковскую деревню, принадлежавшую моей теще, а теперь поступающую в раздел между Ольгою и ее двумя братьями. Наследство не велико – всего 80 душ. В деревне проживем до

половины сентября, пока Александр Сергеевич успеет достать нам денег для продолжения нашего пути в Варшаву. Завтра надеюсь выехать один. Жена хочет еще побыть у брата недели с две с Левкой. Здоровье Ольги очень расстроено. С нетерпением желаю добраться до деревни. Поездка сюда принесла мне только ту пользу, что я сам привезу жену и сына в Варшаву».

«…Возвратились мы недели три тому назад благополучно, – пишет отец во втором письме, – а в дороге побаивался за здоровье Ольги и Левки. Если бы не кончина тещи, конечно, я побывал бы у вас, оставив Ольгу у родителей; но все мои планы разрушились. По крайней мере видел деревню, которой часть достается Ольге; вместо 8000 р. жена получит 10 000 из этого наследства. Я завел там совсем другие порядки, и говорю, не хвастая, дело сделал. Плута управляющего обличил в подвигах очень неблаговидных и отправил к чертям, поставив на его место другого, чем значительно улучшил хозяйство и добился того, что увеличил немало поземельный доход. Вел переписку и с шурином, Александром Сергеевичем, и с тестем. Оба, надеюсь, будут мне за это петь хвалебные песни. А потрудился я порядком, да иначе нельзя: надо браться за дело всякое не с верхушки, а с корня. Тесть, наконец, обещает выслать из Москвы дарственную запись на полтораста душ в нижегородском имении. Все это еще впереди, а пока… едва с чем нашлось сюда приехать. Можете себе представить, что стоила мне дорога, в двух экипажах, под каретой шесть, а под коляской четыре лошади, со всем почти домом. Хорошо, что давали во все это время жалованье, а то бы мне несдобровать. К счастию, еще успел продать хлеб и на эти-то деньги сюда приехать».

Тотчас после приезда в Михайловское моя мать заболела серьезно – острым воспалением в легких, простудясь в дороге, и уже 27 июня слегла. Ждали в Михайловское Александра Сергеевича, но он не приехал. К августу Ольга Сергеевна поправилась и стала видеться часто с соседями – П.А. Осиповой, дочерьми ее баронессою Е.Н. Вревской и А.Н. Вульф, а также и с Вениамином Петровичем Ганнибалом, соседством которого, как опытного агронома, Николай Иванович и воспользовался.

Глава XXXVIII

Убийца моего дяди, барон Георг Дантес-Геккерен, главным образом выступил на сцену летом того же года, на злополучной Каменноостровской даче; впрочем, Ольга Сергеевна встретила его раза два или три в доме своего брата уже в первых месяцах 1836 года.

Само собою разумеется, не могу передать с буквальною точностью рассказы и мысли моей матери о насильственной смерти ее брата, но передаю их добросовестно.

«В этой кончине, – говорила мне она, – гораздо менее виновен ничтожный Дантес, нежели добрые люди (!), наметившие его палачом, – люди, в числе которых, кроме немца Бенкендорфа, оказались между прочими – к вящему их стыду и посрамлению, носившие русские, украшенные княжескими титулами фамилии – иезуит Гагарин и автор не одного памфлета против России – кривоногий (le bancal) [207] Долгоруков Петр. Оба они, в сущности, ненавидели Россию, в которой родились, воспитывались, хлеб которой они ели не один десяток лет… оба виновны, и нельзя придавать значения их сшитым белыми нитками уверткам. Один из них соображал, сочинял и писал пасквили, другой адресовал, запечатывал, отправлял». Так полагает по крайней мере Ольга Сергеевна…

«Дантес обладал безукоризненно правильными, красивыми чертами лица, но ничего не выражавшими, что называется, стеклянными глазами. Ростом он был выше среднего, к которому очень шла полурыцарская, парадная кавалергардская форма. К счастливой внешности следует прибавить неистощимый запас хвастовства, самодовольства, пустейшей болтовни, забавные выходки шалуна лет семнадцати [208] (tout un arsenal de jactance, de sufsance, et de jargon, au surplus un petit ton d'un polisson de dix sept ans), и вот – противник Александра Сергеевича.

Дантесом увлекались женщины не особенно серьезные и разборчивые, готовые хохотать всякому излагаемому в модных салонах вздору да считать рассказчика очень остроумным и, по их логике, чуть ли не гениальным человеком.

Если бы во время самого разгара гнусной подпольной войны против брата я находилась в Петербурге, – сказала моя мать, – то не посмотрела бы ни на каких Бенкендорфов и не поколебалась открыть все самолично Государю, одно мощное слово которого заставило бы низких заговорщиков снять маски, и они понесли бы должную кару по закону. Но меня не было, а брат не пожелал написать о своем горе, иначе я немедленно поехала бы в

Петербург. В довершение несчастья, в Петербурге не было тоже ничего не подозревавшего брата Льва: тот не допустил бы Александра до поединка, да и сам бы на дуэль не вышел, доказав уже храбрость в дюжине кровопролитных сражений, а без всякой дуэли сумел бы преподать Дантесу щеголю (a ce mirlifore) более действительный урок и отбить у него навсегда охоту финтить да тарантить [209] . Впрочем, «мирлифлёр» и сам не рассуждал, с кем дерзнул играть, а так как в его голове логика работала не с особенным усердием, то где же и было ему сообразить, что сам играет роль пешки, проводимой в дамки поражаемыми Александром врагами?»

Не повторяя в моей «Семейной хронике» того, что напечатано в России и за границей о кровавой катастрофе, ограничиваюсь кратким обозрением фактов в хронологическом порядке, руководствуясь сообщенными мне моей матерью рассказами ее ближайших родных – отца Сергея Львовича, сестры его Сонцовой, ее мужа Матвея Михайловича, безвинно пострадавшей Натальи Николаевны, а также и моими личными беседами с остававшимися в живых друзьями дяди.

При последнем свидании с сестрою в июне 1836 года Александр Сергеевич сказал ей, что он еще в прошлом году принял к сердцу «учительский» тон Уварова, укорившего его за эпиграмму «В Академии наук заседает» и проч., и отомстил ему комплиментом [210] еще более злым – комплиментом, появившимся в печати и переведенным на французский язык одним французским профессором. Этот француз, обиженный Уваровым, препроводил к обидчику свой перевод и пригрозил напечатать его за границей. Уваров поскакал к Бенкендорфу, вследствие чего Пушкин и получил от последнего выговор. Вот все, что рассказал моей матери дядя. Ольга Сергеевна заметила ему, что Уваров, и без того недолюбливавший брата, человек в высшей степени самолюбивый, мстительный и во всяком случае сила, с которой нельзя не считаться.

Этим разговор между ними и кончился.

Родители мои ожидали дядю в Михайловском, особенно Николай Иванович, желавший познакомить шурина с заведенными им новыми порядками, но Пушкин не только не приехал, но и не писал ни зятю, ни сестре. Не отвечал он сестре и по прибытии ее в Варшаву. Тогда она стала очень о нем беспокоиться, почему и черкнула в Петербург своей давнишней приятельнице, Т.С. Вейдемейер, прося ее известить, не случилось ли чего-нибудь с братом. Татьяна Семеновна, наведя немедленно справки, сообщила, что Александр Сергеевич здоров, сопровождает по-прежнему жену и свояченицу на балы; что сестра

пишущей, фрейлина – княжна Херхеулидзева, – видела его недавно у графини Нессельроде и графини Фикельмон, жены австрийского посланника, а один из ее родственников – на рауте у графини Разумовской.

В этих-то домах, в особенности же в салоне у графини Фикельмон, и вертелся Дантес, вместе с усыновившим его голландским посланником бароном Геккереном. Вертелся он, кроме того, у Карамзиных, Вяземских и, наконец, в доме своей будущей жертвы.

Говоря беспристрастно, Дантес не был злым, лукавым человеком, но по легкомыслию, свойственному и юношескому возрасту и нации (отец его, как некоторые утверждают, был выслужившийся при Наполеоне офицер), возмечтал, что он необычайный красавец и что никакое женское сердце не может устоять против его очаровательных глаз и игривого ума.

Снабженный рекомендательными письмами, записанный в первый русский кавалерийский полк, с довольно значительным негласным пособием, усыновленный, наконец, представителем иностранного двора, Дантес счел себя вправе держаться в высшем обществе нахально…

Враги Пушкина, нуждавшиеся в «подставном пике», поняли, что Дантес им очень удобен и может как нельзя лучше осуществить их замыслы, вовсе при этом не подозревая, кому именно он служит. Роль же старика Геккерена, который, вследствие неоднократных по отношению к нему резкостей Пушкина, увеличил собою число врагов последнего, была, по мнению моего деда Сергея Львовича, не в пример хуже, хотя он и не автор анонимных пасквилей; но Ольга Сергеевна полагала, что Геккерен-отец вначале вовсе не хотел язвить Пушкина, а слова его Наталье Николаевне «rendez moi mon fls, pour l’amour de Dieu (верните мне моего сына, ради Бога (*фр.*))», или нечто в этом роде, вовсе не имели характера, им придаваемого: Гекерен просто хотел просить или просил ее похлопотать о свадьбе своего питомца на ее сестре, Екатерине Николаевне Гончаровой.

Дантес, как я уже сказал выше, зачастил в дом Александра Сергеевича еще летом 1836 года, на Каменноостровской даче. Осенью дядя переехал в дом Волконской, по Мойке, дед оставался в Москве, Лев Сергеевич воевал на Кавказе, а Соболевский очутился за границей.

Переписки с Сергеем Львовичем за этот период Ольга Сергеевна не сохранила. Упоминала только, что ее отец, сообщая одни лишь московские новости, жаловался, по-прежнему, на молчание сыновей, на безденежье и располагал приехать в следующем году в Варшаву, что сделал, однако, гораздо позднее.

В начале ноября 1836 года дядей и многими его знакомыми был получен пасквиль, в виде диплома на предоставление Пушкину (за мнимою подписью одного всеми уважаемого лица) звания coadjuteur du grand maitre et historiographe de l'ordre des c… [211]

«Еще гораздо раньше этого пасквиля, – говорила мне мать, – Александра преследовали анонимными письмами насчет Дантеса и его жены, рекомендуя брату принять меры в защиту своей супружеской чести (знали злодеи, на что били). Письма подбрасывали к нему на квартиру, подсовывались и в ресторане (куда он изредка заходил по дороге съесть кусок) в салфетку прибора, а раз, при выходе из театра, нашел он подобную гадость и в кармане верхней одежды, поданной капельдинером.

От жены брат сперва утаивал эти посылки, но, наконец, не выдержал: показал и прочел Наташе одну из них, затем бросил в растопленный камин, причем заявил: «Voila le cas que j'en fait!» (Вот как отношусь к этому!)

Наташа истерически зарыдала и стала на коленях умолять мужа всеми святыми уехать с нею и с детьми в деревню, не теряя ни минуты (sans coup ferir). Александр согласился, отвечая, что сам уже об этом давно думает и только ждет от одного приятеля высылки денег на дорогу, а пока распорядился: Дантеса не принимать, во избежание дальнейших неприятностей.

Вскоре после этого Александр, возвращаясь к себе домой довольно поздно вечером, увидел в передней военную шинель на вешалке.

– Кто здесь?

Камердинер назвал фамилию Дантеса.

– Да я же велел его не пускать.

– Не послушались: они у барыни.

Александр прошел в комнату жены и застал Наталию Николаевну беседующей о чем-то с Дантесом, который на вопрос хозяина дома, чего ради пожаловал, отвечал:

– С целью просить руки Екатерины Николаевны.

– Если так, – сказал дядя, – требую, чтобы свадьба состоялась через три дня! Сам приготовлю и разошлю свадебные билеты.

Так, по словам Ольги Сергеевны, Пушкин и поступил… Свадьба не поправила взаимных отношений, и, по мнению Ольги Сергеевны, ее брат сделал тут большой промах: не только не примирился с свояком, но и не отдал новобрачным свадебного визита, чем и воспользовалась ополчившаяся на поэта шайка.

Горю хотел пособить почтенный граф Строгонов, родственник Натальи Николаевны, желавший от доброго сердца помирить враждовавших: он устроил свадебный обед, на котором и свел

супругов Пушкиных с супругами Дантесами-Геккеренами.

Но вышло еще хуже:

Дантес на этом обеде промахнулся в свою очередь: сидя против Натальи Николаевны, он чокнулся с нею бокалом через стол, что страшно взорвало Пушкина.

Затем Дантес, по обыкновению, стал упражняться в своих плоских каламбурах.

Раздражило дядю и все последующее поведение Дантеса, который продолжал танцевать и разговаривать исключительно со свояченицей на вечерах, устраиваемых «не без злостного намерения людьми добрыми» (О. С. называет Фикельмоншу, возненавидевшую поэта, уже гораздо прежде), сводившими и стравливавшими врагов, как бы невзначай. «У господ NN, – буквальные слова матери, – они грызлись как собаки». Достойная же всякого уважения княгиня Вера Федоровна Вяземская заявила Дантесу, что встречи его с Пушкиной в ее доме ей не нравятся, вследствие чего и распорядилась закрыть «новобрачному» доступ в ее квартиру по вечерам, когда у подъезда будут кареты.

Дантес, по мнению покойного моего деда, играл тогда двойную роль: с одной стороны – жаловался всем и каждому на упорство Пушкина продолжать ссору, поводы которой, дескать, угасли со свадьбой Екатерины Николаевны, а с другой – Бог знает, почему не прекращал назойливых, нахальных ухаживаний за свояченицей.

Наступил 1837 год. Пушкин снова подвергся разного рода анонимным пасквилям, а ехать в деревню лишен был возможности… Деньги не высылались. Таким образом, враги, бившие наверняка, заранее предвкушали победу, и недолго пришлось им ждать крови намеченной жертвы…

Привожу следующие слова моей матери:

«Брат среди этих обстоятельств потерял терпение, почему и сделал ряд ошибок, не сообразив, что если он разрубит Гордиев узел трагической историей, то, как бы она ни кончилась – пострадает, в конце концов, им же обожаемая Наташа: всякий мерзавец сочтет себя вправе кинуть в нее камнем.

Предложениями Дантеса заключить мир следовало брату непременно воспользоваться, но сказать притом Дантесу: «Мирюсь с вами, только под честным вашим словом вести себя по отношению к жене моей, следовательно, и ко мне, – так, а не иначе». Дантес дал бы и сдержал слово: ведь он же не был абсолютным негодяем.

Оскорбление, нанесенное братом седовласому Геккерену-отцу, – брат бросил старику едва ли не в лицо примирительное письмо Дантеса, с площадным ругательством: «Tu la recevras

gredin» (Ты еще получишь свое, подлец! (*фр* .)) – шло вразрез с чувством самоуважения и даже с добрым сердцем.

Эта соблазнительная, почти уличная сцена в доме и в присутствии почтенной дамы, г-жи Загряжской, не могла не оскорбить добрейшую, гостеприимную хозяйку.

Обида была нанесена в силу подозрения, будто бы старик Геккерен автор анонимных пасквилей – подозрения, ни на чем не основанного.

Наконец, последовавшее вскоре после того роковое письмо Александра к нему же, старику, – каким бы он там в нравственном отношении ни был, – письмо, порвавшее нить жизни брата, – было просто явлением сверхъестественным, по забвению азбуки приличия и злобе.

После подобного письма все пропало…»

Покойного К.К. Данзаса дядя пригласил в секунданты неожиданно, за несколько часов до поединка, при разговоре своем с секундантом противника, виконтом Даршиаком. По словам Ольги Сергеевны, Данзас был так поражен всем происшедшим, на долю его выпало столько поручений, с требованием окончить все через два или три часа, что поневоле он и упустил единственное средство – ниспосылавшееся, казалось, свыше – к спасению жизни, драгоценной для всей России: когда Данзас отправлялся в санях с Пушкиным на место поединка и узнал Наталью Николаевну, ехавшую в экипаже, почему-то не крикнул ее кучеру спасительное – «стой». [212]

«Брата огорчили, брата же убили, – говорила Ольга Сергеевна, – к большому ликованию Бенкендорфа и ему подобных, им же имя легион. А бедной Наташе какое вышло удовлетворение? Ее стали в свете – как и предвидел Александр на смертном одре – заедать, честное имя ее терзать. К счастию, она впоследствии – года через четыре – нашла смелого защитника, в лице добрейшего, благороднейшего человека – Петра Петровича Ланского. [213]

Между тем и после того нашлись люди, осуждавшие ее и за этот именно шаг, – шаг, послуживший для моей невестки спасением…»

Говоря о смерти шурина и извещая о постигшей Ольгу Сергеевну болезни, отец мой пишет, между прочим, Луизе Матвеевне:

«Не распространяюсь насчет самой дуэли и кончины Александра Сергеевича. Об этом вся Россия, а следственно и вы, в Екатеринославе, слышали и знаете. Жаль детей и вдовы – невинной причины несчастия. Он искал смерти, умер с радостию, а потому был бы несчастлив, если б остался жив. Самолюбие его,

чувство, которое руководило всеми его поступками было слишком оскорблено. Оно отчасти удовлетворилось в последние минуты: вся столица смотрела на умирающего. Противник его родственник, ибо женат на родной сестре его жены, кавалергардский офицер Геккерен (прежде Дантес) под судом: ожидаем примерного наказания».

В главе II я говорил, каким образом до Ольги Сергеевны дошло известие о кончине брата, упомянул также о выдержанной ею, вследствие того, опасной нервной болезни и об участии к ней всего варшавского, как русского, так и польского, высшего общества, но забыл сказать, что по странному, свойственному членам ее семейства психологическому характеру, с моей матерью повторилось явление, какому подверглась она в 1831 году, за несколько дней до кончины ее дяди Василия Львовича.

Три ночи сряду, до получения чрез г. Софианоса ужасного известия, Александр Сергеевич являлся сестре во сне, бледный и окровавленный, между тем как наяву об истории с Дантесом она и не догадывалась: таким образом, моя мать и тут была подготовлена таинственным образом, почему перебила моего отца, собиравшегося рассказать ей сообщение г. Софианоса, вопросом: «Скажи же, наконец, что брат болен? болен? умер?!»

В заключение несколько слов о Дантесе-Геккерене.

Летом 1880 года, возвращаясь из Москвы, куда ездил на открытие памятника моему дяде, я сидел в одном вагоне с сыном подруги моей матери, жены партизана Давыдова, Василием Денисовичем Давыдовым, ныне покойным, с которым встретился в Москве же после долголетней разлуки.

Разговор, конечно, шел под свежим впечатлением о Пушкине, и вот что В.Д. мне сообщил:

За несколько лет перед тем Василий Денисович был в Париже. Приехав туда, он остановился в каком-то отеле, где всякий день ему встречался совершенно седой старик большого роста, замечательно красивый собою. Старик всюду следовал за приезжим, что и вынудило Василия Денисовича обратиться к нему с вопросом о причине такой назойливости. Незнакомец отвечал, что, узнав его фамилию и что он сын поэта, знавшего Пушкина, долго искал случая заговорить с ним, причем, рекомендовавшись бароном Дантесом-Геккереном де Бревеардом (или Бевервардом, сказать наверное не умею), объяснил Давыдову, будто бы он, Дантес, и в помышлении не имел погубить Пушкина, а, напротив того, всячески старался примириться с Александром Сергеевичем, но вышел на поединок единственно по требованию усыновившего его барона Геккерена, кровно оскорбленного Пушкиным. Далее, когда соперники,

готовые сразиться, стали друг против друга, а Пушкин наводил на Геккерена пистолет, то рассказчик, прочтя в исполненном ненависти взгляде Александра Сергеевича свой смертный приговор, якобы оробел, растерялся и уже по чувству самосохранения предупредил противника и выстрелил первым, сделав четыре шага из пяти назначенных до барьера. Затем, будто бы целясь в ногу Александра Сергеевича, он, Дантес, «страха ради» перед беспощадным противником, не сообразил, что при таком прицеле не достигнет желаемого, а попадет выше ноги. Le diable s'en est mele» (черт вмешался в дело), – закончил старик свое повествование, заявляя, что просит Давыдова передать это всякому, с кем бы его слушатель в России ни встретился.

Выслушав Василия Денисовича, я припомнил слова моей матери: «Не поверю, чтобы Дантес рассчитывал умертвить брата. Тут, по-видимому, сам дьявол повернул руку Геккерена…»

Кончиной дяди-поэта и заключается первый отдел моих тридцатидвухлетних воспоминаний. События же, обнимающие период времени с февраля 1837 по 1848 год, когда дед мой, Сергей Львович Пушкин, переселился в вечность, вошли в состав второго отдела, который, если позволят обстоятельства, я также со временем напечатаю, предполагая, что он может показаться небезынтересным для многих, касаясь дальнейшей судьбы родных и друзей Александра Сергеевича.

Примечания

1

Игры ума (*фр* .)

2

Que voulez-vous que Ton fasse?
On ne sait pas le russe.
(Но что же тут поделаешь?
Ведь они не знают русского (*фр.*)).

3

«Путешествие вокруг моей комнаты» (*фр.*).

4

Негр, Авраам Петрович.

5

Ивана Авраамовича.

6

Воспеваю тот бой, в котором Толи победил,
Где немало воинов пало, где отличился Поль,
Николя Матюрен и прекрасная

Нитуш,
Чья рука была наградой за страшную схватку (фр .).

7

«Господин Грюнвальд, вы делаете мне больно!» – «А кто вам сказал, что я не хочу сделать вам больно?» (*фр.*)

8

Завсегдатаи» (*фр.*).

9

Скажи мне, почему «Похититель» освистан партером? Увы! потому, что бедный автор похитил его у Мольера.

10

«Письма об астрономии» (*фр.*).

11

Всяких других (*ит.*).

12

Против воли (*фр.*).

13

Тут каламбур: Василий Львович получил в литературном обществе «Арзамасцев» прозвание «Вот», подобно тому как Жуковский – прозвание «Громобой», а сам Александр Сергеевич – «Сверчок».

14

Господин, который сердится по пустякам (*фр.*).

15

Палочный довод (*лат.*).

16

Не принимаю вашего вызова из-за такой безделицы не потому, что вы Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер (*фр.*).

17

Кюхельбекер был сослан в числе декабристов в 1826 г.

18

Это случилось в конце 1832 г. перед отъездом моей матери в Варшаву.

19

На это скажу тебе, милая сестра, что я и моя жена знамениты: я – моим талантом, жена – красотою, а потому хочу, чтобы все ценили нас по достоинству. К тому же сказано: «Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом» (*фр.*).

20

Делайте, как знаете, но верьте мне, Александр, что если я сказала что-нибудь вам неприятное, то сделала это, желая вам добра (*фр.*).

21

Слово «бурсак» мать моя не переваривала, относясь антипатично к роману Нарежного, под тем же заглавием, и употребила слово это с явной иронией, намекая на самый роман, от которого предмет эпиграммы г. И. был в восторге.

22

Произвела Ольга Сергеевна это существительное от французского слова «pretre» – священник, – разумея под ним дочь священника.

23

Читайте, прошу вас; я не слушаю (*фр.*).

24

Муза красноречия.

25

Воинские доблести (*лат.*).

26

Как выразить вам радость, которую я испытала, получив письмо ваше, мой дорогой Николай Иванович? Надо быть бабушкой, чтобы представить себе, что я почувствовала, его читая; да благословит небо нашего маленького Леона, которого люблю уже от всего сердца; да составит он ваше счастие, и желаю иметь приятное утешение принимать его ласки; вот искреннее мое желание, которому никогда не изменю (*фр.*).

27

Скончался в ноябре 1846 г.

28

Скончался в 1884 г. членом Императорской Академии наук.

29

Милорд какая разница (*фр.*).

30

Сударыня, не говорите мне об этой неприличности с головы до ног! (*фр.*)

31

Столики эти продавались тогда в любых магазинах канцелярских принадлежностей за четвертак. Я сам, по приказанию матери, купил таковой на Невском проспекте.

32

Надежде Осиповне.

33

Осиповой.

34

Дядя жестоко ошибся.

35

Супруги Николая Ивановича – матери моей.

36

Осиповой.

37

За просрочку отец мой мог бы получить неприятности.

38

Паскевич. В то время мой отец был помощником статс-секретаря бывшего совета управления в Царстве Польском.

39

Об этих стихах князя Вяземского, написанных 12 августа 1825 г. к матери моей, во время летнего ее пребывания в Ревеле, и напечатанных в «Северных цветах» в 1826 г., дядя мой Александр Сергеевич Пушкин писал автору 24 мая того же года: «Я не благодарил тебя за стансы Ольге. Как же ты можешь дивиться моему упрямству и приверженности к настоящему положению? Счастливее чем Андрей Шенье, я заживо слышу голос вдохновения».

В изданной в 1880 г. сыном автора, кн. П.П. Вяземским, брошюре «Александр Сергеевич Пушкин 1816—1825 гг. по документам Остафьевского архива» на странице 70 напечатано между прочим: «Две последние строфы в первоначальной редакции представляют несколько вариантов от текста, напечатанного в «Северных цветах»:

Его удел: блеск славы горделивой,
Сияющей из лона бурных туч,
И от нее падет блестящий луч
На жребий твой, смиренный, но счастливый.
Но ты ему спасительнее будь (еще полезней).
Свети ему звездою безмятежной!
И в бурной мгле участьем дружбы нежной
Вливай покой в растерзанную грудь
(тоскующую, томящуюся).

Издатель «Северных цветов», барон А.А. Дельвиг, друг Пушкина, подарил экземпляр этого альманаха моей матери с собственноручной надписью. Хранится у меня.

40

Считаю не лишним напомнить читателям эту прелестную элегию дяди:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня волшебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет перед мною:
Сердце пусто, праздней ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
26 мая 1828 г.

41

Дядя Александр написал на брата следующие шуточные стихи:

Наш приятель Пушкин Лев
Не лишен рассудка;
Но с шампанским жирный плов
И с груздями утка
Нам докажут лучше слов,
Что он более здоров
Силою желудка…

42

Говоря по-французски, брат с сестрой были на вы, по-русски же – всегда на ты.

43

Заимствованная Пушкиным у Мицкевича одна из песен западных славян, «Будрыс и его сыновья», появилась в печати гораздо позже этого разговора с моей матерью, а именно в 1832 г.

44

Надеюсь, вы поняли, после всего того, что мне рассказали, что эта смерть была неизбежной (*фр.*).

45

Врагов своих, между прочим, Александр Сергеевич заклеймил эпиграммой «Приятелям», а любопытных – эпиграммой под тем же названием. Считаю кстати не лишним привести их:

1) Приятелям

Враги мои, покамест я ни слова…
И, кажется, мой быстрый гнев

угас;
Но из виду не выпускаю вас
И выберу когда-нибудь любого:
Не избежит пронзительных когтей,
Как налечу нежданный, беспощадный!
Так в облаках кружится ястреб жадный
И сторожит индеек и гусей.

2) Любопытный

– Что ж нового? «Ей-богу ничего».
– Эй, не хитри: ты, верно, что-то знаешь.
Не стыдно ли, от друга своего,
Как от врага, ты вечно все скрываешь…
Иль ты сердит? – Помилуй, брат, за что?
– Не будь упрям: скажи ты мне хоть слово…
«Ох, отвяжись, я знаю только то,
Что ты дурак, да это уж не ново».

46
Дядя в этом разговоре намекает, кажется, на одну из его эпиграмм по адресу Каченовского:

Клеветник без дарованья,
Палок ищет он чутьем,
А дневного пропитанья
Ежемесячным враньем.

47
В будущем (*лат.*).
48
Пушкин родился в мае.
49
Баллада Жуковского «Суд Божий над епископом».
50

После того, следовательно, по причине того.

51

От латинского «Non fas» – не делай.

52

Михайловское тож.

53

«Тифлисская газета» от 28 июня 1829 г. в № 29 напечатала: «Пушкин посетил Грузию. Он недолго был в Тифлисе: желая видеть войну, он испросил позволения находиться в походе при действующих войсках, и 16 июня прибыл в лагерь при Искан-Су. Первоклассный поэт наш пребывание свое в разных краях России означил произведениями славного его пера: с Кавказа дал он нам «Кавказского пленника», в Крыму «Бахчисарайский фонтан», в Бессарабии «Цыган», во внутренних провинциях писал он прелестные картины «Онегин а». Теперь публика наша соединяет самые приятные надежды с пребыванием А. Пушкина в стане кавказских войск и вопрошает: чем любимый поэт наш, свидетель кровавых битв, подарит нас из стана военного? Подобно Горацию, поручавшему друга своего опасной стихии моря, мы просим судьбу сохранить нашего поэта среди ужасов брани».

54

Ганнибал, сын Петра Ибрагимовича.

55

Мариторна, воспетая Сервантесом в «Дон Кихоте», далеко не красивая служанка гостиницы, куда заехал странствующий Рыцарь «печального образа».

56

Тут игра слов, утрачивающая значение в русском переводе.

57

В английском стиле (*фр.*).

58

Прекрасный Габриэль (*фр.*).

59

Не заботясь о будущем (*нем.*).

60

Об Иване Матвеевиче Рокотове А.С. Пушкин пишет, между прочим, своему брату следующее: «С Рокотовым я писал к тебе – получи это письмо непременно. Тут я по глупости лет прислал тебе святочную песенку (Noel). Ветреный юноша Рокотов может письмо затерять, а ничуть не забавно мне попасть в крепость pour des chansons».

61

Юный сорванец (*фр.*).

62

Вероятно, бабка намекает о сообщении Осиповой Рокотовым писем Льва Сергеевича, о чем говорит и дядя Александр.

63

Сударыни и судари (*фр.*).

64

Подражание А. Шенье (с эпиграфом: «Jeune flle, ton coeur avec nous veut se tai-re». – «Юная дева, твое сердце молчит в нашем присутствии» (*фр* .)).

65

Эту подчеркнутую фразу бабка написала по-русски.

66

Бабушки (*фр.*).

67

Да свершится воля Небес! (*фр.*)

68

Вот в чем вопрос! (*англ.*)

69

Знаешь ли страну? (*нем.*)

70

Очень тронут (*фр.*).

71

Великолепная мысль (*фр.*).

72

Известный ученый и русский миссионер в Китае.

73

To Dawe esqr, посвященное А.А. Олениной, начинается так:

Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арабский профиль?
Хоть ты векам его предашь,
Его освищет Мефистофель.

Тут Александр Сергеевич прочел наизусть следующую выдержку:

С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать,
И, презирая лень и негу,
Кричим: «пошел, не рассуждать!»
Но в полдень нет уж той отваги

—

Порастрясло нас, нам страшней
И косогоры, и овраги,
Кричим: «полегче, дуралей…»

74

Разговор этот происходил в декабре 1829 г., следовательно, за год и два месяца до женитьбы дяди – 18 февраля 1831 г.

75

Попала в самую точку (*фр.*).

76

Кто был этот другой – дядя не называл. Имени и фамилии его соперника не знаю.

77

Пушкин посвятил памяти г-жи Ризнич два прекрасные стихотворения. Одно из них начинается так:

Под небом голубым страны своей
родной
Она томилась, увядала…

А другое:

Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой…

78

Известная французская писательница; скончалась в 1829 г.

79

Нижеприводимые стихи появились в свет через полгода после этого разговора, именно в 1830 г.

80

Известный безбожник и циник времен Французской революции. Консул Бонапарте – впоследствии император Наполеон – распорядился сжечь публично, на площади, рукою палача, ужасные романы Сада: «Dorothee ou les dangers de la Vert и» и «Juliette ou la prosperite du vice» («Доротея, или Опасность добродетели» и «Жюльетт, или Торжество порока» (*фр.*)). Покойный Ф.Ф. Вигель показывал мне один из уцелевших экземпляров. Откуда он его достал – этого мне не сказывал.

81

Стихотворение дяди «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». О происхождении этих стихов и разговоре Пушкина о них с его сестрою скажу в своем месте.

82

В 1829 г. он сделал первое предложение, но скрыл это от Ольги Сергеевны, о чем расскажу в следующей части хроники.

83

Подлинные слова его.

84

Прочтенное О. С – ной стихотворение брата помечено у него 26 декабря 1829 г.

85

Отец в том же 1829 г. поднес генералу Доврэ отчет о материалах, собранных им для истории турецких войн, в то же время он составлял итальяно-русский словарь, рукопись которого затеряна впоследствии.

86

См. самую повесть.

87

Олега.

88

Если ты претендуешь быть дворянином и христианином, мой дорогой друг, никогда не задевай самолюбия другого (*фр.*).

89

Появился этот романс Глинки в печати действительно в 1839 г., значит 9 лет спустя, и появился уже в другом виде. А что всего замечательнее, Глинка тогда его написал не для Анны Петровны, а для дочери ее – Екатерины Ермолаевны Керн, – на которой он хотел жениться. Впоследствии – именно в конце 40-х годов – и дед мой Сергей Львович оказался к Е.Е. неравнодушным, незадолго до своей смерти. Екатерина Ермолаевна вышла потом замуж за г. Шокальского. И ее, и его я видел в 1856 г. у Анны Петровны.

90

Мутная Висла в самом деле цвета кофе с молоком.

91

Которые говорят о веревке в доме повесившегося (*фр.*).

92

Исповедание веры (*фр.*).

93

Дядя Лев Сергеевич, не допускавший местоимения «ты», сделал исключение из принятого им правила в пользу одного лишь Соболевского.

94

Soiree – по-французски «вечер».

95

Княжна Аннет (*фр.*).

96

Свет (*фр.*).

97

Пародия на строки Вяземского (см. стихи его, приведенные в эпиграфе 3-й части «Хроники»).

98

Бог насмешек древних греков, сын Сна и Ночи.

99

Драгоценной матушкой (*фр.*).

100

Овдовевшая Софья Михайловна Дельвиг вышла впоследствии вторично замуж за брата его друга, Сергея Абрамовича Баратынского.

101

Женат был на графине Головиной.

102

Рожденной Воейковой.

103

Ибрагим Петрович первую жену свою, родом гречанку, упек в монастырь.

104

Женат был на Капитолине Михайловне Вышеславской: она от него убежала по своему капризу.

105

В родословной Пушкиных и Ганнибалов дядя между прочим пишет: «Прадед мой Александр Петрович умер весьма молод в припадке сумасшествия, зарезав свою жену, находившуюся в родах… Первая жена моего деда (Льва Александровича), урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, которого он весьма феодально повесил на черном дворе».

106

Прозван Американцем. Ольга Сергеевна отзывалась о нем как о человеке замечательном по своей жестокости, не один пример которой мне рассказывала.

107

Под секретным надзором Бенкендорфа дядя находился с 1828 г.

108

Рожденной Раевской. Во второй же раз Плетнев был женат на княжне Александре Васильевне Щетининой.

109

Разрешение последовало в апреле, а трагедия вышла из печати в декабре того же года.

110

Почтенный наш академик М.И. Сухомлинов в интересной своей статье «Полемические статьи Пушкина», напечатанной в «Историческом вестнике» (март 1884 г.), излагает подробно возникшую и начале 1830 г. распрю Булгарина с моим дядей, по

поводу напечатанного бароном Дельвигом в «Литературной газете» разбора романа Булгарина «Дмитрий Самозванец»; Булгарин, приписывая разбор Пушкину, придрался сначала к седьмой главе «Евгения Онегина», а затем пустил против Пушкина статью, под видом «анекдота, заимствованного из английского журнала». По всей вероятности, дядя в разговоре с отцом и разумел эти именно статьи.

111

Письмо Пушкина к Бенкендорфу о Булгарине от 24 марта 1830 г.

112

О денежной субсидии писчебумажной фабрике при селе Полотняный Завод Медынского уезда Калужской губернии. В 1830 г. отец невесты Пушкина, Николай Афанасьевич, был очень болен, почему дед ее Афанасий Николаевич и был настоящим главою семейства.

113

Осиповой.

114

Фамилии этой знакомой бабка не проставила.

115

Александр Сергеевич с самых юных лет считал своего дядю искренним другом. Василий Львович очень радовался, когда узнал, что его племянник познакомился с музой в стенах учебного заведения, и написал ему по этому случаю послание, называя юного поэта «братом». На приветствие дяди Александр Сергеевич отвечал в декабре 1816 г., между прочим, следующее, поздравляя с новым годом маститого автора «Опасного соседа»: «В письме вашем вы назвали меня братом; но я не осмелился назвать вас этим именем, слишком для меня лестным:

Я не совсем еще рассудок потерял,
От рифм вакхических шатаясь на Пегасе:
Я знаю сам себя, хоть рад, хотя не рад…
Нет, нет, вы мне – совсем не брат;
Вы – дядя мой и на Парнасе»…

116

Статьи Катенина помещались в «Литературной газете».

117

Фамилия остается мне неизвестной.

118

А.Н. вышла впоследствии замуж за барона Фризенгофа.

119

Бывший в то время московским военным генерал-губернатором.

120

Смеюсь желто.

121

Об этом обстоятельстве П. А. Плетнев пишет Пушкину от 22 февраля следующее: «В делах ее (баронессы) вышла очень худая притча. Бог знает кто и когда успел утянуть из их портфеля ломбардных билетов на пятьдесят четыре тысячи. Сколько ни старались открыть, даже и следов не видно. Это тем непонятнее, что все другие бумаги найдены по смерти Дельвига в чрезвычайном порядке, с удивительною отчетливостью, а пропавшие билеты находились между этими бумагами».

122

Все дурные предзнаменования! (*фр.*).

123

Жена бывшего австрийского посланника при русском дворе.

124

«Обрученные» (*ит.*).

125

Всегда сохраняя приличествующее спокойствие (*фр.*).

126

Слово написано по-русски и подчеркнуто!

127

Император Николай I действительно был в Петербурге на другой день, 23 июня, и усмирил бунт на Сенной площади.

128

Лучшее – враг хорошего» (*фр* .).

129

Кажется, «Повести Белкина».

130

Дядя написал эту оду в Царском же Селе 5 августа того же 1831 г.

131

Вероятно, Ольга Сергеевна подразумевает записку не «неизвестного», как она полагает, шляхтича, а ноту, поданную в марте 1831 г. лорду Пальмерстону польским депутатом маркизом Велепольским. Записка Велепольского напечатана была тогда и в Варшаве на польском языке, в виде брошюры, составляющей теперь библиографическую редкость, которую подарил мне мой покойный отец в числе других курьезов.

132

Сергея Львовича.

133

Надежды дядю не обманули: старшая дочь его, Марья Александровна, родилась 19 мая 1832 г.

134

Он будет первым парнем на деревне (*фр.*).

135

Еще до своего прикомандирования к генерал-интенданту Погодину (о чем ниже) отец, по его просьбе, писал для него изредка бумаги на иностранных языках, в которых Погодин не был особенно силен.

136

Впоследствии поп, как известно, преобразился в купца Остолопа.

137

Дядя писал «Онегина» с лишком десять лет.

138

«Арап Петра Великого», написанный в 1827 г.

139

Родословная Пушкиных и Ганнибаловых (1830—1831 г.).

140

Высшего света (*англ.*).

141

Здесь: золовки (*фр.*).

142

Здесь: невестке (*фр.*).

143

В стиле Людовика XIII (*фр.*).

144

Разумеется тут барон Дельвиг.

145

«Прямой путь лучше» (*нем.*).

146

Кодекс Наполеона (*фр.*).

147

Слава Богу, слава Богу, да будет на то воля Небес! (*фр.*)

148

Ольга Сергеевна всегда была крайне осторожна в письмах, а потому не выставляла фамилий целиком, но, как можно догадаться, тут речь идет о недоброжелателе Пушкина Бенкендорфе и нанесенной этим последним первому неприятности, в виде письменного запроса, вследствие напечатания без предварительного разрешения стихотворения

«Древо яда» («Анчар») в альманахе «Северные цветы» на 1832 г., изданном Пушкиным в пользу родных барона А.А. Дельвига.

149

«Да будет воля Небес» (*фр.*).

150

Считаю не лишним привести эти стихи дяди Льва:

Как можно не сойти с ума,
Внимая вам, на вас любуясь,
Венера древняя мила,
Чудесным поясом красуясь.
Алкмена, Геркулеса мать,
С ней в ряд, конечно, может стать.
Но чтоб молили и любили
Их так усердно, как и вас,
Их спрятать нужно им от вас,
У них вы лавку перебили…

151

Он тоже весьма остроумен (*фр.*).

152

«Озеро фей» (*фр.*).

153

«Дева озера» (*фр.*).

154

Действительно Греч был из немцев, помимо своей русской грамматики.

155

Фамилия не выставлена.

156

Однажды Ольга Сергеевна спросила брата, будет ли он вечером у Талызиных. «Никак не могу, так как чувствую, что сегодня на меня найдет дрянь и буду много писать», – отвечал Пушкин.

157

Драгоценных родителей (*фр.*).

158

В изданной академиком Я. К. Гротом книге «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники» (стр. 211) напечатан один из сохранившихся в бумагах П.А. Плетнева списков с автографов дяди; в нем находится пропущенная в окончательном тексте XV и XVI строфа к шестой главе Евгения Онегина, в которой бессмертный поэт художественно изображает собственные свои чувства, упоминаемые в вышеприведенном письме моей матери:

Да, да, ведь ревности припадки —
Болезнь, так точно, как чума,
Как черный сплин, как лихорадка,
Как повреждение ума.
Она горячкой пламенеет,
Она свой жар, свой бред имеет,
Сны злые, призраки свои.
Помилуй Бог, друзья мои!
Мучительней нет в мире казни
Ее терзаний роковых.
Поверьте мне: кто вынес их,
Тот уж, конечно, без боязни
Взойдет на пламенный костер
Иль шею склонит под топор.

159

В следующем году, по ходатайству Пушкина, архивы, кроме тайного, открыты были и Погодину, как видно из письма к нему моего дяди от 5 марта следующего 1833 г.

160

Супруга фельдмаршала Паскевича, рожденная Грибоедова. С ее матерью Пушкины состояли в родстве.

161

Дед, вероятно, здесь подразумевает под первым романом «Дубровского», а под вторым «Капитанскую дочку».

162

Не Чернышев ли? Фамилия целиком не выставлена.

163

Прозвание Соболевского.

164

Из этого письма не видно, чтобы Чернышев упомянул Чичерину об отношении к нему Паскевича.

165

С любовью и блаженной улыбкой.

166

Об этом деятеле в Царстве Польском на поприще народного просвещения упомянуто мною выше.

167

Вероятно, бабка разумеет «Медного всадника», не допущенного цензурой к печати.

168

В декабре Пушкин просил через Бенкендорфа разрешения представить на Высочайшее воззрение рукопись «Истории Пугачевского бунта».

169

Предположение бабки оказалось совершенно ошибочным: Марья Александровна Гартунг поныне, слава Богу, здравствует.

170

Существуют ведь для господ придворных правила постоянные, правила постоянные.

171

Ошибаетесь: правила установлены для фрейлин.

172

Я предпочел бы, чтобы меня высекли при всех (фраза главного лица комедии Мольера «Мещанин во дворянстве»).

173

Князь Вяземский пишет в своих воспоминаниях: «Открытие золотой монеты «клюнкер» принадлежит Соболевскому, доказывавшему право существования этой рифмы на камер-юнкер».

174

Тут действительно французская игра слов: pan значит «сатир», во множественном: pans – сатиры.

175

В этой самой церкви отпевали, три года спустя, тело убитого дяди.

176

Так в подлиннике.

177

По этому случаю Александр Сергеевич жалуется жене в письме от 18 мая в следующих словах: «Смотри, женка, надеюсь, что ты моих писем списывать никому не даешь; если почта распечатала письмо мужа к жене, так это ее дело, и тут одно неприятно; тайна семейственных сношений, проникнутая скверным и бесчестным образом… Никто не должен знать, что может происходить между нами; никто не должен быть принят в нашу спальню, без тайны нет семейственной жизни. Но знаю, что этого быть не может; а свинство уже давно меня ни в ком не удивляет… Дай Бог тебя мне увидеть здоровою, детей, целых и живых, да плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином! Неприятна зависимость, особенно когда лет двадцать человек был независим».

178

Алимпиев был известным преподавателем русской словесности во 2-й Петербургской гимназии. Дядя не ошибся в нравственной оценке этого добрейшего человека.

179

3 июля 1834 г.

180

Дед не ошибся: первенцем Ольги Сергеевны оказался составитель этой «Семейной хроники».

181

Представителем деда при крестинах был друг моих родителей, тогда адъютант Паскевича Владимир Иванович Аничков.

182

Сын Петра Ибрагимовича.

183

Крестик хранится на мне.

184

Да свершится воля Небес (*фр.*).

185

Вероятно, повесть дяди «Пиковая дама».

186

Покойная Варвара Петровна Лахтина, рожденная Домогацкая, сблизившаяся с Ольгой Сергеевной с 1832 г. в Варшаве. На ее внучке женат второй сын поэта – Григорий Александрович Пушкин.

187

Предметы эти были действительно отосланы дядей.

188

В подлиннике написано по-русски: Ирина, а не Арина. Покойная бабка, подобно своему сыну-поэту и моей матери, собственных имен никогда не коверкала.

189

Автора интересных записок, о которых я упоминал в главе X настоящей «Хроники».

190

Дочь ее вышла впоследствии за старшего сына поэта.

191

Дядя выехал из Петербурга, но гораздо позже, в августе 1835 г., получив трехмесячный отпуск.

192

Это письмо не совсем согласно с заметкою Я. К. Грота в его «Хронологической канве для биографии Пушкина», где сказано: «27 августа Пушкин получил отпуск в Москву до декабря 23-го и едет в калужское имение жены, а потом в Болдино, но возвращается в Петербург уже к 15 октября, по причине болезни матери». Из письма же Ольги Сергеевны видно, что Пушкин посетил ее 30 августа в Павловске, следовательно, и не поехал тогда ни в Болдино, ни в Михайловское.

193

Предположения Ольги Сергеевны не оправдались: Пушкин возвратился вскоре после этого письма.

194

Подтверждением того, что моя мать сообщила отцу, служит письмо дяди Александра к П. А. Осиповой… после возвращения Пушкина в Петербург – в октябре. Дядя высказывает почти те же мысли.

195

Вероятно, это элегия «Вновь я посетил».

196

Не «Клеопатра», а «Египетские ночи».

197

Об этом альбоме мною упомянуто выше.

198

Александра и Екатерина Николаевны. Последняя вышла замуж за Дантеса.

199

К этому времени появилось в «Московском наблюдателе» знаменитое стихотворение дяди «На выздоровление Лукулла», направленное против Сергея Семеновича Уварова, в отместку за его замечание, вследствие известной эпиграммы Пушкина на попечителя Петербургского учебного округа Дондукова-Корсакова. Ольга Сергеевна многое предвидела, что касалось ее брата; злополучные стихи дяди на Уварова, о которых, впрочем, она в письмах отцу не упоминает, были ей тогда еще неизвестны. С дочерью графа Уварова, княгиней Александрой Сергеевной Урусовой, муж которой состоял, если не ошибаюсь, адъютантом у Паскевича, Ольга Сергеевна находилась в весьма дружеских отношениях. Александра Сергеевна, разумеется, была во всей этой истории ни причем.

200

Весьма дурной вкус (*фр* .).

201

Полковник Франковский упомянут мною в главе II. Об этом воине, который во время взятия, в 1814 г., высот Бельвиля и Монмартра обратил своей храбростью внимание покойного императора Александра Павловича, – поэте и беллетристе, – рассказываю более подробно в другом отделе моей «Семейной хроники» от 1837 по 1846 г.

202

«Вечера на хуторе».

203

Ольга Сергеевна подразумевает журнал «Современник», но ошибается, говоря на днях. Первый том «Современника», на

издание которого покойный дядя получил разрешение в начале января, одобрен цензурою к печати гораздо позднее, и вышел, когда Пушкин отсутствовал, сопровождая тело Надежды Осиповны в Святогорский Успенский монастырь.

204

А не 24 апреля, как напечатано в издании г. Суворина… 24 же апреля Александр Сергеевич возвратился в Петербург после предания тела Надежды Осиповны земле.

205

Натальи Александровны, по первому браку Дубельт, а по второму – графини Меренберг.

206

Неохотно (*фр.*).

207

Этим прозвищем его называла не одна моя мать, а все петербургское общество.

208

Дантесу было в 1836 г., по словам Ольги Сергеевны, не более двадцати трех лет.

209

Буквальные русские слова Ольги Сергеевны.

210

«На выздоровление Лукулла».

211

Коадьютора великого магистра и историографа ордена р[огоносцев]… (*фр.*)

212

См. брошюру Амосова…В ней сказано: «На Дворцовой набережной они (т. е. дядя и Данзас) встретили в экипаже г-жу Пушкину. Данзас узнал ее, надежда в нем блеснула, встреча эта могла поправить все. Но жена Пушкина была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону.

213

…Прибавлю и от себя: Наталья Николаевна своим замужеством исполнила предсмертную волю поэта, который – как пишет кн. Вяземский – сказал жене: «Ступай в деревню, носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, но за человека порядочного…»